

**ДЕНЬ  
ПОЭ-  
ЗИИ**





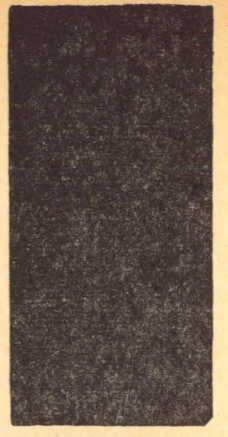


# Э Б 3

СОВЕТСКИЙ

ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА





**МОДЕ**



**Н Ъ**

**3 M M M**



**Главный редактор Михаил Луконин.**

**Редколлегия:**

Белла Ахмадулина, Константин Ваншенкин (заместитель главного редактора), Валерий Дементьев, Леонид Мартынов, Владимир Огнев, Лев Ошанин, Виктор Полторацкий, Борис Слуцкий, Ярослав Смеляков, Владимир Соколов, Владимир Туркин (составитель), Назым Хикмет.

**ХУДОЖНИК ФЕЛИКС ЗВАРСКИЙ**



**HOB OE**







## Михаил СВЕТЛОВ

---

\* \* \*

Мне много лет. Пора уж подытожить,  
Как я живу и как вооружен.  
На тысячу сердец одно помножить —  
И вот тебе готовый батальон.

Значенья своего я не превысил,  
Мне это не к лицу, мне не идет,  
Мы все в атаке множественных чисел  
С единственным названием: народ!

Быть может, жил я не для поколений,  
Дышал с моей эпохой не в лад?  
Быть может, я не выкопал по лени  
В моей душе давно зарытый клад?

Я сам свой долгий возраст не отмечу...  
И вот из подмосковного села  
Мне старая колхозница навстречу  
Хлеб-соль на полотенце поднесла.

Хлеб-соль! Мне больше ничего не надо,  
О люди, как во мне ошиблись вы.  
Нет! Я не в ожидании парада,  
Я в одинокой комнате вдовы.

Я ей портреты классиков развешу,  
И все пейзажи будут на стене,  
Я все ей расскажу, ее утешу,  
Прошу, друзья, не помешайте мне!

Я радость добывал, и есть усталость,  
Но голос мой не стих и не замолк.  
И женщина счастливой оставалась —  
Я был поэтом, выполнил свой долг.

\* \* \*

Мне неможется на рассвете,  
Мне б увидеть начало дня...  
Хорошо, что живут на свете  
Люди, любящие меня.

Как всегда, я иду к рассвету,  
И, не очень уж горячи,  
Освещают мою планету  
Добросовестные лучи.

И какая сегодня дата  
Для того, чтоб явилась вновь  
Похороненная когда-то  
Неродившаяся любовь?

Не зовут меня больше в драку, —  
Я — в запасе, я — просто так,  
Будто пальцы идут в атаку,  
Не собравшиеся в кулак.

Тяжело мне в спокойном кресле,  
Старость, вспомнить мне помоги —  
Неужели они воскресли,  
Уничтоженные враги?

Неужели их сила тупая  
Уничтожит мой светлый край?  
Я-то ладно, не засыпаю,  
Ты, страна моя, не засыпай!

В этой бешеной крутоверти  
Я дорогу свою нашел,  
Не меняюсь я и к бессмертью  
Я на цыпочках подошел.

\* \* \*

Никому не причиняя зла,  
Жил и жил я в середине века,  
И ко мне доверчивость пришла —  
Первая подруга человека.

Сколько натерпелся я потерь,  
Сколько намолчались мои губы!  
Вот и горе постучалось в дверь,  
Я его как можно приголубил.

Где-то рядом мой последний час,  
За стеной стучит он каблуками...  
Я исчезну, обнимая вас  
Холодеющими руками.

В вечность поплывет мое лицо,  
Ни на что, ни на кого не глядя,  
И ребенок выйдет на крыльцо,  
Улыбнется: — До свиданья, дядя!



## НА РАССВЕТЕ

Солнце встало,  
Банальной проходит тропой, —  
Свечка господа бога  
Опять зажжена над землей,  
Все деревья и солнце,  
И все соловьи,  
И все жаворонки —  
Это все коммунисты мои!

Если б не было Ленина,  
Что бы делать я стал?  
Я бы юностью  
Юность свою не считал,  
А сейчас своей силой  
Мне трудно владеть —  
Ну куда же мне деть ее?  
Куда ее деть?

Пригодись, моя сила,  
Для слабых людей,  
Пригодись, мое сердце,  
Для светлых идей,  
Пригодись молодым,  
Мое множество лет,  
Пригодись, пригодись,  
Пригодись, мой рассвет!

## НИНЕ

Я клянусь тебе детской мечтою,  
Взрослым подвигом, горем земли —  
В мире самой счастливой четою  
Мы с тобою прожить бы могли.

Мне узнать бы любовь хоть на ощупь,  
Только контуры где-то видны,  
И как будто в осеннюю роцу  
Я вошел в середине весны.

Мне бы счастье свое не прохлопать,  
Я к любым испытаниям готов...  
До чего надоедлива копоть  
Мной еще не зажженных костров.

Как о хлебе мечтаю о чуде,  
Я хочу, чтобы в годы мои  
Соловьи запеваляли, как люди,  
Чтоб запели мы, как соловьи.

С молодой, ненасытной жаждой  
Мне, наверно, понять не успеть,  
Что обязанность зелени каждой  
К дням осенним вовсю зажелтеть.

Отвечайте, прошедшего тени,  
Для чего я на свете живу?  
В листопад самый гнусный, осенний,  
Возвращаю деревьям листву.

За столом засиделся я поздно.  
Небо в звездах, и космос висит.  
И не бабушкой старой береза,  
А девчоночкой светлой стоит.

Я шагаю с открытой душою,  
Комсомольцы идут впереди,  
Все — и маленькое, и большое —  
Прижимая к широкой груди.

Дни свои я тобою украшу.  
Еле слышно меня позови,  
И вдвоем, как на родину нашу,  
Возвратимся мы к прежней любви.

## РАЗГОВОР

Ты — любовь моя!  
Ты — перевертень ума,  
Ты как лето на саночках,  
Как в веснушках зима.

Нет! Не в сказочной обуви,  
Нет, не в туфельках Золушки,  
Не в огнях городов,  
Не в мерцанье села,  
Не в сиянье реклам, —  
По дорогам проселочным  
В тихих тапочках стоптанных  
Ты торжественно шла.

Я мечтал о тебе;  
Отправляясь в дорогу,  
Я искал тебя —  
Девушку-недотрогу.

Пусть мне будет  
От вдохновения жарко —  
К медсанбату в пути,  
В обгоревшем лесу,  
Я любовь —  
Эту раненую санитарку, —  
Может быть, донесу,  
Может, не донесу.

Как мне быть?  
До сих пор я не принял решения.  
Неужели с годами  
Погиб мой запал?  
Не по площади бить,  
А по точной мишени!  
Кто поможет проверить —  
Попал, не попал?



Были юными,  
Стали согбенными плечи,  
Все же тяжести новой  
Смиренно я жду.  
Ты на месте не стой,  
Ты пойдй мне навстречу,  
Все мне кажется —  
Сам я вовек не дойду.

Мы уступок  
У нашей любви не просили,  
Нам соблазны  
Не изменили маршрут...  
Молодежь не поймет  
Наших грустных усилий,  
Постаревшие люди,  
Быть может, поймут.

## Сергей ВИКУЛОВ

---

\* \* \*

Оглядываюсь с гордостью назад:  
прекрасно родовое древо наше!  
Кто прадед мой?

Солдат и землепашец.  
Кто дед мой?

Землепашец и солдат.  
Солдат и землепашец мой отец.  
И сам я был солдатом, наконец.

Прямая жизнь у родичей моих.  
Мужчины — те в руках своих держали  
то плуг, то меч...  
А бабы — жены их —  
солдат земле да пахарей рожали.

Ни генералов нету, ни вельмож  
в моем роду. Какие там вельможи...

Мой прадед, так сказать, не вышел рожей,  
а дед точь-в-точь  
был на него похож.

И все ж я горд, — свидетельствую сам! —  
что довожусь тому сословью сыном,  
которое в истории России  
не значитя совсем  
по именам.

Не значитя... Но коль неволю  
терпеть ему обиды становилось,  
о, как дрожать вельможам доводилось,  
шаги его расслышав за версту!

Ничем себя возвысить не хочу.  
Я только ветвь на дереве могучем.  
Шумит оно, когда клубятся тучи, —  
и я шумлю...  
Молчит — и я молчу.

## Борис БРЯНСКИЙ

---

### БАЛЛАДА О БРАТСТВЕ

Братство, оно не по крови.  
Бывало,  
у нас в двадцатом,  
штык держа с грудью вровень,  
шел брат  
на родного брата.

Но не было братства пламенной,  
не было кровней родства,  
когда  
с кумачовым знаменем  
вперед устремлялась  
братва!

Братство —  
                                это как песня,  
с которой на смерть, как на праздник!  
Нет ничего прекраснее  
братства по духу!..

                                А если  
по крови, то только по красной,  
по смелой, бунтующей, страстной,  
по жарко пылающей крови!  
Кровь тоже бывает разной.

Братство, оно  
                                по партии,  
по общности чувств, идей,  
народы сделались братьями,  
так что ж говорить про людей!

Мир, нами спасенный,  
                                ты выжил,  
Но ты не забыл?  
                                Не забыл?  
Ты слышишь?.. Ты слышишь?..  
                                Ты слышишь  
молчание братских могил?

Братство у нас не по крови той,  
которая греет тело.  
Братство

                                по крови пролитой  
за наше общее дело.

...Что в братстве сильнее прочего —  
так это душа рабочего.

Мы город назвали  
                                Братском  
не ради красивых фраз.  
У нас  
                                если разобраться,  
то каждая стройка —  
                                Братск!

История необратима.  
Теперь в части света  
                                в любой  
у нас есть друзья,  
                                побратимы  
и братья, чья боль — наша боль,  
чья радость — радость и наша,  
а может быть,  
                                радостней даже!

Братство  
                                по революции.  
Братство по светлому делу.  
По-братски сердцами сольются  
и черный, и желтый, и белый!

Чтобы работать,  
                                чтоб драться  
с нуждою,  
                                с бесправьем,  
                                с войной,  
рождается новое братство  
и шар обнимает земной!

### АГРОНОМОВСКИЙ «ГАЗИК»

Дорога опять не ближняя.  
А сколько их было за лето!..  
То грохоча по булыжнику,  
то рокоча по асфальту,  
а то большаком размокшим,  
где другим буксовать не грех,  
он идет.

                                Он застрять не может.  
Разве только  
                                что перегрев!  
Как и Юрий Васильич,  
                                как Юра,  
он в бурую пыль одет.  
И как агрономовская шевелюра  
выгоревший тент.

У них у обоих  
                                поиск  
путей,  
                                чтобы людям свет!  
Потому-то хлеба им  
                                в пояс  
кланяются вслед.

Ему только б хлебнуть бензина,  
да автолом бы подзаправиться,  
да нежеваную резину —  
и с любовью  
                                дорогой справится.  
И в дождь,  
                                и в метель проклятущую,  
и в пыль,  
                                и в буран,  
                                и в снег  
у него все колеса  
                                ведущие!  
Иждивенцев надутых нет!

Против ветра  
                                широкой грудью,  
напрягаясь порою до слез,  
он целую землю  
                                крутит  
рубцами своих колес!



## Владимир ПАЛЬЧИКОВ

---

\* \* \*

Иду по тротуару, как босой, —  
Весь легкий, свежий.  
Еще ни света в окнах.  
Нагруженные крупной росой,  
Деревья просыпаются,  
Продрогнув.  
И, не стеснен присутствием моим,  
Спит город под присмотром ранней рани,  
Младенчески распахнутый, каким  
Бывает только летними утрами.

Сбегают переулки к Иртышу,  
Лилово затененные домами.  
Иду и переулками дышу  
И Иртышом, замедленным в тумане.  
Спят краны,  
Опершись на облака.  
В своих депо  
Спокойно спят трамваи.  
Спит город в тишине,  
Напоминая  
Будильник  
за минуту до звонка.

## Анатолий ЗАЯЦ

---

### ДЕРЕВЬЯ

Звенит листвою над головою время,  
Осенний шум деревьев входит в стих.  
Стоят декоративные деревья  
Вдоль нешироких улиц городских.

Их так ревниво тут оберегают  
От всех стихий, от всяческой беды.  
Их по весне красиво подстригают,  
Им не жалеют комнатной воды.

Холодным вечером,  
Когда сквозь сетку веток  
Неоновый  
Зеленый свет горит,  
По переулкам странствующий ветер  
Им о бескрайних даях говорит.

И вот тогда  
У этих лип и кленов  
Проснется кровь  
И листья бросит в жар,  
Возникнет боль в суставах воспаленных,  
И полетит листва на тротуар.

Но все пройдет. Они свое отплатят,  
Они свою печаль не сберегут.

Снега опять сойдут, а это значит —  
Их снова под гребенку подстригут.

Они, пожалуй, на судьбу не ропщут,  
Их никуда отсюда не зови.  
...На свете есть березовые рощи,  
К которым прилетают соловьи.

На свете есть  
Просторные просторы  
И ивы, словно взрывы, у пруда,  
И есть еще лазоревые зори,  
Которые не вянут никогда.

И есть еще на этом свете  
Ветер —  
Не тот, что в переулках  
Бродит зря, —  
Хмельной и свежий  
Ветер есть на свете,  
Есть счастье, откровенно говоря.

Вас обвинять я права не имею  
И никогда не стану обвинять.  
Хотя бы потому, что вы —  
Деревья  
И вы меня не можете  
Понять.





## ОТ ДНЕПРА ДО ЕНИСЕЯ

Мы стоим с тобою, Поэзия, на дне котлована Красноярской ГЭС. Вокруг нас на огромном пространстве творятся дивные дивы: идет рядовой, обычный, буднично-стройный день стройки. Взрывают скалы, убирают камни, прилаживают опалубки, кладут бетон, вяжут арматуру, перевозят грузы, перебрасывают кранами гигантские тяжести, укрепляют перемычки, возводят бычки, плотины, свершают тысячи всяких других строительных дел.

Это твои владения, товарищ Поэзия, и все в них живет тобою...

Бесчисленные машины движутся по котловану. Задрал головы, глядим мы, Поэзия, на верхушки огромных порталных кранов и шагающих экскаваторов, уважительно ходим вокруг громадных самосвалов, тракторов, бульдозеров. Каждой машиной управляет рабочий — и зрячим людям понятна бывает поэзия его труда, хотя и не всем. Но, к сожалению, есть еще немало число людей, разумом не понимающих и сердцем не чувствующих, что каждый такой механизм — сам по себе поэзия. Создание человека — машина достойна поэтического вдохновения, достойна того, чтобы ею любовались как таковой, будь это рядовой станок или чудо кибернетики.

Люди! Их немало вокруг нас, но их почти не видать. Основной пейзаж котлована — машины, механизмы. Из глубины своих кабин, на территориях своих участков над ними владеют шоферы, бетонщики, арматурщики, плотники, экскаваторщики, крановщики, бульдозеристы, электрики, монтажники, механизаторы, взрывники, слесари, гидрологи, прорабы, бригадиры, техники, инженеры.

Мы не будем отрывать их от работы, товарищ Поэзия. Мы встретимся с ними в квартирах Дивногорска и рабочих поселков. Пред нами предстанут яркие примеры самых различных биографий, перипетии разных судеб, черты разных характеров, привычек и повадок, несчетные вариации человеческих обликов, людских дум, чувств, намерений, мечтаний. Какой это несметный клад для любого поэта, какой это неисчерпаемый родник поэзии!

Однако, чтобы все это понять, нужен материал для сравнения. Без него обойтись нельзя. Поищем его, Поэзия!..

Какие страницы электрификации мы с тобой откроем? Братск? Волгоград? Куйбышев? Я готов начать перелистывать эти страницы, но ты влечешь меня, Поэзия, еще дальше, в глубь прошедших строительных лет.

Вот Днепр, обозначенный в заголовке нашей беседы, — Днепр, Днепрострой, Днепрогэс. Мы хорошо знакомы с ним, знакомы лучше, чем с какой-либо электростанцией. Давай начнем чтение этой страницы жизни страны во имя поставленной задачи!

Но ты влечешь меня еще дальше в прошлое, минуя Штеровку, Кашину, Шатуру, Свирь и Волхов. Ну что ж! Я разгадал твой замысел. Полностью подчиняюсь тебе. Говори. Читай. Показывай.

..Апрельская ночь 1918 года. Кремль. Кабинет Владимира Ильича Ленина. Председатель Совнаркома стоит у карты Советской страны, где всего шесть месяцев назад рабочие и крестьяне взяли власть в свои руки, вedomые партией большевиков. Разлеглась на карте Россия, нищая, отсталая, истерзанная войной, на восемьдесят процентов неграмотная, испещренная сетью убогих крестьянских полосок. Не на всей ее территории установлена народная власть. Грозные враги атакуют отчизну социализма. Они находятся и вне ее и внутри нее...

О чем же думает Ленин этой ночью, до краев переполненной громами гражданской войны и отзвуками тяжелых шагов разрухи?

Гадать нам не приходится. Этой ночью был им написан поразительный документ, являющийся программным для жизненного пути партии и народа. Заголовок документа — «Набросок плана научно-технических работ». Адресат — Академия наук, начавшая систематическое изучение и обследование естественных производительных сил России. Суть документа — поручение образовать ряд комиссий из специалистов для возможно более быстрого составления плана реорганизации промышленности и экономического подъема России. Предпоследний абзац письма Ленина гласит:

«ОБРАЩЕНИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ НА ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА К ЗЕМЛЕДЕЛИЮ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПЕРВОКЛАССНЫХ СОРТОВ ТОПЛИВА (ТОРФ, УГОЛЬ ХУДШИХ СОРТОВ) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ НА ДОБЫЧКУ И ПЕРЕВОЗ ГОРЮЧЕГО»...

...23 января 1920 года. Тот же кабинет в Кремле. Владимир Ильич пишет Глебу Максимилиановичу Кржижановскому письмо, в котором намечает основные направления работы над планом электрификации всей страны.

...21 февраля 1920 года. По предложению Ленина президиум ВСНХ принял предложение об утверждении комиссии для разработки Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО).

...Москва. Садовники, 30. Квартира Глеба Максимилиановича Кржижановского, инженера-большевика, соратника Владимира Ильича со времен создания петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», председателя комиссии ГОЭЛРО. Работа над планом идет полным ходом, но трудности приходится преодолевать неимоверные.

На столе Глеба Максимилиановича два телефона: прямой провод к Ленину и обычный московский телефон, соединяющий Кржижановского с большинством членов комиссии. Впрочем, по большей части Глеб Максимилианович беседует с членами комиссии не по телефону, ибо к каждому из них требуется применять разные меры воздействия. Среди двухсот инженеров, составлявших комиссию ГОЭЛРО, вряд ли можно было найти десятка два людей, целиком стоящих за советскую власть.

...Прости меня, товарищ Поэзия, но я на минуту прерву твой рассказ. Необходимо добавить некоторые колоритные подробности к тому, что было только что тобой сообщено.

В одной из многочисленных бесед со мною Глеб Максимилианович поведал, что, потеряв терпение, он обратился однажды к Владимиру Ильичу с требованием убрать из комиссии Пальчинского и Рамзина. Тормосят! Мешают! Других сбивают с пути! Путают!

В ответ на такое требование Ленин... засмеялся! Да! Именно засмеялся! А потом сказал:



— Вы большой чудак, милый Глеб! Неужели вы думаете, что только у нас есть план электрификации России? Надеюсь на возвращение к власти, свой план прикидывают российские буржуи. Уверенные в слабости российских буржуев, уверенные в том, что их призовут володеть промышленностью нашей страны, свой план прикидывают американцы, англичане, другие варяги. Все эти планы направлены на закабаление России, но они существуют. Пальчинский и Рамзин являются агентами буржуев? Да, несомненно. Так сумеете из этого извлечь пользу для нас! Пользу — как это парадоксально ни звучит. Внимательно изучайте их предложения. Тщательно анализируйте каждый раз, за что они голосуют и против чего они голосуют. Это поможет вам лучше ориентироваться, чтобы найти в каждом случае наилучшее решение, идущее нам на пользу, реализуемое наши интересы. Нет-с, батенька! Пусть они в комиссии останутся, а вы — глядите в оба. Мы должны их использовать, а не они нас!..

Глеб Максимилианович от своего требования отказался. В период работы комиссии ГОЭЛРО он десятки раз убеждался в справедливости мудрого ленинского совета.

Продолжай, товарищ Поэзия, свой рассказ.

...Москва. 2 октября 1920 года. Ленин ошарашивает делегатов III съезда комсомола лозунгом «Учиться!». Речь его была яркой, логичной, убедительной, но не сразу дошла до разума и сердца посланцев Союза молодежи. Но вот Владимир Ильич приводит разительнейший, убедительнейший довод, теоретически ясный и непререкаемый, придавший вместе с тем огромный практический смысл всем теоретическим выкладкам:

— Перед вами стоит задача хозяйственного возрождения всей страны, реорганизация, восстановление и земледелия и промышленности на современной технической основе, которая покоится на современной науке, технике, электричестве..

Этот абзац речи Ленина был закончен фразой, произведшей неотразимое впечатление на делегатов:

— К электрификации неграмотные люди не подойдут...

...Москва. Садовники, 30. Ноябрь 1920 года. В нетопленной квартире Кржижановского перепечатывают последние страницы созданного плана ГОЭЛРО. Чудесная женщина Мария Васильевна Чашникова сидит за машинкой днем и ночью почти без перерыва. Ее руки так натружены, что не однажды на кончиках пальцев появляется кровь.

Регулярно звонит Владимир Ильич. Интересуется. Торопит.

В квартире дежурит велосипедист. Иных средств связи нет. Каждый перепечатанный листок плана, как только он появлялся из машинки, немедленно переправлялся в Кремль, Ильичу.

Вышло или не вышло?

...Москва. Садовники, 30. Глеб Максимилианович снимает трубку и слышит голос Ленина. Владимир Ильич произносит только одно слово, но мало найдется слов, которые могут сравниться с ним по значению и величию. Возможности услышать это слово долгие месяцы с трепетом ожидал председатель комиссии ГОЭЛРО. Возможности произнести это слово те же долгие месяцы жаждал Председатель Совнаркома, вождь коммунистов Ленин:

— ВЫШЛО!

...Москва. Декабрь 1920 года. Большой театр. В нем очень холодно. Делегаты VIII съезда Советов сидят, не сняв ушанок, шапок, полушубков, пальто, валенок. На сцене — огромная карта России. На карте видны не очень многочисленные электролампочки. Они по очереди зажечься, потребовалось лишить электроэнергию половину московских заводов. Их было тогда ничтожное количество, но и электротока было «чуть-чуть».

Председатель комиссии ГОЭЛРО, подкрепившись присланной ему Лениным чашечкой горячего кофе с капелькой коньяку, стоит у карты без пальто, в бурках, в своем обычном френче и делает доклад об электрификации России. Овации, которыми был встречен доклад, описать немислимо. Впрочем, будем надеяться, что Поэзия сумеет их описать когда-нибудь, да и весь этот съезд, включая ту минуту, когда на нем прозвучали слова Ленина: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

Не будем сейчас углубляться в детали только что сообщенного великого события! Но заглянем на секунду в душу какого-либо честного беспартийного инженера, члена комиссии ГОЭЛРО, который из доклада Ленина узнал, что он, инженер, не сочувствующий советской власти и большевикам, был участником создания второй программы Коммунистической партии. Видя, что совершенно грандиозное и правильное дело, такой инженер не мог не подумать о том, что его человеческий и гражданский путь может совпасть с путем партии большевиков, с путем Ленина.

Поэзия его профессии не могла не подсказать ему возможность такой перспективы...

...Мы прочли с тобой, товарищ Поэзия, предисловие грандиозной повести строительства электростанций в Советской стране. Приступим к чтению самой повести.

Ты предлагаешь сразу двинуться на Днепрострой, минуя Шатуру, Штеровку и Каширу? Ну что ж! Я понимаю тебя. На Днепрострое наша родина держала первый ответственный экзамен на строительство гидроэлектрического гиганта. Шутка сказать! Мощность электростанций всей России в 1913 году едва превышала один миллион киловатт, а турбины одного Днепрогэса должны были дать больше половины этой мощности.

Что же мы с тобой увидели на строительных площадках Днепростроя и в его котлованах? В 1927 году появились на берегах Днепра возле селения Кичкас сотни телег. Земляные работы производили грабари. Взрывались скалы, а камни убирала те же грабари. Затем возникли перемычки, котлованы, по дну Днепра проложили железную дорогу для подвоза бадей с бетоном. Появились маломощные паровозные краны, несколько вантовых дерриков и несколько жестких дерриков, слабосильные бурильные станки Сандерсена, перфораторные молотки. В 1928 году стал обитателем Днепростроя один экскаватор, и то иностранной фирмы «Марион». К 1931 году экскаваторов набралось ровно одиннадцать штук. На обоих берегах Днепра сплошной лентой тянулись лесопильные, деревообделочные заводы, механические цехи, арматурные дворы, компрессорные станции, паровозные депо, полевые мастерские. Кое-что было в них механизировано, и это казалось большим достижением, но громадная часть работ совершалась руками или примитивными орудиями. А бетон в бычках плотины уминался ногами...

Картина стройки была впечатляющей и внушительной. Нельзя было не залюбоваться ею. Нельзя было не восхититься, слушая днепростроевскую симфонию труда. Что ж? Техническая вооруженность Днепростроя превышала все, что мы до тех пор имели, размах работ был необычайным.

Но все познается сравнением — и мы как раз ищем материал для сравнения.

Помнишь, Поэзия, как часто мы выходили с тобой, особенно ночью, на вершину скалы Коханья, чтобы долго-долго смотреть на величественную панораму стройки? Нередко неподалеку от нас тем же делом занимался начальник Днепростроя Александр Васильевич Винтер, красивый человек, замечательный инженер, волевой руководитель. Нам обоим было на что взглянуть! Вот две гигантские стены окованной ряжами воды, обнаженное дно реки, на нем растущие бычки, пирамиды опалубок, железная дорога, думпкары, платформы, бады с бетоном, деррики, экскаваторы, краны, бурильные станки. Дно котлована кишмя кишит людьми. Все это освещено солнцами прожекторов, созвездиями электроламп...

И однажды — чудесной легкой ночью 1930 года — случилось так. Резко повернулся к нам с тобой Александр Васильевич Винтер, подошел и, новинуюсь, очевидно, сильному движению души своей, сердито спросил:

— Ну что, поэт? Красиво?

Я сразу ему ответил, ибо часто об этом думал:

— Для глаз — красиво. По существу — безобразие.

Винтер аж покачнулся от удивления. Но лицо его мигом стало детски добрым, настороженно-внимательным.

— Почему?

— А вот, по-моему, почему, товарищ Винтер. Сейчас на Днепрострое работает сорок тысяч человек. В этой ночной смене, в обстановке столь красивой для глаз, — восемь тысяч. А механизмов у них в распоряжении... ну, скажем, тысяча восемьсот. Где же тут индустриальная красота и всякая другая? Если бы в котловане работали тысяча восемьсот человек и владычили над восемью тысячами механизмов и агрегатов, в большинстве своем автоматических, — вот тогда было бы красиво!

Винтер крепко пожал мне руку, и с той поры мы по-настоящему подружились.

— Да-с! Подлинная красота — вещь относительная и очень конкретная, и в жизни индустриальной стройки, и в жизни общества, и в жизни каждого человека...

Люди! Как я уже сказал, они кишмя кишели в котловане. А подспорьем в труде и орудиями труда им служили телеги, мизерное число автомашин, лопаты, кирки, мотыги, пилы, рубанки, рота кранов, взвод дерриков, шеренга экскаваторов, дробящие скалу перфораторы, ноги, уминающие бетон.

Тут выступает на сцену еще одна примечательная черта тогдашнего времени. Существовали ли в ту пору на иных операциях более совершенные агрегаты и механизмы, чем те, что применялись на Днепрострое? Да, существовали. Но от них отказались. Волею обстоятельств руководителям стройки пришлось держать равнение на доступность механизмов, ибо тогда не было таких кадров, которые могли бы в широком масштабе применять сложные механизмы, управлять ими. Это ведь были 1927 — 1932 годы, а не 1963-й...

Люди! Какие люди работали на Днепрострое? Немногочисленный круг инженеров старой и новой формации, отряды индустриальных рабочих, прибывших из других городов, отряды техников и мастеров. Но в подавляющем большинстве это были крестьяне, не знающие, что такое коллектив, трудовая дисциплина. Многие тысяч строителей были людьми неграмотными и малограмотными; людьми, не имеющими элементарных технических навыков; людьми, поддающимися вражеской агитации; людьми, не привыкшими к иному быту, кроме сельского. Необходимо было атаковать и победить твердыни крестьянской ограниченности, армию собственных чувств, стихию анархических вспышек мелкобуржуазной души.



Немало сил отняла борьба с кулачем, пытавшимся вредить стройке, с лодырями, шкурниками, рвачами. Шел сложный процесс рождения и становления массовых кадров рабочего класса. Тех, кто мог и хотел честно трудиться, нужно было организовать, научить или подучить, ввести в строй сознательных участников общепролетарского дела.

Все это было невероятно трудной задачей. Что ж? Ты можешь засвидетельствовать, Поэзия нашей жизни, что большевики с нею справились. Вместе с большевиками, при помощи администрации, комсомольских, профсоюзных и общественных организаций, ты создала, товарищ Поэзия, десятки школ грамоты, школ повышения квалификации, вечерний комвуз, одиннадцать совпартшкол, двадцать пять «низовок», несметное число кружков текущей политики, заочное обучение, энергетический и строительный институты.

В 1932 году массы днепростроевцев были уже не теми, что в 1927-м. Уже с 1929 года Днепрострой стал давать технически обученные кадры Магнитке, Березнякам, заводам и стройкам. Днепрострой стал первым университетом большой индустрии СССР.

Вместе с тем он был великой политической школой, внедрявшей в сердца и умы понимание целей стройки и целей всей работы Компартии и советской власти; школой, воспитывавшей чувства рабочей солидарности и дисциплины; школой, пробудившей в десятках тысяч душ стремление учиться, учиться и так работать, чтобы и люди и страна в сотни раз превзошли ту степень красоты, которая тогда считалась наивысшей и в технике, и в быту, и во многом другом. . .

Мы много с тобой поработали на Днепрострое, Поэзия! Мы пустили в ход все виды поэтического оружия: стихи патетические, лирические, эпические, сатирические, лозунги, подписи к плакатам, карикатурам, фотообвинениям, фельетоны и эпиграммы. Мы работали там и сами по себе, и в составе выездных редакций «Правды» и «Комсомольской правды». Какое это замечательное дело для поэта! Необходимо и теперь организовать широкое участие поэтов в выездных редакциях и бригадах газет.

У меня нет претензий к тем поэтам, которые не умеют вести такую работу: у каждого есть свой характер, приемы и темп творчества. Но мне жаль тех поэтов, которые умеют, но не хотят. Слепцы и чудачки! Где еще могут они с такой реальностью видеть, как стихи становятся песней, строки — цитатами, четверостишие — силой, заставившей человека еще лучше работать или изменить свое неблагоприятное поведение, как стихотворный лозунг становится формулой, повторяемой сотнями людей, эпиграмма — оружием удара или поощрения. Что может сравниться с удовольствием видеть свои лозунги на вышках доми, на машинах и кранах, в цехах и общежитиях, видеть, как твои эпиграммы клеят на спичечные коробки, на папиросные коробки, на бутылки с молоком, как стихотворное письмо к бетонщикам или инструментальщикам становится пунктом повестки дня рабочего собрания, как создается специальная комиссия для принятия мер по следам фактов, описываемых в твоих фельетонах. Стихотворные строки работают как участники строительства, как бойцы за план завода, шахты или колхоза, стихотворные строки входят в стены строящихся зданий, в сталь рождающихся машин, в память и сердца людей.

Но чтобы так работать, нужно быть в гуще жизни. Она дает тебе материал для молниеносных строк и больших поэм, является источником немедленных действий и длительных раздумий.

Так родилась поэма, которую я продолжаю писать до сих пор. В ней хочу я эпически показать будни строительства Днепровской гидроэлектростанции и жизнь людей того времени, — жизнь людей, которых вели ком-

мунисты и подготовляли к умению так работать, чтобы в сотни раз и люди и страна превзошли ту степень красоты, что считалась тогда высшей и в технике, и в быту, и во многом другом...

... Ну что ж, товарищ Поэзия! Настало время вернуться нам в котлован Красноярской ГЭС, пролетев за одно мгновение тридцать один год вперед со дня 10 октября 1932 года — дня пуска Днепрогэса. Мы уже вооружены материалом для сравнения, и многое теперь понятно с одного взгляда.

Прежде всего мы улыбнемся тому, насколько реально подтверждается относительность не только понятия красоты, но и, к примеру, такого понятия, как «гигант». Днепрогэс был в свое время подлинным гигантом гидроэнергетики, притом гигантом-одиночкой. А теперь он является соратником огромного числа тепловых и гидроэлектрических станций, и Братская, Волгоградская, Назаровская, Куйбышевская станции имеют полное право именовать Днепрогэс малышом. А уж тем более растущая Красноярская ГЭС! Достаточно представить себе Днепровскую «электралампочку Ильича» в 650 тысяч киловатт и рядом с ней Красноярскую в пять миллионов киловатт. И уже вырисовывается в Верхних Саянах и во многих других местах облик электростанций, могущих превратить Красноярскую ГЭС из гиганта в малыша. Вот это красиво!

А теперь поглядим на красноярский котлован и постараемся сначала прочесть поэму о величии наших побед, о величии людского деяния и разума, запечатленную в орудиях труда.

Перед нами гигантские порталы и самоходные краны, поток могучих самосвалов, шагающих экскаваторов, армия грузовых автомашин, вибраторы, электропилы, электрорубанки, электродрели, роты сложных механизмов, умных автоматов и полуавтоматов. Нет такого сложнейшего агрегата, машины или станка, каких не могла бы прислать Советская страна строителям ГЭС. Не забудем и о том, что Ленинград готовит для Красноярской станции десять турбин, из которых каждая почти равняется мощности всех турбин Днепрогэса.

Каждое из перечисленных орудий труда является участником поэтического творчества людей, создающих крупнейшую в мире Красноярскую ГЭС, и вместе с тем любое из этих орудий труда само по себе поэзия. Это надо уметь видеть и понимать.

На этом месте поразмышляем, товарищ Поэзия, вот над чем. Тысячи раз читали мы в статьях критиков требования того, чтобы в произведениях писателей, как прозаиков, так и поэтов, машина не заслоняла человека. Это правильно. Это непререкаемо верно. Это неоспоримо.

Но правильно и то, что человек не должен заслонять машину. Объектом писательского творчества может и должна явиться и жизнь человека и жизнь машины. Одно другому никак не противостоит. И в жизни человека и в жизни машины есть свои победы и поражения, конфликты и катастрофы, красоты и безобразия. Иной раз невозможно понять жизнь и психологию человека, не зная применяемых им орудий труда. Это тоже неоспоримо, ибо каждому понятна разница между лопатой и бульдозером, мотыгой и экскаватором, байдаркой и атомным ледоколом, одношпиндельным станком и кибернетической машиной, телегой и космическим кораблем. Жизнь трудового человека переплетается с жизнью применяемых им орудий труда, очень часто зависит от них. Разум трудового человека совершенствует орудия труда и этим вносит существенные перемены и в методы труда, и в быт людей, и в жизнь общества. Нельзя игнорировать поэзию машины как таковой, ее роль в трудовой деятельности людей, влияние рабочей профессии на психологию человека. А психология и характер рабочего человека не складываются без влияния методов труда его профессии и без влияния орудий его труда.

Мы окидываем с тобой взором, товарищ Поэзия, котлован Красноярской ГЭС, видим машинную армаду строительного хозяйства и даже только в металле и конструкциях механизмов читаем поэму о величии человеческого деяния, направленного на выработку людского счастья, поэму о грандиозности наших побед на пути от голода, холода, сыпняка и разрухи в первые годы Октябрьской революции до строительства Днепрогэса и от строительства Днепрогэса до картины котлована Красноярского электрогиганта, перед которым Днепрогэс — малыш.

Эта поэма сама по себе впечатляюща. Но она является лишь составной частью поэмы о борьбе за грамотность, умение, знания, опыт, за раскрепощение людских талантов; поэмы о преодолении тысяч препятствий при покорении природы и завоевании людских душ; поэмы о красоте человеческой воли, мысли и дерзания; поэмы о красоте цели, поставленной советскими людьми, о красоте их стремительного движения к этой цели.

Строки такой поэмы создают и люди Красноярской ГЭС.

Социализм, бывший для многих поколений лишь мечтой, а затем ставший конкретной целью, является для людей Красноярской ГЭС быт о м. Техническая вооруженность стройки и страны, стремление к ленинской цели — коммунизму, несметное число принадлежащих всему народу заводов, фабрик, электростанций, школ, институтов и лабораторий, работающих и строящихся, совхозы, колхозы, отсутствие антагонизма классов, единство и дружба народов, кибернетические машины, атомные станции, межконтинентальные ракеты, космические корабли, спутники «Космос 11, 12, 13, 14, 15, 16 и т. д.» — это для них нечто само собою разумеющееся.

Давай припомним, Поэзия, постскриптум В. И. Ленина к письму, уже упомянутому нами, к письму, направленному Глебу Кржижановскому 23 января 1920 года: «Красин говорит, что электрификация железных дорог для нас невозможна. Так ли это?»

Когда я прочитал эти фразы Ленина нескольким бетонщикам, пришедшим ко мне в гости в вагон выездной редакции «Правды», они улыбнулись и запросто сообщили, что их всех доставила из Москвы в Красноярск «электричка». А тех товарищей, что направлялись в Братск, та же «электричка» повезла в Иркутск! И в этом нет ничего удивительного, ибо существует в Советской стране, кроме многих других, электрическая железная дорога Москва — Иркутск протяжением в шесть тысяч километров...

Люди Красноярской ГЭС! У страны на устах имена знаменитых ее работников: Бочкин, Смирнов, Смелко, Вологдин, Лардыгин, Брагин, Пойда, Назимко, Данилов, Коков, Севенард, Гладун. Нельзя мне не назвать и Лаврентия Трофимовича Тарасенко, начальника участка, строящего «свою» седьмую электростанцию, человека, с которым в 1929 году я встречался на Днепрострое. Приезжайте, товарищи поэты, в Дивногорск, познакомьтесь с этими людьми, не пожалеете.

Но прекраснее всего то обстоятельство, что на строительстве Красноярской ГЭС налицо массовый трудовой подвиг несчетных профессий. Есть десятки лучших водителей, лучших бетонщиков, лучших экскаваторщиков, крановщиков, плотников. Все остальные тоже работают хорошо. Но интересна не только их трудовая деятельность. Интересны их биографии, судьбы, характеры, привычки, повадки. И конечно, особенно интересны многочисленные примеры проявления коммунистических чувств у людей, свершение коммунистических поступков — и в труде и в быту.

Приезжайте, товарищи поэты, в Дивногорск, вы увидите такие примеры во множестве и безмерно обогатите свое знание жизни и людей сегодняшнего этапа работы стройки и страны...



Среди людей и дел растущей Красноярской ГЭС есть и такие, которые должны явиться объектом не эпоса и лирики, а объектом сатиры. Что ж? Приезжайте, товарищи поэты, в Дивногорск, помогите разоблачению плохих людей и искоренению плохих дел.

...Передо мною шесть номеров газеты и иллюстрированное многостраничное приложение к ним, выпущенные в дни перекрытия Енисея выездной редакцией «Правды» совместно с работниками газеты «Огни Енисея». Хорошо поработал в этой «маленькой «Правде», как ее называли рабочие стройки, отряд поэтов, представителей разных поколений, поэтов давно печатающихся и начинающих, поэтов московских, красноярских и дивногорских. Редакция большой «Правды» приняла решение продолжить практику своих выездных редакций на стройках, заводах и в колхозах и этим, несомненно, дает сигнал другим газетам страны к созданию выездных редакций. Товарищ секция поэтов! Организованно включись в это превосходное, многократно оправдавшее себя дело, не пропусти возможности регулярно направлять поэтов, особенно молодых, в гущу жизни, в гущу трудовой деятельности рабочих коллективов. Для творчества поэта, как для Антея, это означает соприкосновение с землей, дающей силы. Для ремесла поэта работа в выездной редакции дает огромную практику, выучку, опыт. А кругом — разливанное море тем, сюжетов, несметное число наблюдений, встреч. Умей глядеть и видеть — и ты станешь обладателем многогранного творческого богатства. Работа поэта в выездной редакции приносит Родине пользу, а поэту радость, о которой я уже говорил раньше.

Несомненно, что этот родник станет истоком больших стихов и поэм. Не он один — но и он тоже, как часть активного вторжения в жизнь и одна доля длительного изучения жизни...

...Мы стоим с тобой, товарищ Поэзия, на вершине сопки, с которой видна вся панорама строительства Красноярской ГЭС. Перекрыт проран Енисея, и могучая река течет по новому руслу через пролеты бычков водосливной части плотины. Котлован левого берега, где мы начинали свою беседу, затоплен. Но уже готов котлован правого берега и высокими темпами идет наращивание бетона на созданных сооружениях.

С вершины сопки, как с вершины сегодняшнего дня, окинем взором красноярскую стройку и всю страну. Есть чем залюбоваться. Есть над чем поработать. Есть о чем написать.

С вершины сопки, как с вершины сегодняшнего дня, окинем взором наше прошлое. Есть чем залюбоваться. Есть о чем поскорбеть. Есть чему порадоваться. Есть о чем написать.

С вершины сопки, как с вершины сегодняшнего дня, взглянем в будущее. Оно прекрасно. Путь к нему не легкий и не гладкий, но он завершится нашей победой, и коммунизм в Советской стране, а потом во всем мире станет явью. Будет над чем поработать. Будет о чем написать.

Наше великолепное будущее вырисовывается зримым, осязаемым, рельефным, когда окинешь взором путь от первых наметок Ленина по созданию плана ГОЭЛРО до строительства на Днестре и от строительства на Днестре до строительства на Енисее...



## ТРАГЕДИЙНАЯ НОЧЬ

(Отрывок из четвертой части.  
Время действия 1929—1931 годы)

16

Каждый день,  
хоть по-прежнему страшен  
Был комсorghу юнец-нелюдим,  
Подходила к Миколe Наташа  
Хоть словцом переброситься с ним.  
Разговор на работе не долoг?  
Что ж! О многом душе говорят  
И любые ответы Миколы,  
И его заблудившийся взгляд.  
— На вечерку пойдешь?  
— А на что мне...  
— Вот газету прочти.  
— Не возьму.  
— Ты учился, Микола?  
— Не помню...  
— Расскажи о себе.  
— Ни к чему...  
— Кто задумал плотину?  
— Не знаю...  
— Что построят на том берегу?  
Как дорога проляжет сквозная  
Аж до моря?  
— Сказать не могу...

Сердце, сердце! Ты млеешь, ты стонешь,  
Но в тебе и улыбка цветет.  
Ведь вслепую,  
как малый детеныш,  
Твой желанный во жизни бредет!  
И в Наташе слилась и смешалась  
И в душе, и в уме, и в крови  
Злая, нежная, зрячая жалость  
С безотчетным томленьем любви.  
Комсомолка Наташа

все силы  
Напрягла,  
чтоб в Миколe смогло  
Стать прекрасным  
все то, что любила,  
А все то, что жалела,  
ушло.

...Нет препятствия в мире такого,  
Чтоб его одолеть, превозмочь  
Не могла бы Наташа Кравцова,  
Ленинградского токаря дочь!  
Без большого успеха сначала,

А потом все удачней, умней  
Нелюдима она приучала  
Чуть подольше беседовать с ней.  
Забегала она в общежитье,  
Так, случайно, на пару минут,  
Сообщить о каком-то событии,  
Разузнать, как ребята живут.  
Помаленьку, не вдруг, понемногу  
Приучала Миколу она  
Подходить для беседы к порогу,  
Выйти в дворик, пойти на дорогу,  
Посидеть на скамье у окна.  
Находила Наташа умело  
Путь-дороженьку к цели своей,  
Но ответить себе не умела:  
Полюбила? Иль только жалела?  
Что точней? Что сильней? Что важней?  
Эх, Наташа!  
Любовь человекья  
Очень многое может вместить!  
А «жалеть»  
иногда в просторечье  
Равнозначаще слову «любить»...

17

Не знал Микола счастья краше,  
Чем в этот ясный день земной.  
По настоянию Наташи  
Он взял свой первый выходной.  
И вот они шагают рядом,  
И нет нигде людей таких,  
Что восхищенным долгим взглядом  
Не задержались бы на них.  
Не умолкал ни на мгновенье  
Меж ними тихий разговор.  
Он был спокойным. Но волнение  
С трудом скрывал Наташин взор.  
Наташа мыслью, сердцем чутким  
Не уставала счет вести  
Его улыбкам, робким шуткам,  
Доселе бывшим не в чести.  
Легонько, исподволь, сторожко,  
Бульваром, берегом Днепра,  
Она вела его дорожкой,  
Хитро обдуманной вчера.  
И вот они тихонько вышли  
На кряж над берегом — туда,  
Где ночью

в дни побед  
на вышке  
Светилась красная звезда  
И где с начала мирозданья  
В холмы вросла,  
как мир стара,





Магнитка! Беломорканал!  
А Днепрострою шлют подмогу  
Мильоны рук людей родных.  
К земному счастью нет дороги  
Ни им без нас, ни нам без них...

— Ну что ж, Микола?

Как хозяин

Взгляни на это и пойми,  
Что ты навек судьбою спаян  
Со всеми этими людьми.  
Мы после как-нибудь обсудим  
Твой путь, твой будущий маршрут,  
Посмотрим, что отдашь ты людям,  
И что тебе они дадут.  
Но это после. Дать мечтаньям  
Простор — сейчас запрещено!

Давай в столовую заглянем,  
А после  
двинемся в кино...

...Овеян мир теплыню нежной  
Вечерней доброй тишины.  
Над высотой правобережной  
Огни закатом зажжены.  
Она ушла. Пуста дорога.  
Лишь слышно, как гудки гудят.  
Стоит Микола у порога  
И молча смотрит на закат.  
Душа волнением объята.  
Гори, закат! Сильней гори!..

Был для него костер заката  
Восходом утренней зари.

## Наталья АСТАФЬЕВА

---

\* \* \*

Я никогда не изменю.  
Я не обижу даже кошки,  
я напою котят из плошки,  
я утоплю тоску мою.  
Пусть тень не закрывает день  
с его полями и лесами,  
с его зелеными лугами,  
с его площадкой для детей.  
Уют рабочего поселка  
как будто столик на двоих.  
За листьями жилые блоки  
с любовной планировкой их.  
Приподнято сосредоточен  
квартал, машины не спуют...  
Здесь инженеры и рабочие  
с большим достоинством живут.  
Раздумчивые зрочки  
на тонко высеченных лицах...  
Треть жизни ездят москвичи.  
Вам позавидует столица.  
Серьезности, и глубине,  
и современности, и толку.  
Уют рабочего поселка  
с его достоинством —  
во мне.

\* \* \*

Люблю воздушный неба потолок,  
дороги,  
как льняные полотенца...  
Мне каждый листик дорог,  
я цветок  
не вырву — тонкий волос у младенца.  
Земля  
как спелый лопнувший арбуз,  
в крови ее — магнит любвеобильный,  
она мне дарит связки пестрых бус,  
я пачкаю ладони красной глиной,  
леплю кувшины, чашки и горшки  
и соловьев — базарные свистульки,  
копаю корнеплоды, корешки,  
с желтком, с изюмом выпекаю булки.  
Потом влезаю лесенкой крутой,  
как в пасть акулы, в гул и дрожь  
мотора...  
Смещаясь, проплывают подо мной  
леса и горы, реки и озера.  
Вверх вознеси меня,  
мой мозг и дух  
мятежный,  
нарастивший телу крылья...  
Но пчелы ладки пачкают в меду,

мы по цветам к вокзалу подрулили.  
Выходим в город..  
Он прислал такси.  
Он потеснился,  
место мне отводит.  
Пожалуйста, меня не растряси,  
мой голубой пузатенький автобус!  
Свези домой!  
Мне в каждом доме дом.  
Я привыкаю к городам, как к людям.  
В столовой стол накрыт — за тем столом  
с соседями мы новости обсудим.  
Они серьезные, вдумчивость и ум  
у них в глазах под молодыми лбами...  
Но, самолеты, ваш тревожен шум —  
за городом распластаны крылами.  
Взлетают, пролетают надо мной  
с безумным воем, рокотом и свистом...  
Мне о войне напомнил этот вой,  
но надо мной не прогремели выстрелы.  
Все было мирно...  
Плыл планеты плот,  
покачиваясь...  
День и ночь — как волны.

Вой... Войны...  
От руки моей — спокойна,  
планета, будь — и лист не упадет!

\* \* \*

Не разучилась я любить,  
рожать детей и ткать полотна,  
в утке все реже рвется нить,  
зажатая ладонью плотно.

Не разучилась я глядеть  
на мир с вниманием и верой  
и колос пальцами тереть  
(в нем спелость восковая в меру).

Не разучилась открывать  
глаза  
и гидросамолетом  
с гусями в белые болота  
брусничной тундры  
прилетать.

## Владимир СЕМЕНОВ

---

### ПЕЧАТАЛИ МОИ СТИХИ

Печатали мои стихи —  
Дежурные и проходные.  
Они бывали неплохи,  
Но я вынашивал иные.  
В тех  
Барабанный гул и треск,  
А в этих —  
Никакого грома.  
Не нужен им  
Парадный блеск,  
Мишурность речи незнакома.  
Они пришли издалека,  
Измученные  
Как солдаты,  
Судьба которых  
Нелегка,  
Шинели старые  
Помяты.  
В походах полы прожжены,  
Продрали их осколки, пули.  
В пыли пришли они  
С войны —  
И по пути  
Не отдохнули.

### БОЕВОЙ ЛИСТОК

Я редактором был  
Боевого листка  
И его неизменным  
Спецкором.  
Я солдат-храбрецов  
Прославлял на века  
И клеймил малодушных позором.

Примостясь на пеньке,  
Я с грехом пополам  
Выводил заголовки кривые.  
Хлебным мякишем  
К желтым сосновым стволам  
Прилеплял я  
Листики боевые.

Над остротой моей  
Гоготали бойцы:  
— Ого-го!..  
Не разводит турусы! —  
И смущенно топтались кругом  
Храбрецы,  
И развязно хихикали  
Трусы.

## Роман СОЛНЦЕВ

---

\* \* \*

Домой приехать, посреди двора  
колоть со звоном мерзлые дрова.  
Кузнечиками прыгают полешки!  
А на крыльце сестренка:  
— Ты полегче... —  
А на крыльце маманя:  
— Ты потише,  
побьешь все окна... —  
Жарко — не могу!

Сбрось рукавицы —  
как собаки, дышат  
они горячей пастью на снегу.  
А после чай...  
И влажная газета.  
Устало глазом трешь строку  
и трешь,  
покуда не дойдет, о чем все это,  
пока, глядишь, и вовсе не уснешь...  
И мне приснится —  
посреди двора  
кузнечиками прыгают дрова.

## Виктор УРИН

---

\* \* \*

Ты медленная нежность и усталость,  
Ты из семейства утренних берез,  
И знаешь, мне сначала показалось,  
Ты чистотой и стройностью берешь.  
Мы обо всем великодушно судим,  
Смеемся и грустим, а между тем  
Ты и себя на время даришь людям,  
Ты и других не ищешь насовсем.  
Твои друзья, мы только время тратим,  
Советуем, хотим тебе помочь,  
А ты себя раздариваешь травам  
И на рыбалке коротаешь ночь.  
И где-то там за роцей, за поселком  
Возле костра береговой дуги

Слова летят, как камушки, с прицелком.  
И как объятья — по воде круги.

Вот крупные, вот разошлись на мелочь,  
И вот обманчиво притихла гладь,  
Но ты бежишь уже, ты не умеешь  
Одно и то же дважды повторять.

Мы ищем твою стойкость во вчерашнем,  
А ты привольно в завтра унеслась,  
Где хочется задумчивым черешням  
Соперничать с рыжинкой твоих глаз.

И я одно скажу тебе в угоду:  
Как знаешь, сколько можешь разреши  
Любить тебя за честность и свободу,  
За все твои подарки от души.

## Валентин СИДОРОВ

---

**СКОЛЬКО НА СВЕТЕ СОЛНЦ?**

Сколько на свете солнц?

Одно,  
Но оно помножено  
на миллиарды человеческих глаз.

Шесть миллиардов солнц,

зеленых,  
оранжевых,  
черных,  
И еще одно.  
То, что в небе.

## Александр БАЛИН

---

### НОЧНОЙ БОМБАРДИРОВЩИК

Нас  
Рожал  
Ночной бомбардировщик  
В сорок третьем.  
Он кричал по-злomu.  
Он метался в простынях тумана, —  
В лютой боли он невзвидел света...  
Показалось солнце,  
словно рана  
На виске февральского рассвета.  
Бабки  
Повивальные спешили —  
Погремушек натащили звонких,  
Огневymi трассами прошили  
Байку туч —  
добротные пеленки.  
Больше он не мог,  
большой и шалый. —  
Горло перехватывала мука,  
И  
трещали обрывные фалы,  
Пуповиной рвались возле люка.  
Были преждевременные  
роды,  
Роды  
принудительные были, —  
Полуротой,  
целой полуротой,

В зыбках парашютов мы поплыли.  
Он кружил,  
под крылья звал как будто,  
Одинокий,  
ласковый и слабый;  
Латаный,  
дюралевый —  
в то утро  
Чувствовал себя счастливой бабой,  
Матерью...  
А первенцы летели,  
Сразу повзрослевшие,  
сражаться.  
Мальчуганы-близнецы хотели  
К фюзеляжу теплomu прижаться,  
Чтоб еще хоть миг продлилась ласка —  
Запах нитрокрaски  
и бензина...  
Пролетают  
журавлиным  
клином  
Мальчуганы  
в здоровенных касках.  
Облетают, словно одуванчики,  
Тают голубые купола...  
Первенца, отчаянного мальчика,  
Ж е н щ и н а  
сегодня родила.

## Александр ГОВОРОВ

---

### ДОЖДЬ

Льется дождик,  
дождик льется.  
Мокнут вербы  
у колодца.  
Дождик гуще,  
дождик  
пуще!  
Дождик,  
дождь  
идет!

Говорят,  
что травка гуще  
и быстрее  
растет.  
Я под дождиком  
весенним  
простою полдня...  
Может,  
вырастет быстрее  
чубчик  
у меня.

### КАРТОШКА

В костре  
картошки напекли.  
Смелей ее, сестренка,  
на!  
Бери!  
Рассыпчатую,  
с коркою,  
в руках,  
как угли, колкую.  
Смелей бери.  
И в соль мажай.  
И пополам  
раз-  
ла-  
мывай.

И половинку  
сразу в рот.  
Она вкусна,  
вкусней, чем мед.  
Дуй!  
Дуй!  
Покамест хватит сил...  
Но вот какое дело.  
Пока я речь  
произносил,  
и Вовка речь  
произносил,  
И Левка речь  
произносил, —  
она картошку съела.

## Евгений МАРКИН

---

### МОИ БОТИНКИ

Как много пройдено в апреле!  
Тайга... Привалы... Мошकारа...  
Мои ботинки постарели,  
давно их выбросить пора.  
Они потрескались от зноя,  
они попрели от росы,  
и отливают желтизною  
тупые, грубые носы.

А не вчера ли было это —  
Колонный зал,  
  прощальный бал!  
Ботинки плыли по паркету,  
и вальс гремел, не утихал.  
И рядом туфельки сверкали...  
Прощальный вальс!  
  В последний раз!

..Мы трудной доли не искали,  
она сама искала нас.  
Уходят дни.  
  Темнеют лица.

Попавший к черту на рога,  
я не тоскую о столице,  
мне просто память дорога.  
Иные нынче там пластинки  
на танцах крутят до утра.  
Иные в моде там ботинки,  
и парни бойче, чем вчера.  
Но знаю я:  
  пока в Сибири  
мы ищем руды, нефть и газ,  
на Старой площади,  
в Москве надеются  
  на нас.  
И день придет —  
я в это верю! —  
когда, вернувшись поутру,  
пройдемся мы к высокой двери  
в ботинках грубых  
  по ковру!  
И будет рапорт нами подан.  
И снимем обувь...  
А пока  
еще далек конец похода  
и путь-дорога далека.



## Борис КУЛИКОВ

---

\* \* \*

По сообщению статисти-  
стики, средний рост чело-  
века в XX веке увели-  
чился.

Люди стали  
Выше ростом  
В век двадцатый,  
Век могучий...  
Головой  
Достали звезды,  
Разорвав руками  
Тучи.

Люди стали  
Выше ростом.

Это очень много  
Значит!  
И теперь  
Не так-то просто  
Их унижить,  
Околпачить,

И теперь  
Не так-то просто  
Не заметить их,  
Обидеть...

Люди стали  
Выше ростом.  
Люди стали  
Дальше видеть!

\* \* \*

Кулак мудрее смысла здорового?  
А я скажу —  
Кулак дурак.  
И виноватого  
И правого,  
Не разбирая, бьет кулак.

Кулак сильнее смысла здорового?  
А я скажу —  
Кулак слабак.  
Не телом,  
А душою слабого  
Лишь может одолеть кулак.

Но жизнь кулак не отменила  
И подсказала мне сама:  
Быть за союз  
Ума и силы  
И против —  
Силы без ума.

## Леонид МАРТЫНОВ

---

### ТОМЛЕНИЕ

Томленье...  
Оленье томленье по лани на чистой поляне;  
Томленье деревьев, едва ли желающих пойти на поленья;  
Томленье звезды, отраженной в пруду,  
В стоячую воду отдавшей космический хвостик пыланья;

Томленье монашки, уставшей ходить на моленья против желанья;  
Томленье быков, не желающих идти на закланье;  
Томление рук, испытавших мученья оков;  
Томленье бездейственных мускулов, годных к труду;  
Томленье плода: я созрел, перезрел, упаду!

И я, утомлен от чужого томленья, иду.  
От яда чужого томленья ищу исцеленья. Найду!  
И атом томления все же предам расщепленью.  
С чужим величайшим томленьем я счеты сведу навсегда.  
Останется только мое —  
Но уж это не ваша беда!

\* \* \*

От иных домов всегда испарина,  
Аж зимой на тротуаре лужи.  
А от этого, важного как барина, —  
Антарктическая стужа.

Тихо, чинно за его колоннами, —  
Там ни моли, ни мышей, ни крыс нет,  
Только разве женщина с кулонами  
День и ночь на телефоне виснет.

И лежит на доме снег нетающий,  
Громоздится на его вершине,  
Холоден, как в доме обитающий  
Человек, подъехавший в машине.

Этого и вижу человека я.  
Он, не замечающий лифтерши,  
В лифт вступает даже с грустью некою,  
Мелкоту какую-то оттерши.

Вот и размышляю, что получится,  
Если этот человек оттает —  
Радоваться будет или мучаться?  
Ничего не ясно. Лифт взлетает.

### **ОВИДИОПОЛЬ**

Овидий,  
Я видел  
Твой маленький Овидиополь,  
Где все было тихо, лишь ветер калитками хлопал,  
С Евксинского Понта летя над лиманом днестровским.

Я знаю,  
Овидий,  
У дымных костров с кем  
Сидел ты и, тщетно стараясь усвоить нехитрую речь их,  
Печально беседовал, — с гетами в шубах овечьих.

О чем?  
О Паррасийской Деве.  
Дыханье свое ледяное  
Она и сливала с остатками зноя под этой луною  
Над этой страной, которую ты почитал за угрюмый край света.  
А мы почитаем за юг, за преддверие вечного лета,  
Считая, что зимы проходят здесь шустро, но быстро.

И, горько смеясь,  
Я твои повторяю, Овидий, напевы:  
«Я здесь, одинокий, заброшен за брег семиустого Истра,  
Попал под влияние Паррасийской Девы...»

А может быть,  
Надо с другим удареньем сказать: «Паррасийской»?  
И может быть, было в ней что-то от облика будущей девы российской,  
Одной вот из тех, что бродят сейчас над лиманом,  
И музыку мира приемником ловят карманным,  
И ловят такси на Одессу, торча у парома,  
И эта Одесса шумлива, почти что как город мечтаний твоих,  
именуемый Рома.

Но ты, у костров своих с древними гетами сидя,  
Об этом и думать не думаешь,  
Бедный мой, старый  
Овидий!

---

## Алексей СУРКОВ

### У СЛИЯНИЯ ПЕСЕН

*(Странички из дневника 1962 года)*

Накануне нынешнего Дня поэзии я непроизвольно перелистал в памяти главные вехи своей скитальческой жизни и увидел, что весь год прошел под знаком звучащего слова, под знаком слияния рек разнонациональной поэзии в могучий поток стиха, завоевывающего человеческие сердца.

*Март. Италия. Флоренция*

В средневековом сыроватом здании Палаццо Веккио, холод которого пронизал полстолетия тому назад Блока, уже несколько дней шумит многоязычный конгресс Европейского сообщества писателей. В зале заседаний и в фойе в поток певучего итальянского языка, языка наших хозяев, вливаются французский и испанский, английский и немецкий, сербский и словенский, польский и чешский, венгерский и румынский, русский и украинский — все языки, на которых говорит и пишет Европа. Конгресс обсуждает жгучие проблемы влияния на литературу новых средств общения — кино, радио, телевидения. Для стиха в повестке дня этого конгресса места не нашлось. Но, как говорил Маяковский, «поэзия — пресволочнейшая штуковина — существует, и ни в зуб ногой».

Недаром сама идея создания сообщества зародилась после 1957 года, когда в Риме, в Палаццо Браски, три дня дискутировали на жгучие темы жизни стиха итальянские и советские поэты и в чопорном старинном зале звучал стих итальянский, русский, украинский... Недаром невдалеке от Палаццо Веккио, по ту сторону древнейшего средневекового квартала, на широкой площади перед собором Санта Кроче, вырисовывается мраморный профиль Данте. Недаром сам не по-весеннему прохладный и влажный воздух Флоренции пронизан токами стиха.

И поэзия, перешагнув через повестку дня, воцаряется на целый вечер в холле гостиницы, приютившей делегатов. Переключка поэтов вспыхнула произвольно. Кто-то, кажется молодой талантливый поэт Пачеко, первый начал читать стихи... Сразу поперхнулся магнитофон. Стало тихо. Четкая дикция стиха овладела сердцами. Вслед за испанским зазвучал французский. Следом за ним, принимая эстафету латиноязычной поэзии, читали итальянцы, румыны... Уже сымпровизировалась аудитория. Кто на диванах и в креслах, а кто просто на полу, ноги калачиком. Потом читали англичане и немцы, датчане и шведы, венгерцы и сербы, чехи и хорваты... Читали и советские поэты — Андрей Вознесенский, Евгений Винокуров, Микола Бажан... Читали ветераны европейской поэзии и молодежь. Одни перед чтением пытались объяснить содержание своих стихов. Другие, а их было большинство, просто читали на родном языке, и никто не требовал перевода. И от тех, кто наиболее выразительно читал, требовали повторения, точно так, как это бывает в Колонном зале или в Политехническом. Этот неповторимый вечер еще раз показал, что поэзия существует в виде моста между прозой, мертвой без перевода, и инструментальной, бессловесной музыкой, понятной на всех языках и наречиях. После чтения были беседы и споры. И наши европейские коллеги с трудом верили нашим сообщениям о тиражах стихотворных книжек, о вечерах, собирающих тысячные аудитории любителей стиха, о стихе, достигающем при помощи радио и телевидения миллионов человеческих сердец...

Вспомнив импровизированный вечер во Флоренции, я унесся мыслью за пять лет назад, когда мы, большая группа советских поэтов, после дискуссии о поэзии во дворце Браски разговор о стихах и сами стихи перенесли во Флоренцию и Милан, в Венецию и Палермо на Сицилии; Твардовский и Прокофьев, Исаковский и Бажан, Инбер и Заболоцкий, Мартынов и Слуцкий скрещивали шпаги в дискуссии с крупными итальянскими поэтами — Унгаретти, Квазимодо, Буттита, Кодорези и другими, а потом, на совместных вечерах, читали стихи. Через год все повторилось в Москве. Была дискуссия. Был переполненный зал Большой аудитории в Политехническом музее, где шла советско-итальянская поэтическая переключка и где сицилийский крестьянин Иньяццо Буттита, напористый, выразительный, талантливый, подогреваемый овацией зала, на «бис» читал стихи на своем сицилийском диалекте, нисколько не заботясь о переводе.

*Июнь. Украина. Киев*

В культурной жизни братской Украины 1962 год прошел под знаком звучащего слова. Весной, в юбилейные дни, над Днепром вольно звучал неисторично напевный стих Тараса Шевченко. Потом приехали в гости таджикские поэты, и по городам и колхозным селам Украины зазвучали певучие, вперемежку с украинскими, стихи на языке Рудаки и Фирдоуси.

В июне Секретариат Правления Союза писателей поручил мне присутствовать на открытии в Киеве памятника Пушкину. Гордые внуки славян, чья память великого русского поэта, украсили талантливо изваянным памятником один из лучших парков своей столицы.

Когда упало полотно, скрывавшее памятник, сердцам десятков тысяч людей, пришедших на торжество открытия, прозвучали пророческие пушкинские слова:

И долго буду тем любезен я народу,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал,  
Что в мой жестокий век восславил я свободу  
И милость к падшим призывал.

Придет день. Наша Москва украсится памятником великому кобзарю. И над Москвой-рекой, над улицами и площадями столицы столиц прозвучат в исторической переключке поэтического бессмертия слова гениального шевченковского «Заповіта»:

І мене в сім'ї великій,  
В сім'ї вольній, новій,  
Не забудьте пом'янути  
Незлим тихим словом.

*Июнь. Литва. Вильнюс*

Случилось так, что чуть ли не на другой день после возвращения из Киева обстоятельства метнули меня в северо-западный угол нашей страны, в столицу Советской Литвы, древний Вильнюс. Предстояло вручение Ленинской премии за книгу «Человек» литовскому поэту Эдуардасу Межелайтису.

Стихи книги «Человек» взволновали меня упорным и настойчивым стремлением талантливого поэта-лирика поднять стих над лирической обыденностью, дать ему философскую глубину и широкий масштаб исторического мышления. Уже самим своим появлением эта книга воевала против бескрылой обыденщины, тепловатого псевдолиризма и оголтелой лирической демагогии, свойственной стихам некоторых наших современников. Поэтому я с радостью откликнулся на приглашение поехать в Вильнюс. Торжество вручения премии, которое, к сожалению, в Москве, как правило, проходит довольно скучно и трафаретно, на родине поэта превратилось в большой и яркий культурный праздник. Под сводами театра, где происходила, при переполненном зале, торжественная церемония вручения премии, в братской переключке слились голоса русских, белорусских, латышских поэтов с голосами лучших поэтов Литвы.

Праздник одного талантливого поэта произвольно вылился в интернациональный праздник советской поэзии, в котором сливались голоса ветеранов — Тихонова, Венцловы — с голосами молодых: Вознесенского, Балтакиса, а стихи переплетались в единое целое с музыкой и песней.

Были незабываемы поездки в многоозерный древний Тракай и на родину многих литовских поэтов — в Каунас поездки, полные глубокого смысла и поэтической прелести.

*Июнь. Грузия*

Я участвовал в проведении нескольких недель и декад русской литературы в братских республиках. Это хорошее и благородное дело. Сближаются литераторы, — значит, сближаются литературы. А самое главное, литература выходит на очную ставку с тысячами новых читателей, а литераторы вбирают в свою чувственную память новые города, новые села, новых людей. И конечно, в любом выезде в братские республики на литературных вечерах центр торжества, естественно, падает на поэзию.

Во второй половине июня была декада русской поэзии в Грузии. То, что связано с этой декадой, выходит за рамки обычных литературных мероприятий. Многочисленна и разнообразна по составу была группа русских поэтов — от Твардовского, Рыленкова, Долматовского до совсем молодых — Юнны Мориц и сибиряка Ильи Фоянкова. Огромна была



подготовка к декаде. Наши хозяева, грузинские поэты, вместе с нами вышедшие на массовую переключку поэзии наших народов, не только организовали в республиканской прессе широкие подборки переводов стихов русских участников декады, но и через республиканское издательство издали их тоненькие, изящно оформленные книжки стихов с портретами, с краткими биографическими справками. Эти маленькие книжечки было приятно взять в руки. И после литературных вечеров слушатели охотно раскупали эти книжки в фойе, в киосках, как бы унося прошедший вечер к себе домой, в личную библиотеку. Декада открылась в торжественном зале театра им. Руставели огромным литературным вечером, на котором, переплетаясь и сливаясь, звучали русские и грузинские стихи. Путевку участникам декады на путешествие русского стиха по городам и селам страны дал первый секретарь ЦК Грузии В. П. Мжаванадзе. Сопровождаемые своими грузинскими друзьями Леонидзе, Ираклием и Григолом Абашидзе, Иосифом Нонешвили, Симоном Чиковани, Карло Каладзе и другими известнейшими поэтами, мы, при посредстве трансляции первого вечера по радио и телевидению, побывали едва ли не в каждом грузинском доме. Потом начались поездки по столице, по городам и селам. У рабочего места на заводе, на виноградниках и чайных плантациях, у домен, мартонов Рустави и чаеобрабатывающих агрегатов, в Академии наук и в мастерских известнейших художников, в гремящих цехах трубного проката и на площадях кахетинских селений, в домах культуры и школах русская гостья — поэзия — входила в дома и сердца своих читателей, и каждый день, каждый час такого общения становился незабываемым для каждого поэта, участника декады.

Да, это было не «литературное мероприятие», а большой, радостный, полный большого политического значения, подлинно народный культурный праздник. Кавалькадой машин мы въезжали в деревни. И на площадях, осененных приветственными транспарантами, нас встречали седоусые, живописно одетые лучшие виноградари, садоводы, кукурузоводы и их звонкоголосые внуки — пионеры. Мы и наши грузинские друзья читали им свои стихи, а они пели нам свои чудесные песни так, как умеют петь только в этой стране поэтов и певцов. Они угощали нас от всего сердца щедрыми плодами своих трудов, и мы чувствовали, каким уважением пользуется хорошо и чисто звучащее слово поэзии в этой стране, подарившей миру Шота Руставели и Николоза Бараташвили, Давида Гурамишвили и Акакия Церетели.

С нами путешествовали по родной земле два кахетинца — маститый Георгий Леонидзе и Иосиф Нонешвили. И мне радостно было наблюдать на литературных вечерах, с каким теплом и гордостью колхозники и интеллигенция Кахетии выделяли своим вниманием земляков-поэтов. На память об этой незабываемой поездке в Кахетию у меня сохранился снимок, сделанный в Телави, недалеко от тех мест, где в седой древности проходил курс наук Шота Руставели.

Под огромным, просторным, как царский шатер, тысячелетним платаном сгрудились участники декады — русские и грузинские поэты и их читатели. Есть что-то символическое в этом снимке. Ведь платан этот, несомненно, мог укрывать своей сенью молодого Руставели. А нынче сень этого платана в знойный июньский день щедро одарила прохладой наследников многовековой славы зачинателя грузинской литературы и их русских друзей.

*Июль. Ярославль*

В июне мы были в гостях у грузинских поэтов. В июле русские литераторы принимали литераторов братской Туркмении. Как ярославец, я возил наших гостей к своим землякам. Была интересная поездка. Так же как мы в Грузии, наши туркменские друзья — поэты и прозаики —

знакомили ярославцев со своим творчеством, рассказывали о второй, советской, молодости туркменской литературы, знакомились с достопримечательностями (попутная экскурсия в один из трех старейших городов древней Руси — Ростов Великий), побывали на крупнейших предприятиях живущего новой жизнью советского города. Обо всем не расскажешь. Но нельзя не рассказать о своеобразном вечере туркменско-русской поэзии, который состоялся в воскресный вечер под голубым июльским небом на огромной Советской площади, вобравшей в себя вехи истории этого поволжского города за добрых девятьсот лет.

Когда я спросил, в каком же зале Ярославля будет вечер туркменской поэзии, мне хозяева безмятежно ответили, что вечер будет на Советской площади. Я не столько удивился, сколько испугался. У меня в памяти застрял случай, когда во время посещения Маяковским Ярославля в 1927 году ярославцы, к стыду нашему, не смогли даже заполнить партера театра им. Волкова и Маяковский начал свой вечер с приглашения красноармейцам, заполнявшим верхние ярусы, переместиться в партер.

Этими воспоминаниями и своими опасениями я поделился с организаторами.

— Не волнуйтесь, дорогой земляк, — сказали мне организаторы, — все течет, все изменяется. Кой в чем изменились и ваши земляки. Говоря словами Маяковского, ныне в Ярославле «понимание стихов выше доверенной нормы». Сильно выше, вот увидите!

Когда мы, немножко раньше объявленного, пришли на площадь, кучка людей, человек четыреста — пятьсот, толпилась у широкой трибуны, установленной вдоль одного из тротуаров. Для хорошего вечера под крышей это была достаточно не унижительная для поэзии аудитория. Но площадь есть площадь. И я готов был в душе обзвать своих земляков хвастунами.

Но по мере того как стрелка на циферблате приближалась к назначенному времени, со множества улиц, вливающихся в озеро площади, ширясь и густея, потянулись живые реки ярославцев, оживленных, празднично одетых, празднично настроенных.

Когда в положенный срок я подошел к микрофону, чтобы открыть вечер и представить землякам туркменских гостей, трибуну окружало плотное широкое кольцо человеческих голов. Тысячи и тысячи глаз разглядывали будущих участников вечера. И на каждое объявленное имя по живому людскому морю прокатывалась плескучая волна аплодисментов. А когда через усилители зазвучали стихи на незнакомом слушателям туркменском языке, стихи Берды Кербабаяева, Кара Сейтлиева и других гостей, перемежаемые русскими переводами и русскими стихами, на площади становилось так тихо, что было слышно, как далеко возле «стрелки» тараторит по плесу моторная лодка... Можно из вежливости к гостям слушать просто. Но так, как слушали в эти полтора часа, могли слушать только люди, любящие поэзию, уважающие певучее, звучащее слово настолько, что даже иноязычная стиховая речь не помеха.

А я стоял среди наших туркменских друзей, вспоминал, как потрясал зрительный зал волковского театра бас Маяковского, и мне до слез было жалко, что среди русских поэтов, приехавших вместе с гостями, и поэтов-ярославцев нет этого человека, всю жизнь воевавшего за большую аудиторию, прорывавшегося к микрофону радио, мечтавшего о «летучем дожде брошюр».

Все это было в нынешнем Ярославле. И огромная, замершая в обостренном внимании живая аудитория слушателей стиха, и голоса поэтов, разнесенные по волнам радио во все дома городов и избы колхозных сел, и полное отсутствие во всех книжных магазинах книжек поэта-трибуна, несмотря на астрономические тиражи изданий его поэзии.

Да, они правы были, мои земляки. Жизнь не стоит на месте.

Наши болгарские друзья решили обогатить традиционный День поэзии, по нашему примеру ежегодно проводимый в стране, приглашением зарубежных поэтов. В Советский Союз были посланы приглашения десяти-терем поэтам. Некоторые из них не смогли по домашним обстоятельствам откликнуться на приглашение, но все-таки довольно большая группа советских поэтов, и в их числе Вера Инбер, Роберт Рождественский, Борис Слуцкий, Олег Шестинский, Дмитро Павлычко, откликнулась на братское приглашение.

И вновь мне довелось присутствовать при событии, которое было немислимо еще полсотни лет тому назад в любой стране мира и немислимо ныне в любой капиталистической стране. Поэты разных народов — а кроме наших хозяев, болгар, и нас, советских, во встречах поэтов с читателями участвовали и французы, и немцы, и югославские, и румынские поэты — сливали голоса своего сердца в единый поток дружбы и поэтического братства.

Не скрою — хорошо задуманная международная дискуссия по своей новизне не очень удалась. Мешала и разница в языке на дискуссии и, в особенности, разница в языках, на которых пишут поэты, чьи стихи были предметом дискуссии. Что-то было недодумано, что-то было недоделано. Но зато полно и радостно удалось поэтическое братание на большой читательской аудитории. Точно так же как в июне было в Грузии, в братской Болгарии не только горные балканские пейзажи и голубые «марины» Черного моря напоминали мне и Олегу Шестинскому нашу июньскую поездку. Так же как за Большим Кавказским хребтом, за горными увалами Балкан мы были подхвачены мощным гольфстримом дружества и братства и, от города до города, от селения до селения влекомые этим теплым течением, платили лирикой — цветами своего сердца — за те цветы, которыми была устлана дорога поэзии от Софии до Плевена, от Плевена до Тырнова, от Тырнова до Варны, от Варны до Казанлыка и опять до Софии. Мы въезжали в города, и навстречу нам с красных транспарантов звучали слова приветов Поэзип. Мы читали стихи избранной аудитории интеллигенции, городским рабочим, виноградарям, табаководам, рыбакам. Кое-что из того, что мы читали, переводилось на болгарский язык. Кое-что понималось и принималось без перевода — ведь русский, украинский и болгарский языки так счастливо близки! Мы проехали по местам, овеванным дыханием русской воинской славы, где памятники напоминали нам о дедах и прадедах, отдавших свои жизни за освобождение братского народа. В улыбках, в потоке щедрых, добрых слов, который шумел вокруг нас и в Софии, и в древнем Плевене, и в древнейшей бывшей столице страны, непередаваемо прекрасном Тырнове, и на знаменитой Шипке, мы еще и еще убеждались в том, что болгары не забыли тех далеких лет, что они помнят незабываемую осень 1944 года, когда советские воины принесли освобождение народу от ига местных и немецких фашистов. В этой переключке поэтов, где с болгарской стороны звучали голоса Младена Исаева и Веселпна Андреева, подпольщиков и партизан, Благи Димитровой и Лиляны Стефановой, Ивана Давидкова и Божидара Божилова, возникали голоса ушедших — великого Христо Ботева и героя Николы Вапцарова. И было важно и многозначительно то, что посещение Тырнова совпало для нас с открытием памятников Петко и Пенчо Славейковым, чьи гражданские деяния и чья поэзия навсегда записаны в историю национально-освободительной борьбы болгар и историю болгарской поэзии.

Сентябрьско-октябрьская поездка советских поэтов в Болгарию еще раз напомнила о необходимости раздвинуть национальные рамки уже ставшего традиционным Дня поэзии. Это можно сделать. Это нужно сделать. Это полезно сделать.

Вечер во Дворце спорта, которым московские поэты начали День поэзии 1962 года, поразил воображение не только иностранных корреспондентов и зарубежной художественной интеллигенции. Он во многом опередил и превысил ожидания, которые возлагали на него сами организаторы в лице Московской секции поэзии.

Самое главное в этом вечере то, что без особой и специальной подготовки было быстро раскуплено четырнадцать тысяч билетов, то есть проданы все места, имеющиеся в зале. Не на балет на льду, не на состязание по хоккею. А на вечер, где поэты будут читать свои стихи. Не только были распроданы все места. Милиции пришлось в этот вечер поработать, чтобы умирить энергию и напор тех тысяч юношей и девушек, которым не досталось билетов, но которые во что бы то ни стало хотели присутствовать на этом вечере. Не очень многим удалось прорваться сквозь кордоны ограждения. Но мне кажется, что все-таки число счастливых «зайцев» явно превысило тысячу.

Московские поэты удостоили меня высокой чести вести этот большой и сложный вечер. За долгую свою жизнь в литературе я побывал на десятках вечеров и диспутов, проводившихся в свое время Маяковским, лефовцами, конструктивистами. И самому мне, будучи перед войной секретарем секции поэтов, приводилось организовывать и проводить Дни поэзии в закрытых залах, на открытых площадках парков культуры, в Зеленом театре ЦПКО им. Горького. Да и во время войны мы, поэты, группировавшиеся вокруг газет Западного фронта, проводили литературные вечера в те дни, когда немцы стояли в каких-нибудь сорока километрах от Москвы, когда город до хрипоты кричал сиренами воздушных тревог и когда слушатели наших вечеров не желали уходить в убежища и требовали продолжения чтения стихов. Да и после войны мы знали, видели, чувствовали по литературным вечерам в Политехническом, Колонном зале, зале им. Чайковского, по вечерам в рабочих дворцах культуры, по импровизированным вечерам у подножия памятника Маяковскому, как нарастает волна читательского интереса к поэзии.

И все-таки, когда я, вместе с двумя десятками моих сверстников и поэтов более молодых поколений, вышел на эстраду и взглянул на это море людское, теряющееся где-то далеко прямо, вправо и влево, как морской горизонт, сердце сжалось и радостью и, чего греха таить, тревогой.

Как провести такой вечер? Чего ждут, зачем пришли сюда эти люди? Кто они? Какой тон посчитают они уместным?

Но тревога тревогой, а дело делом. И вечер начался. Он продолжался, исключая перерыв, почти три часа. Первое отделение ушло на «раскачку», и те поэты, чьим чтением было заполнено это отделение, пострадали от медленного раскачивания этого моря человеческих сердец. Зато выиграли те, кто пошли во втором отделении. Эмоции зала раскачались, и начались вызовы на «бис», записки с заказами на стихи, записки о поэтах и стихах, записки о судьбе поэзии, записки о литературе и литераторах в более широком масштабе. Установилась атмосфера взаимного внимания и взаимного понимания. Зал аплодировал тем, от кого он чего-то ждал и дождался, и сердито фыркал, когда Ярослав Смеляков, например, принципиально попытался погладить слушателей против шерсти.

То, что я пишу, не запоздалая рецензия на вечер, а эмоциональный отклик. Не скрою, мне больше всего не понравились попытки некоторых из выступавших подладиться ко вкусам аудитории, а не вести ее за собой. И я страшно был рад тому, что больше всего «дошел» до аудитории в этот вечер Роберт Рождественский, выступивший принципиально только со стихами публицистического жанра и высокого гражданского накала.

На вечере было послано в президиум больше трехсот записок. Они были разные, как обычно бывает на поэтических вечерах. Среди них большинство записок-заказов поэтам прочитать те или иные стихи. Были записки-рецензии. Короткие. Иногда отчаянно восторженные. Иногда ехидные. Иногда колючие. Запомнилась мне записка, адресованная одному из старших поэтов, участвовавших в вечере: «Дорогой имярек! То, что вы сегодня прочли, — не лучшее из написанного вами. Вам бы прочесть ваши стихи 20-х годов да показать бы молодым, как вы писали, когда были молоды».

Записок было много. Среди них были задиристые, колючие. Но почти не было хулиганских записок, что часто бывает на литературных вечерах. И, глядя на огромное море голов молодых и уже тронутых сединой, листая записки, я отмечал, что среди них не было ни одной враждебной. Советских поэтов слушали советские люди. А господа западные журналисты голоса надорвали, утверждая, что молодежь ищет в поэзии политической оппозиции!

Публика спрашивала. И публика хотела слушать ответы на свои вопросы. Когда уже истекли все нормы внимания к стихам и председательствующий объявил о закрытии вечера и о невозможности ответить на все вопросы, многие сотни людей сгрудились около эстрады, желая сидеть хоть до утра, лишь бы удовлетворить свое литературное любопытство.

Уходя из Дворца спорта домой, усталые, радостные, мы не могли не вспомнить сказанные летом в Ярославле слова Маяковского о том, что ныне «понимание стихов выше довоенной нормы».

Куда выше!

*Москва. Август 1963 года*

Так вписался в мою жизнь 1962 год. Если вы спросили бы десятки других поэтов, они бы рассказали вам то же самое. И вы бы увидели воочию, какие обильные и радостные плоды дает урожай культурной революции накануне времени нашего вступления в коммунизм.

На днях, после ленинградской встречи романистов, после московского вечера Европейского сообщества, на котором вновь прозвучали голоса поэтов Франции и Италии, Югославии и Болгарии, Германии и Пакистана и других стран в слиянии с голосами советских поэтов, я гулял с одним моим зарубежным другом поэтом по улице Горького.

Он спросил меня, чем объясняется интерес народа к поэзии в нашей стране. Он посетовал на то, что в мире, где он живет, аудитория поэта сузилась до тесных групп рафинированных знатоков и снобов.

Я сказал моему другу, что наше счастье — культурная молодость нашего общества. Для людей, которые за сорок пять лет советской жизни обрели радость чтения книг, на их и наше счастье, не наступила гибельная для культуры и искусства старческая пресыщенность, заставляющая поэтов ударяться в формальные и психологические изыски, до предела затемнять стих и бояться как огня изображения нормальных человеческих чувств, больших общественных страстей времени. Мы прошли от проспекта Карла Маркса до Ленинградского шоссе. На нашем пути встали как хранители великой преемственности чувств три русских писателя.

Спокойно-сосредоточенный Пушкин вглядывался в глубину времен. И мой спутник вспомнил слова его «Вакхической песни»:

Да здравствуют музы, да здравствует разум!

Да здравствует солнце, да скроется тьма!



У памятника Горькому я напомнил спутнику, что этот человек на грани нынешнего столетия прокричал в окружавшую его тьму окуровской Руси сверкающие, как факел, слова:

Безумству храбрых поем мы песню!  
Безумство храбрых — вот мудрость жизни!

Между этими двумя гигантами, собравшими в своем творчестве великую взрывчатую силу своих эпох, возвышался на площади своего имени широкогрудый, стремительный, рассекающий плечом ветер эпохи Маяковский, который в самые трудные дни революции написал источающие свет и поистине неистощимое атомное тепло строки:

Светить всегда,  
светить везде,  
до дней последних донца!  
Светить —  
и никаких гвоздей!  
Вот лозунг мой —  
и солнца!

Я сказал моему спутнику, что, очевидно, все, что я ему рассказывал о нашей поэзии, о нашем читателе, о жизни стиха в человеческих сердцах, было предопределено тем, что мы переняли эстафету преемственности от этих трех гигантов, вставших знаками поэтического бессмертия на центральной магистрали столицы столиц.

— Да, вы, пожалуй, правы, — сказал мой спутник и спросил: — Что, в эти дни был какой-то пушкинский юбилей?

— Нет, а что?

— Но почему же у пьедестала памятника сложено столько букетов живых цветов?

И тут я сам вспомнил, что летом ли, весной ли, дождливой осенью или в январскую пургу у ног Пушкина не переводятся букеты цветов, ежедневно приносимые нынешними почитателями его светоносного гения...

Да, так бывает только у нас. Я был в одной из стран в усыпальнице, где похоронены два великих поэта и один политический авантюрист. Надгробья поэтов были затканы тонким слоем пыли. А гроб авантюриста украшен белыми и красными гвоздиками.

Верю, думаю, что недалеко то время, когда и в этой усыпальнице цветы переместятся туда, куда перемещает их социализм, — к подножию светлой памяти поэтических гениев.

Но это уже все рассуждения, оторвавшиеся от главной темы.

А может быть, и не очень оторвавшиеся.



## Григорий САННИКОВ

---

### О СФЕРИЧНОСТИ

До чего ж она ядрена,  
Эта форма шаровая.  
В ней от атома до солнца  
Первозданность мировая.

В ней пленительная верность,  
Верность истине искомой:

Минимальная поверхность  
Максимального объема.

Такова и емкость слова,  
Полнота его звучания.  
Наше слово вечно ново  
Широтой содержания.

## Владимир ТУРКИН

---

\* \* \*

Есть стихи — как строение,  
Все в них мудро и верно.  
Есть стихи — настроение,  
Поплавковая нервность.

Хоть и видно, что — мелко,  
А не бросишь на ветер.  
Как секундную стрелку  
С циферблата столетий.

Мне внушают, что гении  
Мыслью, быстрой как выстрелы,  
Из-под всплеска мгновений  
Извлекают нам истины.

Старики ли, мальчишки ли —  
Все в том лове участвуют.

Но в секундах не слишком ли  
Повторяемость частая?..

Убегают, текут  
В каждом выдохе-вдохе.  
Колыбелью ж секунд  
Остаются эпохи.

Не пристало поэту  
В космическом возрасте  
Измерять этот мир  
Поплавковой нервозностью.

Как секунда без века,  
Как мгновение без вечности,  
Так судьба человека  
Без судьбы человечества.

## Владимир ФЕДОРОВ

---

### СЫН ЛЕСНЯКА

Скуластый шофер  
Из Кизыла  
Шутить  
За баранкой рад:  
— По свету

Война носила,  
До Альп  
Дошагал солдат!

Там домики  
Как игрушки.  
Им тесно

Среди полян.  
Нет, Альпы  
Уже старушки.  
Куда им  
До наших Саян!

В озерах  
Вода ледяная,  
Прозрачная.  
А простор!  
Хариусы,  
Играя,  
Выпрыгивают  
Из озер.

Кедрач строевой,  
Не бросовый.

Да, вижу,  
Не знаешь ты,  
Какой он,  
Наш ключ Березовый,  
Какие в горах цветы!

Тут рядом они,  
За скалами.  
Да времени,  
Братец, нет!.. —  
Вдаль смотрит  
Глазами усталыми  
Вспоенный  
Водами талыми  
В промасленной куртке  
Поэт.

## Борис ШАХОВСКИЙ

---

### ПОЛПОЧНАЯ ОКОЛИЦА

Ах, какая луна за околицей,  
Как колдует баянная рать!  
Если сердце  
от счастья расколется,  
Я не стану его собирать.

Из его неприметных осколков,  
В очень дальний отсюда год,  
На одном из вечерних проселков,  
Может, песню мой внук соберет.

Он растянет по этому случаю  
Уцелевший от деда баян.  
И прольется  
Совсем не плакучая,  
А походная песня славян.

Сбавят ход,  
притаясь,  
пароходы.  
И услышит морской ветерок,  
Как мы шли  
через юные годы,  
Не снимая солдатских сапог.

Стыли в склепах из танковой стали,  
Знали ночи несохнувших слез —  
А в сердца  
Только песни впитали,  
Да иным их пропеть не пришлось.

Им, наверно, околица снится  
Да луна  
В полсажени от крыш...  
Замирают буксирные плицы,  
Грустно шлепая в спящую тишь.

## Спартак КУЛИКОВ

---

### СТЕПЬ

Пусть зной до одури и дрема,  
отпей глоток  
и вновь терпи:  
тут носят сапоги из грома,

рубахи —  
из цветов степи.  
Пусть в глотке пыль, и так часами,  
свою тоску  
пошли к чертям:  
тут ветры яростными псами

бегут  
за солнцем по пятам.  
Пусть дики для тебя поверья,  
пойми значенье  
древних слов:  
тут Млечный Путь — кривые перья  
разбившихся  
о высь  
орлов.

На горизонт глядишь со страхом,  
еще глоток  
тобой  
отпит.  
Кем станешь ты: творцом  
иль  
прахом,  
что прочь летит  
из-под  
копыт?

## Хулио МАТЕУ

---

### БЕЗЫМЯННЫЙ

Перестал я в списках значиться.  
Вычеркнут.  
А может, рано?  
Нет меня в списках.  
Значит, я —  
безымянный?  
По забывчивости?!  
Странно.

Нет меня в архивах пышных,  
в сочиненьях о святых.  
нет меня в числе погибших,  
нет среди живых.

Никуда меня не сбагрили,  
а при помощи чернил  
объявили, что в Испании  
никогда такой не жил.

Ну, а кто томился в камерах  
за «грехи»?  
Ну, а кто как неприкаянный  
писал стихи?

Не навек даются роли:  
я умру,  
и лжи — капут!  
Над могилой в чистом поле  
имя люди мне вернут.

По забывчивости, что ли?..  
Кем я был в моем отечестве?  
Смертным?  
Смертником?  
Может, просто так отсвечивал,  
был для мебели?

Кто же крест на мне поставил?  
Может быть, он прав?  
Может, он себя прославил,  
имя у меня отняв?

Этот крест — не деревянный.  
Этот крест — чернильный.  
Я живу.  
Я безымянный,  
но, как прежде, сильный.

Странно?  
Нет, не странно!

*Перевел с испанского  
Евгений Солонович*

## «СТО МОЛНИЙ, СТО ЧУДЕС...»

Я доволен судьбой,  
Только сердце все мечется, мечется,  
Только рук не хватает  
Обнять мне мое человечество!

Я любил Светлова, когда еще не умел читать. Он приходил ко мне, сельскому хлопчику, в краснозвездной буденовке, усатый и широкоплечий, поднимал высоко над землей и пел «Каховку».

Вернее, приходил не сам поэт Михаил Аркадьевич Светлов. Приходил мой отец, и в мире моего детства гремела нескончаемая, синяя, как украинское небо, красная, как знамя, песня. Это ее пели в санитарном эшелоне раненые красноармейцы в августе сорок первого года под Мелитополем. А раны их пеленала моя нянька, моя родная мать, Александра Михайловна, медсестра санэшелона.

И все было как в песне:

Гремела атака, и пули звенели,  
И ровно строчил пулемет...  
И девушка наша проходит в шинели,  
Горящей Каховкой идет...

Так «Каховка» входила в мою родословную. Так муза Светлова входила в биографию всей страны.

После Великой Отечественной войны я жил в портовом причерноморском городе Николаеве. В этих краях, как я потом узнал, очень часто бывал Михаил Аркадьевич. Двенадцатилетние мальчишки, чье детство опалила по самые губы война, мы были неисправимыми романтиками в самом прямом значении этого слова. И вот, собрав в узелок свои скромные пожитки, я удрал в порт. Друзья обещали устроить меня на корабль юнгой... Все, как говорится, было «на мази». Я очень сдружился с фельдшером Дмитриевым. Чернявый, задумчивый, он и впрямь походил на хлопца из светловской «Гренады». Недолго мне пришлось пожить в кубрике фельдшера. Вернулся отец из армии и забрал меня домой. Надо было учиться... Но романтика моря прочно въедалась в меня:

Атлантика любит соленого парня,  
С обветренной грудью, с кривыми ногами...

Эти стихи Светлова читал мне в своем уютном, обогретом электроплиткой кубрике Дмитриев. Задумчиво глядя в иллюминатор, где в тумане таинственно фосфоресцировала зеленая ингульская звезда, он читал и эти удивительные по силе строки:

Ночь стоит у взорванного моста,  
Конница запуталась во мгле...  
Парень, презирающий удобства,  
Умирает на сырой земле.

Теплая полтавская погода  
Стынет на запекшихся губах,  
Звезды девятнадцатого года  
Потухают в молодых глазах.

И спустя много лет, когда меня спросили: «Вы могли бы написать о Светлове?» — я решил и сказал: «Это большое наслаждение писать о поэте Светлове». Но как писать о Светлове? И тогда я решил написать о Светлове так, словно он сам сидит передо мной и слушает мою исповедь, как я полюбил одного прекрасного, очень большого поэта.



# Сергей НАРОВЧАТОВ

## ТАНЕЦ КИТА

Под крутыми небесами  
Я в плену себя сыскал  
Под началом древней саги  
Белых волн и черных скал.

Из диковинного плена  
Я в Москву к себе увез  
Летний вечер Уэллена  
С близким блеском дальних звезд.

Вечер был тот мною встречен  
По дороге в никуда.  
Был расцветен этот вечер  
В краски праздника кита.

Там тогда из бурь крылатых  
Неизведанных времен  
Появился старый Атык,  
Словно дух явился он.

Дух охоты и веселья,  
Среди нас он так возник,  
Как в пиру на новоселье  
Всех гостей заздравный крик.

Начиная песней пляску,  
Перед сотней зорких глаз  
Про кита завел он сказку  
И о нас повел рассказ.

Жесты кратки,  
Жесты четки,  
Все — в сейчас и все — в потом,  
Он в качающейся лодке,  
Он в погоне за китом.

Море пело в пенной дымке,  
За буруном шел бурун,  
По киту —  
                    по невидимке —  
Бил невидимый гарпун.

Атык вдруг полуприметный  
Поворот придал плечу,  
И подбитый кит  
Ракетой  
В цирковую взмыл свечу.

Тут ладони острым краем  
Атык линию чертит:

— Отгребаем?..

                    — Отгребаем! —  
Рядом с лодкой рухнул кит.

Возвращаемся с добычей,  
К нам спешат со всех сторон.  
Атык свято чтит обычай —  
Отдает киту поклон.

Мы, мол, злобе были чужды,  
Из нужды, мол, он убит...  
Входит кит в людские нужды,  
И людей прощает кит.

По спине прошли морозом  
Непонятные слова...  
Атык бубен бросил оземь,  
Атык пот смахнул со лба.

В этой пляске, в действе странном,  
Многозначном и простом,  
Был он сразу океаном,  
Человеком и китом.

Неуклюжий чужестранец,  
Грубый мастер ладных дел,  
Я на дивный этот танец  
С дивной завистью глядел.

Это был мгновенный отклик,  
«Гвоздь» на целых пять столбцов,  
С четким фото наших лодок  
И с портретами ловцов.

В нем имел свое значение  
Каждый жест и поворот,  
Он вставал как обобщенье  
Тысяч ловель и охот.

Но его большая тема  
Выходила за столбцы,  
И несла нас вдаль поэма,  
В незнакомые концы.

Где забытые дороги  
Нас вели к забытым снам  
И неведомые боги  
Открывали тайны нам.

И была в нем суть раскрыта,  
Путь искусства освещен  
От времен палеолита  
Вплоть до нынешних времен.

# Михаил НАЙДИЧ

---

## МОЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕКРЕТАРЬ

Дорога.  
    За дорогой рытвина.  
Нашел я быстро этот дом.  
Вот и кустарники молитвенно  
Сложили руки над плетнем.  
От стука  
Вздрогнула акация  
И сердце екнуло в груди...  
— Тебе чего?  
— Рекомендацию...  
  Напишешь, Галя?  
— Заходи.

Она смотрела как-то ласково,  
Смотрела, белая как мел  
(Не по системе Станиславского,  
Как позже  
Кое-кто смотрел).  
Нет,  
Самым искренним движением  
Отбросила густую прядь, —  
Мальчишки тянутся в сражения,  
И ей ли это не понять?  
И выводила так старательно  
(Склонялась низко голова),  
Что я идейный  
И сознательный,  
И в этом духе  
Все слова.  
Полоска солнца тускло-медная  
Лежала на ее лице.  
Как будто все...  
  И все же медлила  
Поставить точку — там, в конце.  
Вставала жизнь  
Простыми былями,  
Но не напишешь все равно,  
Что это с ней в кино ходили мы —  
При чем же, скажут, здесь кино?..

...В отделе кадров как в чистилище:  
Одно в костер,  
Другое в стол, —  
И писарь нашего училища  
Бумажку в дело подколол.  
Потом тянулся я за сильными,  
Порой глотая пыль и гарь.  
А вслед смотрел  
Глазами синими  
Мой комсомольский секретарь.

## БРАТЯ ПОЭТЫ

Было так. В 1943 году, зимой, в редакцию нашей армейской газеты «Фронтовик» пришел высокий худой солдат. Ну, это только так говорится — солдат. Не солдат, а лейтенант, офицер.

Даже ремешок планшеточки, очень узенький, пробегал через плечо. Кажется, он был в полушубке или шинели, но теперь уже много прошло времени, и нельзя наверняка сказать, в чем он был — в шинели или в полушубке.

О чем могу сказать я совершенно точно, так это о том, что через плечо была у него эта полевая сумка. И в ней кроме всего, кроме полотенца и карты, находилась тетрадка со стихами. Стихи, записанные выразительным, размашистым почерком, запомнились мне как-то больше.

Я и сам был лейтенантом, и сам едва-едва написал первые стихи и в армейской газете был человеком временным, попав в нее из офицерского резерва армии. Я был танкист, а в армии этой, когда я в нее прибыл, не оказалось танковой части — потому-то и было решено на время послать меня в газету.

Фамилия офицера, с которым я познакомился, была Лисин или Лесин. Стихи же у него — назывались они «Ночной привал» — были такие:

Лес будто дремлет в синем дыме.  
Дневным походом утомлен,  
Спит под дубами вековыми  
Пришедший с марша батальон...

А может быть, не спят ребята?  
Ведь завтра — в бой. Темно вдали.  
И грезятся сквозь сон им хаты,  
Родной отцовский край земли.

Там сорванцами озорными  
Они учились воевать,  
Там вырастали — и большими  
Всерьез их начинали звать.

И вот теперь они — солдаты.  
И не в игре далекой той,  
А в жизни... Грезятся им хаты  
И тишь дороги полевой.

Лейтенант ушел, а стихи эти — и другие еще — были напечатаны. Но на этом не кончается, как во многих случаях бывало, наше знакомство, не кончается на этом и мой рассказ о фронтовике, написавшем в сумятице войны свои первые стихи. Потому только, что на этот раз в редакцию вошел не просто солдат, у которого написались стихи, а вошел поэт.

В течение полутора лет мы встречаемся, встречаемся всегда нечаянно и всегда неожиданно на тех же фронтовых дорогах. Где-нибудь, где и вдвоем невозможно разойтись, на тропе, меж торчащих из-под снега труб. Это значит, что дивизии наши — опять рядом. И кому же встречаться здесь, на фронтовых перепутьях, как не нам, не дивизионным корреспондентам! Один из нас шел на передний край, другой возвращался в редакцию. Даже со стороны легко это было определить: тот, кто лишь шел туда, был в новом белоснежном маскировочном халате. А кто возвра-

щался — на том маскхалат был в глине и местами прожжен. Грязный на белом снегу.

Были у нас еще встречи. . . Один раз Александр пришел ко мне в тот день и час, когда я получил письмо. Меня к тому времени уже перевели в дивизионную газету. Мы только встретились, как принесли почту. Письмо, извещающее меня, что отец мой погиб в бою. Отец у меня был тоже на фронте. . . Мы сидели на крыле машины, и мой новый друг пытался меня успокоить.

Нам частенько приходилось туго, обоим нам было нелегко: от непрерывного мотания по подразделениям и от необходимости и обязанности писать все — статьи, очерки, заметки, стихи. Даже для отдела юмора. . . Если и никакой склонности к юмору у тебя не было.

Другу моему пришлось еще тяжелее, чем мне: до того, как оказаться в редакции, он был бойцом в стрелковой роте, был под началом у старшин.

Так жили мы. . . Помню, ему удалось съездить в Москву, отвезти свои стихи, и они скоро появились в журналах и в сборнике. Я получил тогда из Москвы от него письмо, где говорилось о длинноволосых и роговоочкастых, о мальчишках, которые мало что видели, не воевали, но уже энергично толкались в редакциях.

Получил я письмо это на речушке Айвиексте — в Латвии, на другой день боя за плацдарм.

Наши дивизии опять были рядом. Вспоминаю одно Сашино стихотворение того же времени, которое я люблю с тех пор:

Побриться, сапоги почистить  
И лечь поближе к соловью.  
На свете много разных истин,  
Но каждый бережет свою.

Я дорожу одним секретом:  
Кто любит слушать соловья,  
Тот наделен особым светом,  
Живет, певучесть затая. . .

Нас отвели не на недели,  
На сутки лишь, и потому —  
Прислушиваюсь к чистой трели,  
Как будто к сердцу своему.

И наконец мы стоим под аркой Бранденбургских ворот и, так как знаем, что нам скоро расставаться, записываем адреса друг друга. Но ни у того и ни у другого будущих надежных адресов нет. Нам еще предстоит определить, найти для себя местожительство.

Но еще днем раньше мы встретились неожиданно на рейхстаге. На узкой, прогибающейся, обветшавшей лесенке, ведущей на крышу рейхстага. Один спускался вниз, другой поднимался. . . Так, как встречались мы там, на снежных на тех полях.

А еще через год мы встретились в Крыму. Просто там было теплее. Оба приехали туда на трудное послевоенное новоселье. Приехали туда мы вовсе еще юными, задиристыми.

Недавно у Лесина вышла книжка. Названа она — «Беспокойство». Это ему идет! Все свои книжки он стремится называть так вот экспрессивно и всегда сопротивлялся советам тех друзей, которые пытались приучить его к словам спокойным, уравновешенным.

Все это — жизнь, цельный характер человека, большие дороги поколения — и есть существо поэзии А. Лесина.

# Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

---

## МАЯКОВСКИЙ В ПАРИЖЕ

*Уличному художнику*

Лили Брик на мосту лежит,  
разутюженная машинами,  
под подошвами, под резинами,  
как монетка, значок блестит!

Пешеходы кидают мзду.  
И, как рана,  
Маяковский, щемяще ранний,  
как игральная карта в рамке,  
намалеван на том мосту.

Каково вам, поэт с любимой?  
Это надо ж — тряхнуть судьбой,  
чтобы ликом,  
как Хиросимой,  
отпечататься в мостовой!

По груди вашей толпы торопятся,  
Сена плещется под спиной,  
и как божья коровка автобусик  
мчит, щекочущий и смешной.

Как волнение вас охватывает!  
Мост парит,  
ночью в поры свои асфальтовые  
как сирень впитавши Париж...

Гений. Мот. Футурист с морковкой.  
Льнул к мостам. Был полпред Земли.  
Никто не пришел  
на вашу выставку,  
Маяковский?  
Мы бы — пришли.

Вы бы что-нибудь почитали,  
Как фатально вас не хватает!

О, свинцовую пломбочкой ночью  
опечатанные уста...  
Разве флейта ваш позвоночник? —  
алюминиевый лед моста!

Маяковский, вы схожи с мостом,  
надо временем,  
как гимнаст,  
башмаками касаетесь РОСТА,  
а ладонями —  
нас.

Ваша площадь мосту подобна,  
как машины из-под моста,  
Маяковскому —  
под ноги  
Маяковская Москва!

Вам орут стадионов тысячи.  
Как вам думается?  
Как дышится?  
Маяковский, товарищ Мост?..

Мост. Париж. Ожидаем звезд.

Притаился закат внизу,  
полоснувши по небосводу  
красным  
следом  
от самолета,  
точно бритвою по лицу!

## ЛАТЫШСКАЯ САГА

### I

Уходят парни от невест.

Невесть зачем из отчих мест  
3 дурака бегут на Запад.  
Их кто-то выдает. Их цапают.  
41-й год. Привет!  
«Суд идет!» — 10 лет.

## II

«Возлюбленный!

когда ж вернешься?

Четыре тыщи дней — как ноша,

четыре тысячи ночей

не побывала я ничьей,

соседским детям — десять лет,

прошла война, тебя все нет,

четыре тыщи солнц скатилось,

как ты там мучаешься, милый?

живой ли ты и невредимый?

предела нету для любимой —

ополоумевши любя,

я, Рута, выдала тебя,

из тюрем приходят иногда —

из заграницы — никогда...»

## III

Он бьет ее, с утра напившись.

Свистит его костыль над пирсом.

О вопли женщины седой:

«Любимый мой! Любимый мой!»

## УРОКИ ПОЛЬСКОГО

«Урода» — значит «красота».

Как просто!

Пускай осталась от костра

короста,

пускай ваш друг устал, обрюзг,

глаза — как ставни,

но чем потрепанней бурдюк,

тем пить — хрустальней!

А ты вульгарна, как весна,

ресниц огарочки потухли,

вишневые, как ветчина,

на белом каучуке туфли,

но сколько синей тишины

в тебе под вечер,

как нематериальны сны,

как подвенечны,

и так серебряны глаза

на фиолетовом —

как сохраняется, дрожа,

в футляре флейта!

А у старух лиловый взгляд

над огородами.

«У, дрянь, — старухи говорят, —

Урода...»



# Вероника ТУШНОВА

## МЕЛЬНИЦА

Стоит в сугробах мельница,  
ничто на ней не метется,  
четыре с лишним месяца  
свистит над ней метелица...  
От ветра сосны клонятся,  
от снега ветви ломаются,  
спит омут запорошенный,  
под коркой ледяной,  
на мельнице заброшенной  
зимует Водяной.  
До самой этой мельницы  
два лыжных следа стелются,  
у самой этой мельницы  
дорога на две делится:  
ты идешь направо,  
я иду налево,  
никогда обратно  
не вернусь, наверно.  
А зима-то кончится,  
капелью лед источится,  
весна польется балками,  
распустится фиалками,  
заблещет омут под луной,  
спросонья крикнет Водяной,  
от счастья ошалевшие,  
опять запляшут лешие,  
и светляки засветятся,  
и жернова завертятся,  
и соловьи рассыпятся,  
по чащам зазвения...  
.. Да ты-то к речке выйдешь ли?  
Услышишь ли, увидишь ли  
все это без меня?

\* \* \*

Не охладела, нет, —  
скрываю грусть.  
Не разлюбила, —  
просто прячу ревность.  
Не огорчайся,  
скоро я вернусь.  
Не беспокойся,  
никуда не денусь.  
Не осуждай меня,  
не прекословь,  
не спорь  
в своем ребячестве

жестоком...  
Я для тебя же  
берегу любовь,  
чтоб насмерть не изранил  
ненароком.

## ДВОЕ И ЯБЛОКО

Все яблоки сняли,  
а его не заметили,  
не разглядели, видно,  
сквозь ветви.  
Осталось висеть оно одинокое,  
иззябшее,  
мокрое,  
розовобокое.  
Наверно, яблоку было грустно,  
думалось яблоку:  
«Я ведь вкусное,  
отчего же меня обошли, забросили,  
оставили здесь  
на немилость осени?»

Но однажды,  
на мгlistом седом рассвете,  
человек раздвинул ржавые ветви,  
и засмеялся находке счастливой,  
и сорвал рукою неторопливой  
из тысячи тысяч  
самое лучшее...

Он принес его в дом,  
в тепло и беззвучие,  
положил на подушку — от влаги  
блестящее,  
и сквозь сон улыбнулась  
женщина спящая.  
За яблоком потянулась рукою,  
прижалась к нему горячей щекою,  
и пахнула в лицо ей осень сырая  
первым и вечным  
дыханьем рая.

Он окно притворил, спросил:  
— Не озябла ты? —  
А за окном орали вороны,  
дождь шуршал, воробьи верещали...  
И было все, как в самом начале,  
было все, как во время оно:  
двое и яблоко.

## Владимир ЛУГОВОЙ

---

\* \* \*

Я сочинил эту сказку в тундре.  
Я писал ее в блокноте  
на самой дальней буровой.  
А ветер был такой,  
что даже электрические лампочки тухли  
этой ночью, лохматой как баба-яга, буревой.

Вышка простаивала.  
Но геофизику было надо  
немедленно разобраться с последним керном,  
и поэтому  
на вышку отправились я и коллектор Надя.  
Мы вышли на лыжах  
одновременно  
с поднимающимся над сопками ветром.

Какая была Надя?  
Надя была маленькая-маленькая.  
Но на лыжах она становилась втрое больше,  
потому что на ней были пимы  
и была малица.  
Она мне говорила: «Будет пурга, ты  
не бойся!»

Мы с трудом дошли.  
Мы растопили железную печку.  
И Надя сказала:  
«Ты молчишь,  
а сам что-то знаешь!»  
«Ничего, — я ответил, —  
ты спой лучше какую-нибудь песню.  
Просто одна моя знакомая выходит замуж».

## Татьяна КУЗОВЛЕВА

---

\* \* \*

Война мне привилась, как оспа,  
нам было поровну годов,  
и белый госпиталь отцовский  
был продолжением боев.

Меня водили по палатам  
в халате длинном, ниже пят,  
и улыбалась я солдатам,  
и рисовала им парад,  
и как я радовалась искренне,  
когда на крошечном листе  
пылала свастика фашистская,  
а сверху — летчик наш летел.

Тот самый, сильно обгоревший,  
но не сгоревший до конца,  
что был затянут, как орешек,  
в бинты до самого лица.

Он улыбался мне глазами,  
и, околдованная им,  
тащила я худого зайца  
и молча клала рядом с ним.

Подарок был не очень царственным,  
но он увез его туда,  
где шла война, где шла гражданственность  
спасать чужие города.

С далеких пор на шумных митингах,  
плечами чувствуя весь зал,  
пою — последний и решительный,  
пою «Интернационал».

Меня захлестывает гордость,  
и перехватывает дух,  
как будто, вскинув подбородок,  
на поединок я иду.

Лицом к лицу сошлись две силы,  
два уверенья в правоте.  
Встань за спиной моей, Россия,  
в своей рассветной чистоте.

Пусть снова небо разрывает  
твой флаг, неколебим и ал.  
Двух правд на свете не бывает,  
а есть  
«Интернационал»!

## НЕГАСИМЫЕ КОСТРЫ

Поэзия и народ возвышаются вместе. Это старая истина, но в применении к советской поэзии и к советскому народу она звучит по-новому убедительно и молодо.

Пришла пора, когда можно говорить не только о росте, а о высоком взлете нашей поэзии, широко расправившей молодые крылья. Поэзия становится насущным хлебом человеческой души. Интерес к ней огромен.

Не пресыщенные снобы, а люди, чей труд украшает и преобразует землю, являются подлинными любителями и ценителями поэзии. Для них зажигает она свои негасимые костры.

В походных сумках геологов, в рюкзаках целинников и строителей новых городов среди необходимейших вещей бережно хранятся томики стихов.

Их несут на усталых плечах по таежным тропам, их читают в холодные ночи в брезентовых палатках, в кузове автомашин, на строительстве во время короткого часа обеденного перерыва и даже в забое при скудном свете шахтерской лампочки.

Я видела, как мастер магнитогорского доменного цеха Константин Хабаров в свободную минуту, когда печь дышала ровно, доставал из нагрудного кармана сборник стихов В. Маяковского и читал своим друзьям по огневой профессии. Обернутая плотной серой бумагой, книга была словно в спечовке. Как на рабочей куртке, на ней виднелись следы графита и масел.

Это была работающая книга, подруга и помощница металлургов...

Челябинский поэт Валентин Сорокин, двенадцать лет проработавший машинистом подъемного крана в сталеплавильном цехе металлургического завода, показывал мне «заводской экземпляр» сборника избранной лирики Александра Твардовского. Сборник был как бы «прописан» в цехе: молодой рабочий не расставался с ним ни на один день. Как только выдавалась свободная минута, он читал и перечитывал любимые стихи, делился с друзьями счастливыми открытиями:

— Вы послушайте, как здорово сказано!

Помню, на строительстве Братской ГЭС я разговорилась с водителем самосвала — хмуробровым синеглазым парнем, который наизусть знал многие стихи Ярослава Смелякова.

В Баку, в клубе нефтяников, меня спрашивали о Борисе Ручьеве. Что он написал нового? Почему нет в продаже его книг?

Для меня любители поэзии — не отвлеченное нечто. Это живые, конкретные люди. Многих из них — инженеров и агрономов, рабочих и колхозников, ученых и студентов — я знаю поименно.

Различны их вкусы и литературные привязанности, но в одном они все — без исключений! — сходятся. Все они ищут в поэзии глубины мыслей и чувств, высоких идей, правдивости, человечности, красоты и гармоничности поэтических образов, — когда форма есть не что иное, как выражение содержания!

Любима и почитаема в народе поэзия борьбы и подвига, гражданского долга и любви к родине...

Литературное объединение Челябинского тракторного завода провело недавно интересный разговор о поэзии.

Говоря о путях, по которым поэзия приходит к людям, многие из участников этого разговора-дискуссии отмечали особую роль газет и журналов.

Поэтические сборники издаются, как правило, небольшими тиражами, в продаже и в библиотеках их недостаточно. А газеты читает каждый.

— Когда я развертываю свежий номер газеты, — говорит строитель-каменщик Василий Уланов, — то после официальных сообщений прежде всего читаю стихи.

Эту мысль развил в своем выступлении слесарь Николай Орлов:

— Нашему знакомству с поэзией помогают газеты, радио и телевидение.

Сколько у нас в цехе было споров после телепередачи о Пушкине! Даже те рабочие, которые со школьной скамьи Пушкина не брали в руки, потянулись к его стихам и поэмам...

Горячий пропагандист поэзии конструктор Виктор Чечев предложил наладить продажу поэтических сборников непосредственно в цехах.

— В книжные магазины не все ходят. У многих наших ребят туго со временем: днем на работе, вечером в школе, в техникуме, в институте. Если же организовать продажу книг в цехах, хотя бы только в дни полудня, то каждый с удовольствием купит книгу любимого поэта...

Кстати о любимых поэтах.

Слесарь Анатолий Марков достал из кармана вырезанное из газеты стихотворение Роберта Рождественского «Ответ на записку из зала».

— Можно, я прочту? — спросил он присутствующих и, получив согласие, с чувством прочел это стихотворение.

Маркову нравятся также стихи Николая Грибачева, особенно его «Нет, мальчики».

О том, какое место в его жизни занимает поэзия, горячо сказал заместитель начальника цеха коммунистического труда Николай Чудинов:

— Сергей Есенин научил меня любить и понимать родную природу. Владимир Маяковский раскрыл передо мной громаду новых мыслей и чувств. Это мои любимейшие поэты! К поэзии, — продолжал он, — сейчас небывалая тяга. Но до широкого многомиллионного читателя доходят главным образом стихи, публикуемые в периодической прессе. Хорошо бы сопровождать стихи малоизвестных авторов краткими биографическими справками и портретами. Для первого знакомства с читателями это важно!

Библиотекарь заводской библиотеки И. В. Вещинская говорила о «ножницах» между спросом на стихи и тиражами поэтических сборников. Как правило, библиотека получает не более трех экземпляров. Один экземпляр — в читальный зал, а два — на абонемент. Таким образом, любители поэзии оказываются «на голодном пайке».

... Каждое новое поколение заново открывает для себя мир поэзии и выбирает любимых поэтов.

Но выбор этот нередко бывает затруднен шумихой вокруг «модных имен», путаницей в критических оценках.

Студентка Челябинского политехнического института Галя Н. поделилась со мной своими раздумьями:

— В школе мы изучали в основном классическую литературу. А сколько, оказывается, замечательных поэтов, которых я «открыла» уже после школы! Совсем недавно прочла баллады Тихонова и «Думу про Опанаса» Багрицкого. Замечательные произведения! В технических институтах обязательно надо организовать для желающих университеты культуры, где можно было бы прослушать курс советской поэзии или, например, живописи. Хорошо бы организовать клуб любителей литературы. Ведь это так важно, так необходимо!

Об этом думают и говорят сейчас многие. Есть уже и первые практические шаги. Литературное объединение Челябинского тракторного завода приступило к организации клуба любителей поэзии и поэтической ежедневной пятиминутки по заводскому радио.

## Николай УШАКОВ

---

### УДАР

Жалею футболиста-старика, —  
его в колясочке везут в ворота...  
А вот у нас — на долгие века,  
не на года — отличная работа.  
Если хотите,  
я забью с угла,  
а то через моря,  
если хотите:  
прицел мой будет точен, как игла,  
за ней потянутся сказаний нити.  
Желаете,  
такую дам свечу —  
в каналах Марса крепкий мяч найдется,  
между кроваток мячик прокачу,

и в детских яслях няня улыбнется.  
Не заломлю травинки и цветка —  
не беспокойся,  
стебелек зеленый!  
Где сыщешь футболиста-старика,  
которому б не снились стадионы...  
Мне шестьдесят,  
мне шестьдесят плюс  
три,  
но, если мир стоит перед обидой, —  
гори, душа,  
пожалуйста, гори,  
жги и сияй,  
не промахнись,  
не выдай!

## Владимир ФАЙНБЕРГ

---

### НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Это было  
не осенью, не зимой,  
угол  
улицы Горького и Лесной.  
То ли падал дождь,  
то ли капал снег.  
Прощался со мной человек.  
Да,  
мой собеседник  
уселся в «Победу»,  
он очень спешил,  
занят делом своим.  
Он сказал:  
— Я слетаю на полюс,  
а в среду  
позвоните в полпятого,  
договорим.

\* \* \*

На курс  
ложится самолет,  
пересекаем реку.  
Я вниз гляжу —  
земля плывет,  
не видно человека.  
Лишь пароходы морщат гладь  
да поезд паром пышет.  
А человека  
не видать,  
не виден и не слышен.  
Под озимь вспахана земля,  
холмы краснеют грустно,  
покачиваются поля  
с неубранной капустой.  
Там  
первые зажглись огни,  
там отдых возле окон.  
И люди —  
слушают они  
наш дальний ровный рокот...

## ЗИМНИЙ ШТОРМ

Море зимнее.  
                                Солнце свежее.  
И —  
        во всю длину побережья  
шторм!  
И ничто:  
        ни фотографов ахи и охи,  
        ни пловцы-удальцы,  
        ни поэты эпохи —  
не смущает его —  
                                не сезон.  
Накренившийся горизонт  
шлет на зимнюю землю озон.  
Дно морское

стреляет  
камнями морскими.  
Шторм оглох.  
Он забыл свое гулкое имя.  
Забывают бояться  
и спят  
все приморские дети.  
Только вздрагивают  
в рыбколхозах  
бывалые сети.  
Три недели  
стоит тишина  
                                небывалого грома —  
шторм пришел,  
        он у зимнего моря  
                                как дома!

## Геннадий ШМАНЬ

---

### ХЛЕБ НА ГАЗЕТЕ

Едят трактористы,  
Аппетиту позавидуешь...  
Не на скатерти хлеб —  
                                на газете.  
Хлеб обыкновенный с виду,  
Благороднейший  
                                во всем свете.  
Все к нему ласковы...  
Вынув из печи,  
Хлеб,  
        как детей,  
                                ладошками хлопают.  
Хлеб, окатив водой из речки,

Женщины в поле  
                                несут тропами.  
И тут,  
        на газете его разрезав,  
Едят трактористы угрюмые...  
И руки в мазуте,  
                                в земле,  
  в железе,  
А в голове  
О хлебе думы...  
И видишь,  
                                что хлеб в деревне вкуснее,  
И видишь,  
                                что хлеб в деревне труднее.

## Валентин ВОЛОГДИН

---

### ЛЕТЯЩЕЙ СРЕДИ ЗВЕЗД

И снова степь. Великая, без края,  
Под куполом глубокой синевы.  
Прощайся, каждой клеточкой вбирая  
Дурманящие запахи травы.

Тобою мир сегодня осчастливлен:  
Судьба твоя светла и высока —  
Не серою кукушкой во Путивле,  
А Чайкою летишь за облака.

Взволнованно гремят секунды мерные,  
Торжественно сходящие на нет,

В своей кабине — лучшая и первая  
Перед лицом неведомых планет.

Подъем!!!  
Ракета в жарком полыхании  
Уходит ввысь, ликуя и трубя.  
И у друзей срывается дыхание  
От радостной тревоги за тебя.

Потом, потом тебя мы будем сравнивать  
Со всеми героинями веков:

Пока для нас заветное и главное —  
Твой голос из-за дальних облаков.

А ты уже растаяла в зените,  
И косо проплывают полюса...  
Но тонкие бесчисленные нити  
Протянуты к ушедшей в небеса:

Неслыханною славою увенчана,  
И сверстницы завидую судьбе...

Далекая, родная наша Женщина,  
Спокойного дыхания тебе!

## Владимир ФИРСОВ

---

### ТЕТЯ ПОЛЯ

Сколько помню тебя,  
Ты такая же маленькая,  
В телогрейке,  
На которую мода  
Не скоро пройдет...  
Тетя Поля,  
Давай посидим на скамейке,  
Которую я смастерил  
В позапрошлом году.  
Расскажи мне о жизни,  
О дорогах,  
Что стали морщинами  
И недвижно застыли  
У тебя на лице.  
Тетя Поля, родная!  
Глаза твои стали похожи  
На озера,  
В которых давно не бурлят родники.  
И озера тускнеют, мелеют и гаснут...  
Ты не прячь свои руки,  
Тяжелые нежные руки.  
Эти руки ласкали детей,  
Обнимали детей,  
На фронты провожая.  
Эти руки растили хлеба  
И сжигали хлеба,  
Чтоб врагу ничего не досталось.  
Тетя Поля, родная!  
Скольких ты сыновей,  
Дочерей сохранила —  
Поди сосчитай!  
Скольких вывела в люди?..  
Подросли — разлетелись, **соловухи**,

Кто — на стройках в Сибири,  
Кто в Смоленске — на фабрике ткацкой,  
Кто — на шахтах в Сафоново.  
Тетя Поля, расскажи мне о жизни...  
Впрочем, нет! Не рассказывай,  
Лучше давай помолчим.  
Поглядим на закат,  
На дорогу,  
По которой возвращается стадо.  
Вот сейчас ты уйдешь,  
Подойшь корову,  
В печку дров напасешь  
И не скоро уснешь,  
Чтоб с рассветом,  
Когда я пойду на рыбалку,  
Встать  
И печь истопить,  
Накормить ребятишек, —  
Им ведь в школу за семь километров...  
Тетя Поля, родная!  
Твои добрые, нежные руки  
Кормят всех,  
Кто на шахтах,  
На фабриках ткацких,  
На стройках в Сибири, —  
Кормят даже поэтов,  
Которые к этим рукам равнодушны,  
Тех поэтов,  
Что пишут стихи  
О гитарных бульварах  
И о последних троллейбусах,  
Подбирающих мальчиков с улиц  
пустынных,  
Тетя Поля, родная... прости!



## ОСЕННЕЕ УТРО

Дрозды пестрели на рябине,  
Клевали спелую зарю.  
И листья по реке рябили,  
Плывя навстречу сентябрю.  
Пылали вязы и осины,  
Когда

Сквозь полмя огня  
Голубоглазая Россия  
Глядела с грустью на меня.  
И сердце билось глуше, тише,  
Прозя проценка у земли,  
Что я не видел  
И не слышал,  
Как улетели журавли.

## Павел ДРУЖИНИН

---

### СНЫ

Мне иногда, как в детстве, снится,  
Что я все делаю легко,  
Что я летаю словно птица,  
Раскинув руки широко.

И где я, где я не летаю,  
Где не витаю, не парю,  
О чем я только не мечтаю,  
Каких я песен не пою!

Я высоко парю над бездной,  
Над тьмою страшной и густой,  
А надо мною мир чудесный  
Сияет вечной красотой.

И, утомленный, от бессилья  
Я падать в бездну не хочу,  
Я продолжаю верить в крылья  
И все лечу, лечу, лечу.

### МОДА

Раньше девки наши  
Величались просто:  
Варька, Марька, Машка,  
Дунька, Грунька, Проска.  
Ни штанов, ни шапок  
Девки не носили,  
В сарафанах, в шалях  
Только и форсили.  
Нынче ж девки очень,  
Очень модны стали,  
Все мамы дочек  
Кличут Галей, Валец...  
А уж кое-где вот  
Матушки законно  
Именуют девок  
Монной и Мадонной.  
Ходят все девчужки  
В модных одеяньях,  
Ни тебе Феклушки,  
Ни тебе Маланьи.

Вот и на танцульке  
Их мелькают ножки, —  
Ни одной Акульки,  
Ни одной Матрешки!  
Недовольны бабки,  
Что их Гали-внучки  
Носят башни-шапки  
И мальчишки брючки.  
Но что можно сделать,  
Коль у девок — мода...  
А ведь нет же девок  
В семьдесят два года!

### И СМЕХ И СЛЕЗЫ

Труд хороший, дни погожие,  
Размышленья без томления, —  
Любят люди все хорошее —  
Встречи, речи, танцы, пение.

Хороши смешки и хаханьки!  
Только жизнь не так ровнехонька,  
В жизни есть везде и аханьки,  
Часто слышатся и оханьки.

Налетает горе-горюшко  
Неожиданно, непрошено  
И туманит в светлой горенке  
Все живое, все хорошее.

Как же нам терпеть уныния,  
Ахи, охи разнесчастные,  
Ведь над нами небо синее,  
Солнце, месяц, звезды ясные!

Мы и смехом обеспечены.  
Пусть душа червем не точится:  
Ранним утром, днем и вечером  
Смейся каждый сколько хочется.

И все это, в общем, правильно,  
Смехом люди даже лечатся.  
Помогает это правило  
Расправляться с разной нечистью.

Смех от грусти средство лучшее,  
Средство верное, давнишнее.  
А в иных житейских случаях  
И слеза порой не лишняя.

Со слезой такой и радость к нам  
В сердце чуткое врывается,  
Потому смеяться надо нам,  
Но и плакать полагается!

## Николай ФЛЕРОВ

---

### СЛОВО О СОВРЕМЕННОСТИ

Не понимая полной ценности  
Того, что жизнь нам вся дала,  
Гудит мне сноб о современности,  
Закусывая удила:

Мол, это что за траектория —  
От дней Октябрьских и до нас?  
Дай современность. А история —  
Да мы ее творим сейчас...

Что скажешь барду самомнения?  
Ему полвека — трын-трава.  
Мне ненавистен от рождения  
Такой «не помнящий родства».

И я исток движенья быстрого  
Ищу лишь только потому,  
Что без авроровского выстрела  
Я современность не приму.

Она была бы обесценена,  
Явилась будто как-то вдруг,  
Когда б не видели мы Ленина  
Во всем, что видим мы вокруг.

Не помнили бы, как мальчишками  
Шли в пятилетние бои

И лучшими считали книжками  
Тогда «ударные» свои.

И не затмить наш пыл воинственный  
Тем, что в черед и не в черед  
Крестили именем единственным  
Любой почин, успех, поход.

И не накинуться с уловками,  
Что наш герой в бою, в дыму, —  
Да, и без тех, кто шел с винтовками,  
Я современность не приму.

Могилы павших не безмолвствуют,  
И раны ратных лет болят,  
И на границах вахты бодрствуют,  
И мир в боях был нами взят.

Один в нас дух — кто пал, кто выстоял,  
Фундамент клал и поднял трал,  
Брал целину и реки приступом,  
И Зимний брал, и космос брал.

Полвека между теми датами,  
Но на геройские дела  
И пахарями, и солдатами,  
И космонавтами крылатыми  
Одна нас партия вела,



## СОЛНЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ ПОЭТА

Я уже не помню, где и когда впервые прочел или услышал стихи Бориса Ручьева о соловьях... Да это и не столь важно. Важнее другое — я навсегда их запомнил и полюбил поэта.

«Состоя всю жизнь рабочим огневого ремесла», паренек, желая подруге «от разлуки бед не ведать», просит ее:

Привези ты мне в подарок —  
сок вишневый на губах,  
дорогие шаровары,  
пару вышитых рубах.  
А еще, за-ради жизни,  
привези ты мне живьем  
черноглазых, темно-сизых  
соловьишу с соловьем...  
Зоопарку — не отдам,  
на базаре — не продам,  
раздарю я птичьи стаи  
по окрестным городкам.  
И засвищут, сна не зная,  
вплоть до утренней поры  
соловьиши — с Таганая,  
соловьи — с Магнит-горы...

Оставляю эти стихи без комментариев. Они, по-моему, не нуждаются в них. Ибо это поэзия, и поэзия ручьевская. Эта поэзия всей своей социальной и художественной сутью входит в незапятнанную судьбу советского народа, ярко отражает дыхание героического времени.

К подножию горы Магнитной привела поэта безграничная романтика первых пятилеток. И поставила в строй созидателей нового мира паренька, который позже писал о себе: «Я по роду-племени крестьянин, кдней пас по троицким степям». В Магнитке он плотничал, был бетонщиком, а затем — сотрудником газеты.

Я знаю завод с котлована, с палатки,  
с чуть видимой дымки над каждой трубой,  
здесь каждый участок рабочей площадки  
сроднился с моей невеликой судьбой...

Это стихи о себе и о многих других, пришедших на Магнитку. Дорожа доверием рядом стоящих, поэт с гордостью обращается к своим друзьям:

Я верности вечной не выучен клясться,  
не скажешь словами, как сердце поет.  
Я вижу: вы — юность железного класса,  
с которой отныне пойду я вперед.

Борис Ручьев остался и поныне верен своему клятвенному слову. Он живет в самой гуще рабочего класса, воспевает, любит его и получает ответную любовь.

Ручьева гнула недобрая судьба, он немало хлебнул бед на своем веку, он знает, «почем фунт лиха».

Как же ты такие годы прожил,  
столько гор и речек пересек,  
на героев вовсе не похожий,  
очень невеликий человек? ..

Но жизнь не уводила этого «невеликого человека» от «великих трудов и утрат» родины, он делил с ней порой непосильные тяжести, вынося их «на собственном горбу»:

У края Родины, в безвестье,  
живя по-воински, в строю,  
мы признавали делом чести  
работу черную свою.

Видно, так скроен настоящий человек, что чем он больше испытал в жизни, тем зорче, точнее и шире видит окружающий мир, сильнее его любит и дорожит им.

В 1937 году по злому навету врагов Б. Ручьев был сослан на дальний Север, оклеветанный, пробыл там двадцать лет. Попав в среду действительных преступников, он все-таки нашел в себе силы и волю, чтобы выжить! Каждая строка этого периода наполнена болью:

В мороз работая до пота,  
с озноба мучась, как в огне,  
мы здесь узнали, что работа  
равна отвагою войне.

В свободные минуты он отдавался размышлениям, поэзии. Она-то, к счастью, его и сберегла, помогла выдержать «непосильные одному» тяжести. Именно там и родился лирический цикл «Красное солнышко». Это вершина поэтического мастерства и зрелости поэта-гражданина. В нем живут все радуги, все богатство его таланта, проявившегося не только в прекрасном владении искусством словесной живописи, в прелести новизны поэтической детали, но и в глубоком философском обобщении явлений и событий. Потому-то стихи просвечены духом дружбы, веры и любви к человеку, торжеством жизни.

Вчитываясь в «Красное солнышко», порой удивляешься: какое нужно иметь сердце, чтобы оно вмещало столько изумительной поэзии!

Труд в единении с талантом всегда приносит счастливую радость и удачу. Такой удачей в творчестве Бориса Ручьева стала поэма «Любава». Она достоверно воссоздает подвиг рабочего класса — историю строительства Магнитки. В ней ярко воссоздается гражданская устремленность и упоенность людей свободного труда. Мы видим переплавку их характеров, мы видим, как неузнаваемо меняются взгляды строителей. В труде они шлифуются, сплачиваются, преображаются, утверждая самые высокие идеалы времени. И когда на город надвигается буря, они ведут бой за спасение всего дорогого, что воздвигли своими руками.

Буря дух на лету вышибала,  
а сшибить никого не смогла.

«Нашей марки народ — железняк!» — победит. Поэт горд за свой труд и дела своих друзей и говорит об этом так же мягко и непосредственно, как о встрече со своей любимой или рождении человека:

В этот — зримый глазами героев,  
нареченный Решающим — год  
выше  
нашего Магнитостроя  
в мире не было горных высот.  
Будто с поля великого боя,  
не сводя настороженных глаз,  
с первой,  
самой пристрастной любовью  
вся Россия глядела на нас.

Поэт взял две высоты: одну — индустриальную, другую — поэтическую. А в чем все-таки своеобразие и сила его поэтической высоты? Прежде всего в душе художника, которая светится как бы изнутри, возвышая и озаряя идею, сюжет, настроение того, что он подарил людям. Разумеется, тут необходимо полновесное, емкое и единственно точное слово! Вместе с тем — самое простое. Это слово у поэта, обладающего незаурядным вкусом и острым чутьем, обретает магическую силу воздействия — может вызвать и лукавинку, и смешинку, и блеск юмора:

Как пустились бетонщики в пляску,  
что Любава аж с трона сошла...

Конечно же какой там у деревенской девчонки может быть трон? Но замените его тем же «стулом» — и вся наигранная важность невесты потеряет свою прелесть.

Ручьевский стих, в силу конкретности и выразительности, сплошь да рядом становится афористичным.

«В поэзии нужно быть беспощадным к самому себе!» — говорит Б. Ручьев. И есть чему поучиться у него, он десятки раз переписывает строку, строфу, а то и все стихотворение, поэму... Помня, что поэзия не приходит сама собой, что она берется боем, Борис Ручьев денно и ночью ведет этот священный бой!..



## Степан ЩИПАЧЕВ

---

\* \* \*

Я опасной грустью загрустил,  
я, влюбленный в будущее наше.  
В душных травах есть покой могил;  
мне и мертвому он будет страшен.

Будет все: и почесть отдана,  
и цветы, и чьи-то плечи в дрожи...  
И вернется в комнату одна,  
навсегда уже отдалена,  
женщина, с которой жизнь я прожил.

### МОЛОДЫМ ПОЭТАМ

Я Есенина видел,  
я Маяковского слушал,  
что ж, стариком зовите,  
сердце и впрямь все глуше.

Нет, не хочу сдаваться,  
глядя на юные лица,  
пусть вам всего за двадцать,  
пусть вам всего под тридцать.

Да, вы годитесь по праву  
мне в сыновья п внуки,  
я же как равным равный  
вам пожимаю руки.

Я не ищу покоя.  
Есть дорога другая:  
с дерзкою вашей строкою,  
может, еще потягаюсь.

Он и суров и прекрасен,  
мир, где работы — горы.  
Руку, друзья, на согласие,  
руку — на споры!

\* \* \*

Придумали люди эпохи и эры  
измерить историю, возраст Земли,  
а мысль человека какою мерой  
измеришь? Люди такой не нашли.

Да в ней и достигнешь ли точки конечной,  
когда ей важны

и секунда,  
и вечность.

\*

\* \* \*

Я на жизнь свою гляжу все строже.  
В ней одно есть оправданье мне —  
то, что годы лучшие я прожил  
от гражданских дел не в стороне.

Мы живем, дерзая и мечтая.  
Вот и звезд уже достигли мы.  
Только больно знать, как замечает  
тьму могил снегами Колымы.

Пусть не беды,  
а добра победы  
нас все больше с будущим роднят.  
Без дороги нашей  
у планеты  
не было бы завтрашнего дня.

## Федор ФОЛОМИН

---

### МОРДОВСКАЯ РЕЧЬ

Светлы мордовской речи недра,  
свободен слова оборот:  
«Костер-трава —  
телега ветра»,  
«Мешок раскрыл огромный рот».

А я — не перекасти-поле:  
пойму оттенки, трели слов;

увидю ядрышко на воле,  
скорлупку звуков расколов.

И лес богат,  
и поле щедро,  
и жизнь безмерно широка...  
Катись, греми, телега ветра!  
Набьем пшеницей рот мешка!

# Елена НИКОЛАЕВСКАЯ

---

## АРБУЗ

О, первого арбуза  
Зеленый звонкий груз!  
Сладчайшая обуза  
Из всех земных обуз!

Несу его, как чашу, —  
Испить бы — не разлить!  
Несу его, как счастье, —  
Боюсь его разбить.

Несу, как довод веский, —  
О только б донести!  
Несу, как шарик детский, —  
Не лопнул бы в пути.

Тащу двумя руками  
Я лета торжество  
И тех слегка ругаю,  
Кто станет есть его:

Желанен и загадан,  
Он брызнет, точно смех,  
Окрашенный закатом  
Хрустящий свежий снег, —

Но скажут, между прочим,  
Прикончивши его:  
— И красен — да не очень,  
И сладок — да не сочен,  
Тяжел — да не того...

\* \* \*

Люди с пустыми руками,  
Спрыгивающие с подножек  
Пригородных поездов!..  
Как вам легко живется,  
Спится, пьется, жуется,

Люди с пустыми руками,  
Идущие налегке!  
Вы где-то уже поели —  
Там, откуда идете,  
Вас кто-то радушно встретит  
Там, куда держите путь.  
Шагаете вы, посвистывая,  
Размахивая руками,  
Люди с пустыми руками —  
Как вы бедны, бедняги,  
Думающие о себе!  
Не видите, как горопятся  
Мальчик с пучком редиски,  
С красным сачком старик...  
Вы делаете расчеты,  
Делаете зарядку,  
Слушаете радио,  
Слушаетесь врачей,  
Вы разбираетесь в шахматах,  
Смыслите в кибернетике,  
Смотрите кинофильмы  
И даже «Балет на льду», —  
Скажите,  
А могут машины,  
Решающие задачи,  
Знающие прекрасно  
Русский, французский, польский,  
Делать друг другу подарки,  
Плачущего ребенка  
Погладить по голове?  
И, напоив больного,  
Заставить его поверить  
В выздоровление свое?  
И почитать за счастье  
Права гостеприимства,  
И угрызеньями совести  
Мучаться иногда?..  
Думаю — смогут!  
Только  
Вы к ним не прикасайтесь,  
Люди с пустыми руками...

■ ■ ■



## РАДОСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО БЫТИЯ

А все-таки бывает везение и невезение. Один, глядишь, не всходит, а прямо-таки взмывает на поэтическом горизонте. И держится заметным на нем, хотя уже и замечать-то вроде в нем нечего. А другой до обидного долго остается где-то, если не в тени, то в нетях, в том знаменитом, под-разумеваемомся перечне многих имен, что называется попросту «и др.». Может, тут и есть свои причины, ведь и везение бывает не без причин. Но, бывает, у тех, кому долго не везло, больше если не причин, то оснований на известность и даже популярность, чем у тех, кому повезло. Вот, думается, и Сергей Поделков тоже поэт, которого не спутаешь с другими, с настоящим прочным поэтическим основанием, лицом, принципами, верностью им, этим своим принципам. А вот поди ж ты...

Я читал его новую книгу, только что вышедшую в издательстве «Советский писатель», и невольно думал об этом. Думал потому, что чувствовал в авторе книги поэта настоящей, природной, так сказать, целостности, с принадлежащими только ему чертами. Какая-то азиатская и в то же время очень своя струнка все время поддакивает коренному русскому настрою в его стихах. Русская народная основа его поэтики особенно близка душе моей, хотя он подчас несколько излишне заковычивает ее в рамки книжной формы.

Поэт эпический по преимуществу, Сергей Поделков, однако, именно эпические свои замыслы не доводит до конца. Об этом говорят обе его незавершенные вещи — и о Ю. Смирнове, герое Отечественной войны, «Сын Отечества», и о Петре Первом и пушкаре. Мне особенно жаль, что поэма о Петре пока дана в отрывках. Удивителен разговорный язык этой вещи — искры словно бы высекает из каждого слова говорящий и говорит на языке того времени очень современно для нас. Это — тоже искусство, которое забывает о том, что оно искусство, а живет и тебя заставляет жить. Меньше удались куски поэмы о Смирнове, хотя это и наше время, наша современность в натуре. Думается, что поэт, обладающий чувством истории и современности, здесь еще не нащупал той главной пружины, которая бы двигала развитие поэтической мысли в поэме.

В стихах же особенно чувствуется, как эпична, если можно так выразиться, лирика Сергея Поделкова. Он ищет и находит поэзию в самом трудном ее выражении — в утверждении радостного настроения бытия.

Так и подмывает, кажется, тебя это буйное половодье светлой весенней любви, слитой воедино с миром, с природой, с вселенной, с тем, что даже и не названо, — это уже признак большого, когда поэзия куда больше себя самой, она — сила, да еще сила радости. И это:

И показалась из-под лопуха  
лукавая горошинка зрячка  
и желтая лопаточка утенка...

п босые девичьи ноги «в лепестках ромашек с налипшей бестолочью травяной, и солнечная жаровня в небе, и молнии зигзаг», — все это так необъятно близко и едино с тобой, что сам дышишь этой широтой и высотой, любишь, поешь молча на всю мощь голоса.



## ИМЕНИ ПОЭТА-КОМИССАРА

Однажды липецкая комсомольская газета «Ленинец» опубликовала подборку стихов Александра Вермишева. Я читал стихи, ничего не зная о судьбе поэта. И почти сразу, с первых строк, я почувствовал, что написанное им и пережитое неразделимо:

И когда я сам в неволе  
Задохнусь от боли,  
Клепку выну, цепи скину,  
Не кузнец я, что ли?  
Пойте, пойте, молоточки,  
От зари до ночи,  
Рассыпайтесь, разгорайтесь,  
Алые цветочки...

Тогда я еще не знал, что двадцатипятилетний коммунист Александр Вермишев в 1904 году шел по этапу в ссылку, что он вскоре «клепку вынул, цепи скинул» и нелегально возвратился на партийную работу в Петербург.

Желание побольше узнать об Александре Вермишове привело меня в Елец. Здесь в краеведческом музее собрано немало материалов о мужественном поэте-большевике. Вот его скульптурный портрет: энергично вскинута голова, волевое лицо, френч, перехваченный крест-накрест ремнями, рука, сжимающая полотнище.

Эта рука уверенно держала и перо и пистолет. Вермишеву принадлежат пьесы, стихи, рассказы, басни, публиковавшиеся в столичных журналах и альманахах. Литературное творчество всегда было для него одной из форм революционной борьбы. Вот что писал он В. И. Ленину:

«...я отнял у себя 7 ночей и написал эту пьесу «Красная правда» для пролетарского театра».

И «Красная правда» стала путешествовать по дивизиям и бригадам с передвижными фронтовыми театрами. А сам Вермишев — участник штурма Зимнего — был в ту пору комиссаром батальона XIII армии.

31 августа 1919 года комиссар с отрядом бойцов отбивался от мамонтовских головорезов на станции Елец. Быстро редели ряды защитников станции. Раненые не покидали поля боя. Кончились патроны. Окровавленного Вермишева белогвардейцы привязали к седлу и поволокли под окна особняка, где расположился генерал Мамонтов.

Комиссара зверски пытали. Ему отсекали пальцы, вырвали уши. Они хотели заставить его заговорить. И он заговорил:

— Будьте прокляты, палачи! Да здравствует товарищ Ленин!  
Его изрубили шашками...

Я стою в Ельце на одной из привокзальных улиц. Она названа именем поэта-комиссара. Шумят клены, грохочут машинны, неподалеку пронзительно и резко перекликаются паровозы. Я молча вслушиваюсь в незатихающие голоса жизни и думаю о том, как обидно мало мы знаем о людях, чьей кровью обгарены камни наших городов, окрашены знамена, под которыми мы живем и боремся.



# Николай ФОМИЧЕВ

---

## ПОЧЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ

Обрадован  
Тревожными гудками,  
Я выбрался  
Из фабрики  
На сквер...

Вокруг меня  
Гремит,  
Горит,  
Сверкает;  
Всё новые  
Огни взлетают  
Вверх.

О господи!  
Как весело и ярко!  
Налет на Рур  
До слез  
Разволновал...

Как будто небом  
Горьковского парка  
Любуюсь я,  
Прибыв на карнавал!  
1942

## ПОЧТИ ПО-МЕФИСТОФЕЛЬСКИ

*Стихи из фашистского плена*

Хоть супа досыта  
Не ем,  
Считаю лакомством  
Картофель,  
Но я парю  
Над миром всем,  
Двужильный русский Мефистофель

Когда же  
Кипятят в «котле»  
Завоевателей планеты,  
Я здесь  
На проклятой земле  
Пою  
Злорадные куплеты.

Со мною,  
Если хохочу,  
Весь лагерный народ  
Хохочет...

Все чаще  
Мнится палачу,  
Что на себя  
Топор он точит!

# Александр ЯШИН

---

## НА БОБРИШНОМ УГОРЕ

Завихряется стружка,  
Пахнет ягодным бором,  
Вырастает избушка  
Над Бобришным угором.

В получасе шаганья  
От деревни Блуднова  
Жизнь моя, как сказанье,  
Начинается снова.

Нет, не в пустынь,  
Не в пристань  
Лежебокам на зависть, —  
В Чистый бор, как на приступ,  
Рядовым отправляюсь.

Только дым закурчивает  
Край небес над ущельем —  
И поэзия справит  
Здесь свое новоселье.

Есть мечта:  
В удаленье  
От сумятицы буден  
Обрести птичье зренье,  
Недоступное людям.

Буду схож с Змеедом:  
Так отверзнутся уши,  
Что душе станет ведом  
Говор трав и лягушек.

На Бобришном угоре  
Воздух свеж, будто в море,  
Родниковые зори,  
И ни с кем я не в ссоре.

Заходите, соседи  
Из окрестных селений:  
Не окажется снеди —  
Угощу сочиненьем.

Ни запоров не надо,  
Ни замков,  
Ни ограды.  
Добрым людям избушка  
Круглый год будет рада.

А появятся рядом,  
Кто с недобрым поглядом, —  
К тем она повернется  
Не передом —  
Задом.

### **АЭЛИТА**

Очень хочется полюбить  
Безответственно,  
Безрассудно,  
Молодеть  
И других молодить,  
Плыть под ветром весны попутным.

Очень хочется полюбить,  
Чтобы жизнь не текла напрасно —  
Самому судить  
И рядить,  
Властелином быть  
И подвластным.

Слой листвы прошлогодней сгнил.  
Сквозь покров  
Перепревший, ржавый,  
Среди тысяч братских могил  
Изо всех своих свежих сил  
Пробиваются новые травы.

Буераки еще в снегу,  
Но по склонам гнездятся птицы,  
Над деревьями гам и гул.  
Очень хочется преобразиться,  
Петь по-птичьи,  
А не могу  
Ни к чему,  
Ни к кому прибиться.

Разнесла весна все мосты,  
Путь-дорога моя размыта.  
Но другая —

к звездам —  
открыта.

На какой же орбите ты,  
Где же ты,  
Моя Аэлита?

### **ВСЕ НЕ ПО МНЕ**

Часто я вижу тебя во сне,  
В жизни реже случается,  
Но и во сне  
Все не по мне:  
Сердце не согревается.

Трудно живу,  
Молча живу,  
Молчу до ожесточения,  
И не сказавшееся наяву  
Врывается в сновидения.

Как же должна быть душа полна  
Горечью и обидами,  
Если ни разу доброго сна  
Я о тебе не видывал!

### **НЕ ДРАЗНИ МЕНЯ...**

Как сказать мне для прекрасной Лалы. . .

*С. Есенин*

Убери свои губы, Нуну,  
В одиночку перебежую,  
Не тревожь:  
Кого обману,  
Если я тебя поцелую.

Мне твой черный огонь сродни,  
По душе он северным людям.  
Но куда —  
От семьи, от родни?  
Будут слезы, —  
Себя же осудим.

Много есть и других помех:  
Разность возрастов,  
Разность веры.  
Не простят даже малый грех  
Изуверы  
И лицемеры.

Расскажи мне лучше о том,  
Как там Ляли —  
В чести и в холе?  
Раз я был приглашен к ней в дом, —  
Ради дружбы народов, что ли?

И поныне память в плену  
У нее.  
Ты же знаешь Ляли? . .  
Убери свои губы, Нуну,  
Чтоб народы не пострадали.

Что за власть у таких, как ты,  
Что за слабость,  
Какая сила?  
Только я боюсь маеты,  
Немота бы не охватила.

Поседел от забот, от дел.  
Уж не знаю, душа жива ли?  
Не дразни меня, что не смел,  
Извини меня, генацвале. . .

Но, признаюсь,  
Если бы Ляли —  
Ни на что бы не посмотрел.

## ПОД СВЕТЛОЙ МОЛНИЕЙ ПОЗНАНЬЯ...

В стихотворении 1932 года двадцатипятилетний Сергей Марков говорил:

Я разделял почетные труды  
С искателями нефти и руды.  
В крутых горах по имени Кучук  
Мы открывали смуглый каучук,  
Рябой басмач там целился в меня  
Из длинного и узкого ружья.

Да, стихи Сергея Маркова складывались не в кабинете: он писал их в гостиницах северных лесных и поморских городков, под ночным небом среднеазиатских пустынь либо при пляшущем свете костра где-нибудь на берегу горного ручья в сердце Небесных гор — Тянь-Шаня. Время от времени стихи эти появлялись в «толстых» журналах — «Сибирские огни», «Звезда», «Новый мир», — а их автор уже шел, увлеченный новым замыслом, по маршрутам Пржевальского либо разыскивал в архивах бывших губернских канцелярий похороненные царскими чиновниками материалы об открытиях и подвигах безвестных землепроходцев.

«Чужая жизнь — безжалостней моей — зовет меня...» — признается поэт в стихотворении «Памяти Чокана Валиханова». И этим признанием, этой идеей пронизаны жизнеописания русских землепроходцев и путешественников Семена Дежнева, Миклухо-Маклая, Пржевальского, казаха Валиханова, бурята Цибилова, исторические баллады об Илье Муромце и Евпатии Коловрате, Ломоносове и Багратионе, Суворове и Емельяне Пугачеве. Фундаментальное исследование Сергея Маркова — плод десятилетних кропотливых изысканий — «Летопись Аляски» стало документальной основой его же исторического романа «Юконский ворон».

Надо ли удивляться, что в годы Великой Отечественной войны рядовой Советской Армии Сергей Марков снова и снова обращается к славной истории народа. Легендарный основатель Киева сближается с нашим современником именно тем, что «он — оратай и воин, стерегущий свой хлеб». Казалось бы, на разных временных полюсах стоят «Василий Теркин» А. Твардовского и стихи С. Маркова, объединенные в цикле «Люди русской земли». Но, перечитывая последние, глубже постигаешь закономерность теркинского подвига.

Поэзия Сергея Маркова очень земная, ей совершенно не свойственны элементы столь распространившегося в последнее время космизма. «Земные корни и рудные жилы душу мою оплели», — говорит поэт, поверяя степени чувства «земного притяжения» даже свою любовь к женщине. Но за этим вовсе не чувствуется приземленности, духовной бескрылости. Просто поэт знает, что и на земле еще дел немало. Окружающий мир для него «исполнен радостного смысла». И, постигая этот сокровенный смысл земного бытия, поэт то влюбленно и зорко вглядывается в современность, то с тем же запасом зоркости и любви отправляется в глубь времен — к самой колыбели родного отечества, к истокам народного языка и характера.

## Илья ФОНЯКОВ

---

### ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Я люблю сообщать людям добрые вести!  
Людям добрые вести  
  нужнее, чем вещи:  
Без хороших вестей —  
  не прожить и с вещами,  
Без вещей —  
  проживешь, если надо, вестями!  
...Я люблю узнавать их всех раньше,  
  из первых  
Уст!  
Люблю эту свежесть щекастых и спелых  
Яблок с древа добра!  
  Нанимайте —  
  годами  
Я согласен, как грузчик, таскать их пудами!  
Разве плохо —  
  к друзьям на рассвете  
  ворваться,  
Разбудить, растолкать:  
  — Эй, послушайте,  
  братцы! —  
Пусть не верят сначала, глаза продирая,  
Пусть еще переспросят, глаза протирая,  
Пусть запляшут, условности к черту  
  пославши...  
Это всяких пиров  
  и роскошней и слаще!  
Или можно иначе: звонком телефонным  
К занятым, к деловым,  
  в сто забот  
  погруженным  
Вдруг проникнуть —  
  и долго плести им,  
  смакуя,

Байку, блажь, ерунду, небылицу какую,  
А когда собеседник начнет уже злиться —  
Самым главным,  
  как бы невзначай,  
  поделиться!  
Он опешит —  
  и мы расхохочемся вместе...  
Я люблю сообщать людям добрые вести.

\* \* \*

В мой дом, обычный между всеми,  
Вхожу, минуя все звонки,  
И тихо маленькое время  
Кладу на столик, сняв с руки.  
С души стираю, отмываю  
Косые брызги ссор и склок  
И робость сердцем отменяю,  
Как отменяется налог.  
И замечаю вдруг созвездья,  
В моем повисшие окне...

Ко мне последние известья  
Плывут на радиоволне.  
Они плывут, их много-много,  
И что скрывать — порой в ответ  
Во мне рождается тревога...  
Тревога — да. А страха нет.  
Я не один, я здесь — со всеми,  
С кем связан жизнью и судьбой.

Мне лучше так, Большое Время,  
Наедине с Самим Тобой.

## Михаил ШЕСТЕРИКОВ

---

### СТИХИ О МАНЕВРОВОМ ПАРОВОЗЕ

Он помнит  
Жаркой молодости дали,  
Пространства неподатливой земли.  
Его другие ночи обступали,  
Дожди другие по нему текли.  
  
Другие зори в вешнем поле пели,  
И в молниях

Другая шла гроза.  
Другие, откипевшие метели  
Слепили белой пеленой глаза.

В года войны гражданской  
И разрухи  
Он не щадил своих железных ног.  
Разлуки, встречи.  
Встречи и разлуки.  
И ветер нескончаемых дорог.



Взволнованное время,  
Труд суровый!  
Где позабудешь это все и как?..  
Теперь он паровозик маневровый  
Да иногда сгоняет порожняк.

И надо видеть,  
Как тогда он тянет,  
Весь старомодный и смешной на вид,  
Как сбитыми работает локтями  
И как вольготно дышит  
И дымит.

Весь в каплях пара,  
Словно в каплях пота,  
Похож на настоящих работяг...  
Ну, а кому, товарищи, охота  
На станционных доживать путях?

Опять туда бы,  
В молодые дали,  
В зеленый день,  
В ночную темь земли!  
Чтобы вагоны вслед тебе стучали,  
И семафоры весело встречали,  
И звезды  
Разговор с тобой вели!

## Геннадий ХОРОШАВЦЕВ

---

\* \* \*

У сегодняшней поэзии  
треугольное крыло  
с кромкой, сточенной на лезвие,  
чтобы звук пробить могло.

Тонкий контур истребителя  
и ракетный бас ей дан,

чтобы был полет стремительней  
и решительней удар.

Проглядишь глаза до рези и  
обнаружишь лишь тогда:  
у сегодняшней поэзии  
на крыле горит звезда.

## Николай ТИХОНОВ

---

**СИБИРЬ**

Сто лет назад еще встречались  
В твоих раздольях старики,  
Что в океанах наскитались,  
Хлебнув и штормов и тоски.

На гулких парусах летели  
В края тропической земли,  
Свою Америку имели  
И русской гордо нарекли.

Но край сибирский — дом родимый —  
И на Аляске в сердце жил.  
Тоской по родине гонимый,  
Из странствий путник приходил.

И видел, сколько надо силы  
Здесь приложить, чтобы Сибирь

Все тайны недр своих открыла,  
Позолотив хлебами ширь.

И вот пришли такие годы,  
Как чудных рек твоих разбег,  
И всю красу твоей природы  
Хранит и ценит человек.

В его хозяйстве — небо, воды,  
Земля, и уголь, и руда,  
Встают в тайге его заводы,  
Растут, как в сказке, города.

Идут, скользят степным раскатом,  
Тень самолета, тень орла, —  
Ты никогда такой богатой,  
Такой могучей не была!

\* \* \*

Великим океаном нашей жизни  
Сейчас плывем к тем дальним берегам,  
Что назовем землею коммунизма...  
Наш долгий путь закончим только там.

На меньшее мы в мире несогласны,  
И что бы нам ни встало на пути,  
Что сами мы предотвратить не властны, —  
Но мы дойдем — нам суждено дойти.

О, если б взрывы ядерные стихли,  
Войны холодной вдаль ушел туман,  
О, если бы могли назвать мы Тихим  
Несущий нас Великий океан.

Мы помним, как увидели японцы  
И как рыбак в смятенье закричал:  
— На западе встает впервые солнце! —  
Но то лишь взрыв, несущий смерть, вставал.

Что б ни было — за нас земные сроки,  
И каждый день весь род людской следит,

Как солнце жизни всходит на востоке,  
Пусть солнце смерти с запада грозит!

Мы доплывем — и берег счастья встанет,  
И каждому тот берег будет дан,  
И каждый даст ему свое название,  
Восславив жизни синий океан!

\* \* \*

Даль полевая, как при Калите,  
Унылая, осенняя, нагая,  
Леса в зеленой хвойной темноте  
Стоят, покоя земли оберегая.

И облака проходят тяжело,  
Отражены в озерной древней чаше,  
И ворон тянет тихое крыло  
В безмолвие безлюдной пашни.

И лишь над лесом, черные, маяча,  
Бросая тень по просекам в траву,  
Столбы высоковольтной передачи  
Мне говорят, в какой я век живу!

## Людмила НИПАХИНА

---

### ПОИСК

Ах, каждый вечер в свете мгlistом  
Со мной случается одно:  
Я становлюсь аквалангистом,  
Спускаюсь на морское дно.

Меня приветствуют актинии,  
Тенями синими маня,  
И говорят мне: «Будь активнее!»  
И говорят: «Возьми меня!»

И, перемешивая густо  
Растений смутные пласты,  
Мне в ноги падает капуста,  
Как лапы расстелив листы.

Плывут навстречу рыбы лица.  
И, сонный вид переменя,  
Как будто выпуклая линза,  
Медуза смотрит на меня.

А у меня полны карманы!  
Там чудеса морского дна!  
Там умещаются кальмары  
И рыбка странная одна...

Там разных разностей немало.  
О море, ты меня прости,  
Что я кораллы покарала  
И уношу с собой в горсти.

Я в глубину смотрю, как в душу,  
И все, что важным нахожу,  
Я влажным выношу на сушу  
И на столе своем сушу.

Так каждый вечер. Вечер каждый  
Со мной случается одно:  
Меня охватывает жажда  
Спуститься на морское дно.

## ПОМЕХА

Глаз приемника зеленый  
Замигал в твоей квартире.  
Пьешь ты свой нарзан соленый,  
Ловишь песенки в эфире.

Но в гортанный голос Пьехи,  
Душный, как черемуха,  
Вдруг врываются помехи,  
Как начало промаха.

Негодуешь ты, наверно,  
Но не скажешь никому!  
Это действует на нервы!  
Это я звучу в дому!

Я тебе не стала вехой,  
Веткой,  
Верой у дверей.

Я — как радиопомеха  
В жизни занятой твоей.

Я мешаю.  
Продолжаю  
Быть во сне и наяву!  
Как тебя я раздражаю  
Тем, что около живу!

Только мне нельзя иначе.  
Напряженная как медь,  
Даже в лучшей передаче  
Буду тоненько звенеть.

В лучшем марше!  
В песне лучшей!  
Вырвусь, голос изменяя,  
Чтобы ты ее не слушал,  
Оторвавшись от меня!

## Яков ХЕЛЕМСКИЙ

\* \* \*

Кибернетика вторгается в поэтику,  
И филологи, охваченные паникой,  
Дискутируют с новациями этими —  
С электроникой и высшею механикой.

Понимание рождается в полемике,  
Всюду споры разгораются поэтому.  
Над стихами размышляют академики,  
Алгоритмы постигаются поэтами.

В этих поисках невыясненной истины  
Обостряются расчет и вдохновение.  
Математика становится воинственной,  
Но и лирика звучит проникновеннее.

Доказательства всё глубже, всё весомее,  
Оппоненты перед фактами поставлены.  
И лишь сердце, новизною потрясенное,  
От волнения

сжимается  
по-старому.

\* \* \*

Неман, Нямунас, Нёман —  
Три названия реки.  
Сосен сдержанный гомон,  
Тихий плеск и пески.

Три соседних названия —  
Так сложилось давно.  
Три похожих звучанья,  
А течение одно.

Вдоль по родственным землям  
Любо-дорого течь!  
Плавной музыке внемлешь —  
То река или речь?

То река или встреча  
На скрещенье дорог,  
Где наследье-наречье  
Каждый берег сберег?

Всей поэзии тайна  
В синей дрожи излук —  
И литовская дайна,  
И «Лявонихи» звук.

Как мятежен и ласков  
Говор влаги и лоз!  
Всплеск, похожий на няску,  
Тихий песенный плес...

То задором, то грустью  
Осчастливит струна.  
То раздольно, по-русски  
Зазвенит быстрина.

Нёман, Нямунас, Немац,  
Нареченный трикрат.  
Видно, по сердцу всем он,  
Каждый родичу рад.

Три похожих названья,  
Трех созвучий венец.  
Голубое слиянье  
Трех влюбленных сердец.

### ЖАЖДА

Эти лица с врожденным загаром  
И тонки и нежны.  
Как медлителен танец Сахары  
Под биенье струны.

Плавно вскинуты девичьи руки,  
Ходят плечи слегка.  
Чуть слышны монотонные звуки,  
Как течение песка.

У танцовщиц в движении каждом,  
Зыбком словно мираж,  
Только зной, только вечная жажда —  
Всё за каплю отдашь!

Дребезжат на запястьях браслеты,  
Громче бьет барабан,  
Словно в желтом безмолвии где-то  
Зазвенел караван.

Вдрогнул диск разогретого бубна,  
Накаляется ритм,  
Словно шар, ослепительный, крупный,  
Над пустыней горит.

И тогда молодая алжирка  
Выступает вперед,  
Вся как выпрямленная пружинка,  
Вся — порыв и полет.

С ходу шарфом зеленым украсясь,  
С блеском пляску ведя,  
Вся трепещет она, как оазис  
В ожиданье дождя.

И кувшинчик с водой драгоценной  
На ее голове

Проплывает над шаткою сценой,  
Мельтешит в синеве.

Дар, почерпнутый в скудном колодце.  
На лету накренен.  
Но не рухнет кувшин, не прольется,  
Не расколется он.

Мастерство или вечная жажда,  
Что превыше всего?  
И на «бис» повторяется дважды  
Смуглых плеч колдовство.

Древний танец — моленье о влаге,  
Стен пустыни во мгле.  
И волнуется беженцев лагерь  
На соседской земле.

Это все происходит в Тунисе.  
Бьется факелов свет.  
Распростерт под вечернею высью  
Аванпорт Ла Гулет.

Возникают людей силуэты  
На дрожащем свету,  
Тополя, паруса, минареты  
И мимозы в цвету.

И алжирская девушка пляшет  
Для бездомной родни.  
И алжирские беженцы плачут,  
Слез не прячут они.

Потому что над горьким их краем  
Полыхала беда.  
Потому что отчизна нужна им,  
Как Сахаре вода.

В их слезах — ожидание счастья,  
Свет надежды самой,  
Потому что пора возвращаться  
Им с чужбины домой.

И арабский пронзительный бубен  
Продолжает звучать.  
И сухие горячие губы  
Просят влаги опять.

*Тунис*

## ИЗ ЖИЗНИ ПОЭЗИИ

### *Разбирая ящик письменного стола*

В труде и судьбе поэта очень сложным образом сочетаются одиночество творчества и массовость распространения, личное и общественное, интимное и всеобщее. Не просто интерес, но глубокая заинтересованность, проявляемые к поэзии в нашем обществе, вероятно, послужат материалом для исследований литературоведов и социологов. О жизни и жизненности тех или иных стихов и поэм можно было бы много узнать и много рассказать. И жаль, что в нашей стране до сих пор не существует журнал «Поэзия», — я уверен, что он бы сразу приобрел очень широкий круг читателей. Каждый поэт кроме главного и основного — своих стихов — хранит в ящике письменного стола материалы о жизни поэзии — заметки, письма, записки, газетные вырезки, воспоминания... Чаще всего они не выходят на свет, консервируются или увядают во тьме и беспорядке архива.

Разбираю ящик письменного стола.

Я нахожу здесь страницы, которые наверняка есть в «запасниках» у каждого моего товарища по профессии и представляют, как мне кажется, интерес не только для поэтов. Недостатком всех этих листков можно бы посчитать то, что они являются частицей моей работы, и публикующий их рискует быть заподозренным в нескромности, в попытке сказать «о себе дорого» и привлечь внимание к своей личности. Впрочем, эти подозрения всегда подстерегают поэтов. Но я отвожу их заранее потому, что ставлю перед собою иную задачу и глубоко уверен в том, что любой из современных поэтов может раскрыть перед читателем нечто подобное — страницы жизни поэзии. Я надеюсь, что и товарищи по перу, и товарищи читатели поймут меня правильно — я рассказываю о жизни поэзии и лишь пользуюсь своими материалами. И призываю собратьев по поэтическому цеху тоже раскрыть перед читателем ящики своих письменных столов.

Приводя или цитируя письма, я не всегда публикую фамилии адресатов, так как не имею на то их разрешения.

### *Абстрактное оформление*

С большим поэтом Франции Полем Элюаром я встречался дважды, оба раза — в Москве. Особенно запомнилась встреча с этим застенчивым и сильным человеком, когда он вернулся из Греции, с горы Граммос, где он был у партизан (это было вскоре после 1945 года, точной даты не помню). Поэт был задумчив и взволнован. Элюар рассказывал: на горе Граммос вышла маленькая антология советской поэзии в переводах на греческий язык. Печатали книгу в пещере на ручном типографском станке. Не было бумаги. Тогда партизаны решили использовать старые, сорванные со стен обои. Книжка эта вышла небольшим тиражом.

Элюар усмехнулся: антология выглядела как абстрактное издание — узор обоев — и, конечно, не подбирали же специально однотонные листы — разных цветов, а по ним — шрифт и стихи советских поэтов.

Вероятно, это была самая неабстрактная из всех абстрактно оформленных книг.

### *Каждый помнит по-своему...*

Семен Гудзенко был ранен в партизанском отряде, действовавшем на Смоленщине. О тех местах есть у Семена такие строки:

Каждый помнит по-своему, иначе,  
и Сухиничи, и Думиничи,  
и лесную тропу на Людиново —  
обожженное, нелюдимое.

И вот письмо ко мне:

«...Пишут Вам туристы-краеведы Думинической 11-летней школы. Извините за беспокойство. Дело в том, что мы создаем в школе краеведческий музей. В отдел «Они сражались за Родину» нам необходимо иметь материал о воинах, воевавших в нашем районе. Изучая историю Отечественной войны в районе, мы узнали, что С. Гудзенко был у нас. Кроме того, мы читали в журнале «Юность» за 1960 год № 2 Вашу заметку о поэте Семене Гудзенко. Поэтому убедительно просим Вас выслать сборников стихов Семена Гудзенко и его фотокарточки, адрес его родных и близких. Пожалуйста!

С пионерским приветом к Вам туристы-краеведы  
Думинической одиннадцатилетней школы.  
По поручению кружка писал  
Ястребов Виктор»

### *Во дворце президента*

Конакри. Гвинея. Ноябрь. Несмотря на жару, мы с переводчиком надеваем черные костюмы. Идем во дворец президента. Проходим через несколько постов стражи.

Поэт Н. принимает нас в своем кабинете, находящемся рядом с президентским. Он видный государственный деятель, занимает один из руководящих постов в республике.

Мы обнимаемся по-братски. Н. отодвигает кипы государственных бумаг, и мы говорим о поэзии и поэтах.

Он делится своими тяготами: писать некогда — видите эти горы документов. В новой Африке сейчас иначе невозможно — кадров мало, поэт должен быть государственным деятелем. Лумумба был поэтом. Мой темноксжий друг с улыбкой называет других президентов и премьер-министров и доверительно сообщает о том, что все они — поэты.

Н. считает, что независимость и поэзия неразделимы. Но когда писать, когда писать? Столько дел, столько трудностей...

Мы сидим в кабинете с глухо закрытым окном. Шумно работает аппарат для кондиционирования воздуха. Сквозь стекло видны не газоны — заросли немислимых цветов Африки. Нашу беседу прерывают секретари, приходящие с донесениями. А я думаю о юности нашей революции. Ну, не президентами, не во дворце, но секретарями райкомов, комиссарами были, были поэты и писатели. И мой любимый Дмитрий Фурманов был работником ЦК...

### *Стихи парламентаря*

Весной 1957 года в Будапеште я написал стихи о советском парламентаре капитане Остапенко, герое освобождения венгерской столицы. Памятник парламентарю был свален мятежниками. Я видел, как мажарские рабочие восстанавливали его.

Мне было известно, что парламентары 29 декабря 1944 года шли втроем в расположение противника — Остапенко, переводчик и старшина. Я знал, что двое были убиты, третий ранен.

Когда я писал стихи об Остапенко, я очень мало знал о нем. Напечатанное в «Литературной газете» стихотворение «Парламентер в Будапеште» оказалось своеобразным сигналом — мне написали многие друзья капитана, нашлась его дочь. Но самым дорогим письмом было стихотворение единственного оставшегося в живых парламентаря из группы Остапенко — «парламентской группы», как назвал ее кавалер трех орденов Славы старшина в отставке К. В. Голубев. Стихотворение написано Голубевым в том же размере, что и мое «Парламентер в Будапеште», как продолжение моего стихотворения:

Воспоминанье в сердце будит  
Былую боль  
Военных ран.  
Я был свидетелем,  
Как в Буде  
Убит был подло капитан.  
Нас было трое.  
В небе синем  
Плыла немая тишина.  
Мы шли по центру большака  
Парламентарями России.  
Над нами  
Вился белый флаг,  
А впереди шоссе бежало.  
Но вдруг нам в спины  
Гнусный враг  
Пустил свое гадючье жало.  
Пал капитан.  
Он свален с ног  
Осколком мины краснотелой.  
За ним,  
Сползая постепенно,  
Товарищ рухнул на живот.  
Глотая воздух кислотовый,  
Я полз по скользкому шоссе.  
В зубах — остапенский планшет,  
А в нем — советский ультиматум.

Товарищ Голубев, полный кавалер ордена Славы, живет под Ужгородом. Он вообще стихов не пишет, но это документ в стихах, написанный «членом парламентской группы», скромно именующим себя свидетелем. Парламентская группа — выражение и термин, употребляемые в современном обиходе.

Я не раз вспоминал Голубева и его стихи, когда приходилось бывать в далеких и чуждых странах.

### *Нет, «Середина века» важнее!*

Вышла книга воспоминаний о Владимире Луговском. В книжной лавке очередь за ней. Покупатели волнуются — вдруг не достанется экземпляра.

И тут же на прилавке лежит лучшая книга «дяди Володи» — «Середина века», выпущенная года три тому назад, мудрая и трудная главная его книга. Никто ее не спрашивает, не берет в руки, не покупает. Наверное, она уже зачислена книготорговцами в разряд «лежалого товара».

Я не удержался, стал спрашивать стоящих в очереди, есть ли у них книга «Середина века», читали ли они ее. Оказалось, что большинство покупателей только слышало о ней, а кое-кто и не слышал даже.

Но мои «наводящие» вопросы не возымели никакого действия.

Через десять минут воспоминания были распроданы, новые покупатели продолжали их спрашивать, не притрагиваясь к «Средине века»,

не спрашивая стихов Луговского. По-видимому, интерес к личности поэта порой бывает шире даже, чем интерес к его творчеству. Не знаю, хорошо это или плохо, но, во всяком случае, это очень досадно — ведь самое яркое проявление личности, в частности Луговского, — в стихах, в поэме «Середина века».

### *На строгом учете*

Зимой 1961 года я впервые побывал в Кузбассе. Мне пришлось выступать в разных аудиториях — в городах, на шахтах и стройках. При каждой встрече меня непременно настигала записка примерно такого содержания: «Вы были в Кузнецке 25 лет тому назад. Сравните увиденное тогда с увиденным сейчас». Но я никогда не был в Кузнецке. Вероятно, меня с кем-то путают. И я начал очередное выступление с объяснений: я здесь впервые, никогда раньше не бывал...

Тут встал молодой парень, лет двадцати, не больше, и прокурорским тоном возразил:

— В стихотворении, опубликованном в книжке «День» в тысяча девятьсот тридцать пятом году, вы утверждали:

Под белой розою ветров Кузнецка  
Встречались мы и расставались мы.

Почему же вы теперь говорите, что не были в Кузнецке?..

Не без труда вспомнил я эти строки. Они были написаны о первой пятилетке. Кузнецк был в них неким символом.

Не о популярности стихов, а о любви людей к своим краям думаю, вспоминая кузбасские встречи. И о доверии к поэзии. Мой оппонент был глубоко обижен поэтическим домыслом: написал о Кузнецке, — значит, был там. И все, что о родных краях пишется, у земляков на строгом учете.

Поэзия, если пишешь о конкретном, должна отражать конкретное.

### *Путь к переводу*

Только что пришла из Италии книга стихов Агостиньо Нето, поэта и борца за независимость далекой Анголы, долго томившегося в португальских тюрьмах, сначала у себя на родине в Луанде, потом в Лиссабоне.

Поэты и борцы за мир во многих странах участвовали в кампании за освобождение Агостиньо. В их числе была итальянка Джойс Лусу, участница партизанского движения во второй мировой войне.

Я познакомился с Джойс на конгрессе борцов за мир, запомнил ее бесстрашные голубые глаза.

Джойс Лусу отправилась в Лиссабон требовать освобождения Агостиньо Нето. Ее нелегкая и опасная миссия закончилась высылкой из Португалии самой Джойс.

Но Агостиньо Нето она все же помогла вызволить из тюрьмы. Теперь он на свободе, продолжает борьбу. А стихи его вышли в переводах на итальянский, выполненных Джойс Лусу.

### *Моя украинская мать*

В поэме «Пропал без вести» в 1942 году я писал о женщине, спасшей красноармейца, бежавшего из плена, раненого и обессиленного. Я назвал эту женщину «Христиной Вербиной». Христиной, вероятно, потому, что описываемые события происходили в районе станции Христиновка. Естественно, что образ Христины сложился из прекрасных образов



многих женщин, колхозниц украинских сел, укрывавших беглецов в 1941 году, спасавших их, помогавших перейти через фронт или связаться с партизанами.

У меня в поэме Вербина — молодая женщина. Женщину с фамилией Вербина, укрывшую меня в августе 1941 года в селе Алексеевка, звали Мариной, и она была гораздо старше, чем та, что описана в поэме.

После войны я ездил в Алексеевку, чтобы поблагодарить свою спасительницу. Вербина меня не сразу узнала. Как выяснилось, она спасла очень многих людей, я был только одним из них. Через двадцать лет я получил письмо на официальном бланке:

«Редакция газеты ПРАПОР ПЕРЕМОГИ  
Орган Иллінецького РК України  
та районної Ради депутатів трудящих  
Вінницької області

Нашей редакции стало известно, что Вас в годы Великой Отечественной войны спасла от смерти колхозница из села Алексеевка т. Вербина.

Мы очень Вас просим написать нам об этом. Мы хотели бы сделать страницу, посвященную этому благородному поступку украинской матери.

Редактор Л. Ноговский».

Журналисты районной газеты провели глубинный поиск, нашли всех людей, помогавших раненым воинам в 1941 году, в частности переехавшего в другое село учителя Афанасия Бондаря, который дал мне школьную карту для ориентировки при выходе из окружения. Статьи о Вербиной были напечатаны в «Прапоре Перемоги», в «Винницкой правде», киевской газете «Рабочий путь», в газете города Черкассы. Марине Михайловне сейчас уже за семьдесят. Четверо ее детей участвовали в Отечественной войне, двое погибли. Сейчас она воспитывает внуков. Как мало написал я о ней, именно о ней. Ведь образ Христины Вербиной — собирательный.

Кем была ты, Вербина Христина?  
Деревенской женщиной простой?  
Милою крайной Украиной?  
Сказкой счастья?  
Вечной красотой?

### *Как хлеб...*

Я еду в Ульяновск, и поезд идет по территории Мордовской АССР. За Рузаевкой начались места, памятные сердцу. Нахлынуло старое горе: лет тридцать тому назад проезжал я здесь в засуху. Был голод, опухшие люди на станциях. По вагонам ходили серолицые девочки, стриженные под машинку, в лаптях и лохмотьях, просили хлебушка. Так ясно вспомнилось все это, что было невозможно выглянуть в окно, словно в этой раме опять должна возникнуть страшная картина.

Я спрятался от воспоминаний в купе, накрылся с головой, пытался заснуть.

Станция и стук в дверь. С тяжелым чувством отодвигаю ее. Две девочки лет по семнадцать, в туфлях на каблучках, в пестрых платьицах. В руках — бумага, карандаши. Смотрят лукаво и застенчиво, извиняются за беспокойство. Но им очень нужны слова песни, которую они слышали по радио и не успели записать. «Песня о матери, — говорят они. — Не помните ли вы ее, товарищ?»

Выясняется, что речь идет о «Рушнике» Малышко и Майбороды. Я диктую им первую строфу, остальные, как назло, забыл в этот момент. Девочки снова извиняются, благодарят и стучатся в следующее купе.

## Стихи на стене

В Норвегии поэзия не слишком распространена. Тиражи стихотворных сборников ограничены несколькими сотнями экземпляров. Тем более удивила меня в Осло на стене здания верфи «Аккерс» бронзовая доска со стихами. Я перевел эти стихи.

### Лучшие

Смерть озаряет, как вспышка,  
Путь непреклонной судьбы.  
Самые лучшие гибнут  
В пламени нашей борьбы.

Сильные, чистые сердцем —  
Каждый и дерзок и смел —  
С жизнью прощались спокойно,  
Не довершив своих дел.

Миром владеют живые.  
Пусть остается и тот,  
Кто — умереть не способен —  
Робко и тихо живет.

Лучших смывают волнами,  
Пулей сметают с земли.  
Будущему эти люди  
Отдали все, что могли.

Если мы плачем над ними,  
Горестно славим и чтим,  
Этим мы лишь изменяем  
Лучшим героям своим.

Лучших завет выполняя,  
Слезы не смейте ронять.  
Только отважному сердцу  
Кровь их дано воспринять.

Каждый, кто знал их живыми,  
Памятью этой богат.  
Мужество, стойкость наследством  
Дети погибших хранят.

Лучшие обогатили  
Все, чем живет человек.  
Самые лучшие люди  
Не умирают вовек.

Под стихами фамилии рабочих верфи, погибших от руки фашистских оккупантов.

Стихи вырвались со страниц книжечек, изданных ничтожным тиражом, вошли в жизнь верфи потому, что были написаны бойцом. Их автор — Нурдалъ Григ, замечательный поэт и патриот Норвегии.

Он погиб в конце второй мировой, в 1945 году, когда с самолета английских воздушных сил штурмовал Берлин. Стихи «Лучшие» могут быть и эпитафией Нурдалю Григу. Но он сам не причислял себя к лучшим — он был просто их певцом и просто солдатом.

## *Потеря*

Песню «Фронтальная застольная» я написал в 1943 году:

Не столы настоящие  
Украшают наш дом.  
На снарядные ящики  
Мы газету кладем.

Тогда мне приходилось писать песни подчас на музыку уже известных песен. Песни так и печатались под рубрикой «На знакомый мотив». Композиторы реже, чем поэты, встречались на фронтах, а посылать им стихи в Москву по почте было делом долгим и неверным.

Так вот, песня была написана на мотив «Огонька», а печаталась она только в солдатской газете «Советская Армия».

Через несколько лет после Победы Ольга Берггольц где-то ее услышала и включила эту песню в свою пьесу как народную, как фронтovou фольклор. Узнав, что у песни есть автор, Ольга очень извинялась, словно бы нарушила мое авторское право. А у меня было ощущение потери. Мне было грустно, что моя песня перестала быть народной, безымянной.

## *К вопросу о гонораре*

Осенью 1962 года в столице Либерии городе Монровия я встретился с членами Ассоциации писателей. Около двух часов подряд я отвечал на их вопросы, рассказывал об СССР и о нашей литературе. Все было хорошо до того момента, когда я мимоходом сказал о гонораре. То есть о том, что у нас поэты получают гонорар за свои стихи. Тут я почувствовал недоверие моих собеседников. Меня дважды переспросили и, что еще хуже, стали иронически улыбаться. Очень неприятно, когда тебе не верят, да еще и не просто тебе — такому-то, а члену официальной делегации.

На следующий день я встретился с секретарем Ассоциации поэтом Бай Т. Муром. Это человек солидного (по африканскому счету) возраста — ему за сорок, с детской улыбкой, очень скромный и приятный. Он занимается фольклором, собирает изделия народных мастеров, работает в Информационном центре. Мур подарил мне толстый том своих стихов «Эбонитовая пыль», напечатанный на гектографе. Я не читаю по-английски, но, зная, что Мур признан крупнейшим поэтом Либерии, обещал, что стихи его будут переведены на русский язык.

Приглашая делегацию либерийских деятелей культуры в СССР (в ответ на нашу поездку), мы сказали министру образования, что были бы рады, если бы в делегацию на основах профессиональной взаимности, что ли, был включен поэт. Министр сказал, что если пошлют поэта, то, конечно, Мура.

И вот в 1963 году в составе делегации Мур приехал в Москву. Все его здесь удивляло, хотя он бывал в Европе да, кажется, и в Америке. Он очень радовался тому, что его стихи переведены на русский язык и напечатаны. Мне хотелось самому доказать моему либерийскому коллеге, что я не врал в Монровии. Я повел его в бухгалтерию.

Самолет с либерийцами только что прилетел из Азербайджана. Делегаты были возбуждены. «Мы видели гораздо больше того, о чем вы рассказывали нам в Монровии... Ленинград... Ташкент... Баку...»

Но больше всего удивило Мура получение гонорара. Деньги за стихи? Не может этого быть!

— Но я же вам рассказывал о положении советских поэтов еще в Монровии!

Тут Мур признался, что тогда мне никто не поверил. Впрочем, я это и сам заметил. Мур рассказал, что книгу «Эбонитовая пыль» издал на свои средства, а теперь сам ее продает, но концы с концами вряд ли сойдутся.

Итак, оказалось, что старый поэт Либерии получил свой первый гонорар за свои стихи, напечатанные по-русски.

### *Ровесница Победы*

«Меня зовут Мира. Я родилась 9 мая 1945 года, и мне недавно исполнилось восемнадцать лет. Очень прошу поэтов, выступающих сегодня, написать мне на этой книге (между прочим, книга — учебник) по несколько строк из стихов, которые были написаны в тот день, когда мы победили и я родилась. С этими стихами я хочу идти дальше по жизни».

Эта записка и книга были присланы в президиум заключительного вечера Недели поэзии в Душанбе в мае 1963 года. Может быть, только в этот момент я почувствовал, что прошло восемнадцать лет... А ведь кажется, это было вчера: я читаю стихи с танка, стоящего у Бранденбургских ворот, окруженного гвардейцами, только что вышедшими из боя. И где-то посреди чтения в стихи влетает команда «Зачехлить орудия».

### *Отцы и дети*

Ты спрашиваешь меня, что больше всего взволновало в последние месяцы? Трудно на это ответить вообще. Но я, кажется, знаю.

По московскому телевидению передавалась беседа с пограничниками, приуроченная к юбилею пограничных войск. На экране появились два лица с похожим разлетом бровей. Это сыновья Героя Советского Союза офицера-пограничника Лопатина, погибшего в первые дни Великой Отечественной войны на западной заставе.

Оба сына героя — в пограничной форме, младший еще курсант. Он читает стихи о том, что хочет служить на заставе имени своего отца, на том рубеже, где отец его стоял насмерть и принял смерть.

Стихи написаны ладно, умело. Это не удивительно — техника стиха вообще очень высока, и многие молодые люди пишут умело и стройно.

Быть может, младший Лопатин и не собирается быть поэтом. Мне говорили потом, когда я спрашивал, что стихи он пишет редко и думает лишь о профессии пограничника.

Но в этих стихах, просто перевернувших мне душу, была такая достоверность и сила! Они превратились в клятву и присягу. Личная судьба курсанта Лопатина отразила в себе судьбу всего поколения. Вот почему эти стихи так взволновали меня, и я уверен — не меня одного.



# Анна АХМАТОВА

---

## ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ

(Триптих)

1940—1962

### Вместо предисловия

Иных уж нет, а те далече.

Первый раз она пришла ко мне в Фонтанный дом в ночь на 27 декабря 1940 года, прислав как вестника еще осенью один небольшой отрывок.

Я не звала ее. Я даже не ждала ее в тот холодный и темный день моей последней ленинградской зимы.

Ее появлению предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями.

В ту ночь я написала два куска первой части («913» и «Посвящение»). В начале января я почти неожиданно для себя написала «Решку», а в Ташкенте (в два приема) — «Эпилог», ставший третьей частью поэмы, и сделала несколько существенных вставок в обе первые части.

Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей — моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады.

Их голоса я слышу и вспоминаю их, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи.

8 апреля 1943 года  
Ташкент

### Посвящение

27 декабря 1940

Вс. К.

...а так как мне бумаги не хватило,  
я на твоём пишу черновике.  
И вот чужое слово проступает,  
и, как тогда, снежинка на руке  
доверчиво и без упрека тает.  
И темные ресницы Антиноя  
вдруг поднялись — и там зеленый дым,  
и ветерком повеяло родным...  
Не море ли?

Нет, это только хвоя  
могильная и в накипанье пен  
все ближе, ближе...

Marche funèbre...

Шопен...

Ночь.  
Фонтанный дом

### Второе посвящение

О. С.

Ты ли, Путаница-Психея,  
Черно-белым веером вея,  
Наклоняешься надо мной,  
Хочешь мне сказать по секрету,  
Что уже миновала Лету  
И иною дышишь весной.

Не диктуй мне, сама я слышу:  
Теплый ливень уперся в крышу,  
Шепоточек слышу в плюще.  
Кто-то маленький жить собрался,  
Зеленел, пушился, старался  
Завтра в новом блеснуть плаще.  
Сплю —  
она одна надо мною,  
Ту, что люди зовут весною,  
Одиночеством я зову.  
Сплю — мне снится молодость наша,  
Та, Е го миновавшая чаша;  
Я ее тебе наяву,  
Если хочешь, отдам на память,  
Словно в глине чистое пламя  
Иль подснежник в могильном рву.

25 мая 1945 г.  
Фонтанный дом

### *Третье и последнее*

Раз в крещенский вечерок...  
Полно мне леденеть от страха,  
лучше кликну Чакопу Баха,  
а за ней войдет человек,  
он не станет мне милым мужем,  
но мы с ним такое заслужим,  
что смутится Двадцатый век.  
Я его приняла случайно  
за того, кто дарован тайной,  
с кем горчайшее суждено.  
Он ко мне во дворец Фонтанный  
опоздает ночью туманной  
новогоднее пить вино.  
И запомнит крещенский вечер,  
клен в окне, венчальные свечи  
и поэмы смертный полет...  
Но не первую ветвь сирени,  
не кольцо, не сладость молений —  
он погибель мне принесет.

1956

### *Вступление*

ИЗ ГОДА СОРОКОВОГО,  
КАК С БАШНИ, НА ВСЕ ГЛЯЖУ.  
КАК БУДТО ПРОЩАЮСЬ СНОВА  
С ТЕМ, С ЧЕМ ДАВНО ПРОСТИЛАСЬ,  
КАК БУДТО ПЕРЕКРЕСТИЛАСЬ  
И ПОД ТЕМНЫЕ СВОДЫ СХОЖУ,

25 августа 1941 г.  
Осажденный Ленинград

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**  
**ДЕВЯТЬСОТ ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД**  
*Петербургская повесть*

**Глава первая**

С Татьяной нам не ворожить...  
Новогодний вечер. Фонтанный дом. К автору, вместо того, кого ждали, приходят тени тринадцатого года под видом ряженных. Белый зеркальный зал. Лирическое отступление — «Гость из Будущего». Маскарад. Поэт. Призрак.

...С детства ряженных я боялась,<sup>1</sup>  
Мне всегда почему-то казалось,  
Что какая-то лишняя тень  
Среди них «без лица и названья»  
Затесалась...

Откроем собрание  
В новогодний торжественный день!  
Ту полночную Гофманиану  
Разглашать я по свету не стану  
И других бы просила...

Постой,  
Ты как будто не значишься в списках,  
В калиострах, магах, лизисках,  
Полосатой наряжен верстой, —  
Размалеван пестро и грубо —  
Ты...

ровесник Мамврийского дуба,  
Вековой собеседник луны.  
Не обманут притворные стоны,  
Ты железные пишешь законы;  
Хаммураби, ликурги, солоны  
У тебя поучиться должны.  
Существо это странного нрава,  
Он не ждет, чтоб подагра и слава  
Впопыхах усадили его  
В юбилейные пышные кресла,  
А несет по цветущему вереску,  
По пустыням свое торжество.

И ни в чем не повинен: ни в этом,  
Ни в другом и ни в третьем...

Поэтам  
Вообще не пристали грехи.  
Проплясать пред Ковчегом Завета  
Или сгнуться!.. Да что там! Про это  
Лучше их рассказали стихи.  
Крик петуший нам только снится,  
За окошком Нева дымится,  
Ночь бездонна и длится, длится —  
Петербургская чертовня...

Крик:  
«Героя на авансцену!»  
Не волнуйтесь: дылде на смену  
Неприменно выйдет сейчас  
И споет о священной мести...

---

<sup>1</sup> Автор не счел нужным перепечатывать здесь части поэмы, опубликованные в других изданиях («День поэзии 1962 г.» и др.). — А. А.

Что ж вы все убегаете вместе,  
Словно каждый нашел по невесте,  
Оставляя с глазу на глаз  
Меня в сумраке с черной рамой,  
Из которой глядит тот самый,  
Ставший наигорчайшей драмой  
И еще не оплаканный час.  
Это все наплывает не сразу,  
Как одну музыкальную фразу,  
Слышу шепот: «Прощай! Пора!  
Я оставлю тебя живою,  
Но ты будешь, моей вдовою,  
Ты — голубка, солнце, сестра!»  
На площадке две слитые тени...  
После — лестницы плоской ступени,  
Вопль: «Не надо!» и в отдаленье  
Чистый голос: «Я к смерти готов».

(Факелы гаснут, потолок опускается. Белый (зеркальный) зал снова делается комнатой автора. Слова из мрака:)

Смерти нет — это всем известно,  
Повторять это стало пресно,  
А что есть — пусть расскажут мне.  
Кто стучится?  
Ведь всех впустили.  
Это гость зазеркальный. Или  
То, что вдруг мелькнуло в окне...  
Шутки ль месяца молодого,  
Или вправду там кто-то снова  
Между печкой и шкафом стоит.  
Бледен лоб, и глаза открыты...  
Значит, хрупки могильные плиты,  
Значит, мягче воска гранит...  
Вздор, вздор, вздор! — От такого вздора  
Я седую сделаю скоро  
Или стану совсем другой.  
Что ты манишь меня рукою?  
*За одну минуту покоя  
Я посмертный отдам покой.*

ЧЕРЕЗ ПЛОЩАДКУ  
(Интермедия)

«Уверю, это не ново...  
Вы дитя, синьор Казанова...»  
«На Исакиевской ровно в шесть...»  
«Как-нибудь побредем по мраку,  
Мы отсюда еще в «Собаку».  
«Вы отсюда куда?» —  
«Бог весть!»

Санхо Панчо и Дон Кихоты  
И, увы, содомские Лоты  
Смертоносный пробуют сок,  
Афродиты возникли из пены,  
Шевельнулись в стекле Елены,  
И безумья близится срок.  
И опять из Фонтанного Грота,  
Где любовная стынет дремота,



И мохнатый и рыжий кто-то  
 Козлоногую приволок.  
 Всех наряднее и всех выше,  
 Хоть не видит она и не слышит —  
 Не клянет, не молит, не дышит,  
 Та, кого никому не жаль,  
 А смиренница и красotka,  
 Ты, что козью пляшешь чечетку,  
 Снова гулишь томно и кротко:  
 «Пусть к вину подадут миндаль».

И в то же время в глубине залы, сцены, ада или на вершине гётевского Брокена  
 появляется Она же (а может быть, ее тень).

Как копытца топочут сапожки,  
 Как бубенчик звенят сережки,  
 В бледных локонах злые рожки,  
 Окаянной пляской пьяна, —  
 Словно с вазы чернофигурной,  
 Прибежала к волне лазурной,  
 Так парадно обнажена.  
 А за ней в шинели и в каске  
 Ты, вошедший сюда без маски,  
 Ты, Иванушка древней сказки,  
 Что тебя сегодня томит?  
 Сколько горечи в каждом слове,  
 Сколько мрака в твоей любви,  
 И зачем эта струйка крови  
 Берedit лепесток ланит?

## Глава вторая

Иль того ты видишь у своих колен,  
 Кто для белой смерти твой  
 покинул плен.

(«Голос памяти», 1913)

Спальня Героини. Горит восковая свеча. Над кроватью три портрета хозяйки дома  
 в ролях. Справа она Козлоногая, посредине — Путаница, слева — портрет в тени.  
 Одним кажется, что это Коломбина, другим — Донна Анна (из «Шагов командора»).  
 За мансардным окном арапчата играют в снежки. Метель. Новогодняя ночь. Пута-  
 нница оживает, сходит с портрета, и ей чудится голос, который читает:

Распахнулась атласная шубка!  
 «Не сердись на меня, Голубка,  
 Что коснусь я этого кубка:  
 Не тебя, а себя казню.  
 Все равно подходит расплата —  
 Видишь — там, за вьюгой крупчатой  
 Мейерхольдовы арапчата  
 Затевают опять возню.  
 И опять тот голос знакомый,  
 Будто эхо горного грома, —  
 Наша слава и торжество!  
 Он сердца наполняет дрожью  
 И несется по бездорожью  
 Над страной, вскормившей его!<sup>1</sup>  
 Сучья в иссиня-белом снеге...

<sup>1</sup> Шаляпин.

Коридор Петровских коллегий  
 Бесконечен, гулок и прям  
 (Что угодно может случиться,  
 Но он будет упрямо сниться  
 Тем, кто нынче проходит там).  
 До смешного близка развязка;  
 Из-за ширм Петрушкина маска,  
 Вкруг костров кучерская пляска,  
 Над дворцом черно-желтый стяг...  
 Все уже на местах, кто надо;  
 Пятым актом из Летнего сада  
 Пахнет... Призрак цусимского ада  
 Тут же. — Пьяный поет моряк.  
 Как парадно звенят полозья,  
 И волочится полость козья...  
 Мимо, тени! — Он там один.  
 На стене его твердый профиль.  
 Гавриил или Мефистофель  
 Твой, красавица, Паладин.  
 Демон сам с улыбкой Тамары,  
 Но такие таятся чары  
 В этом страшном дымном лице:  
 Плоть, почти что ставшая духом,  
 И античный локон над ухом —  
 Все таинственно в пришлеце.  
 Это он в переполненном зале  
 Слал ту черную розу в бокале  
 Или все это было сном?..  
 ...Ты в Россию пришла ниоткуда,  
 О мое белокурое чудо,  
 Коломбина десятых годов:  
 Что глядишь ты так смутно и зорко,  
 Петербургская кукла, актерка,  
 Ты — один из моих двойников.  
 К прочим титулам надо и этот  
 Приписать. О подруга поэтов,  
 Я наследница славы твоей.  
 Здесь под музыку дивного метра  
 Ленинградского дикого ветра  
 И в тени заповедного кедра  
 Вижу танец придворных костей...  
 Оплывают венчалые свечи,  
 Под фатой поцелуйные плечи,  
 Храм гремит: «Голубица, гряди!»  
 Горы пармских фиалок в апреле —  
 И свиданье в Мальтийской капелле,  
 Как проклятье в твоей груди.  
 И мне странно теперь. Неужели  
 Ты когда-то жила в самом деле  
 И топтала торцы площадей  
 Ослепительной ножкой своей?  
 Дом пестрей комедьянтской фуры,  
 Облупившиеся амурь  
 Охраняют Венерин алтарь.  
 Певчих птиц не сажала в клетку,  
 Спальню ты убрала как беседку,  
 Деревенскую девку-соседку  
 Не узнает веселый скобарь,

В стенках лесенки скрыты витые,  
 А на стенах лазурных святые, —  
 Полукрадено это добро...  
 Вся в цветах, как «Весна» Боттичелли,  
 Ты друзей принимала в постели,  
 И томился драгунский Пьеро, —  
 Всех влюбленных в тебя суеверней,  
 Тот, с улыбкой жертвы вечерней,  
 Ты ему как стали — магнит.  
 Побледнев, он глядит сквозь слезы,  
 Как тебе протянули розы  
 И как враг его знаменит.  
 Твоего я не видела мужа,  
 Я, к стеклу прикивавшая стужа...  
 Вот он, бой крепостных часов...  
 Ты не бойся — дома не мечу, —  
 Выходи ко мне смело навстречу —  
 Гороскоп твой давно готов...

#### *Глава четвертая и последняя*

Любовь прошла, и стали ясны  
 И близки смертные черты.

*Вс. К.*

Угол Марсова поля. Дом, построенный в начале XIX века братьями Адамины. В него будет прямое попадание авиабомбы в 1942 году. Горит высокий костер. Слышны удары колокольного звона от Спаса-на-Крови. На поле за метелью призрак дворцового бала. В промежутке между этими звуками говорит сама Тишина:

Кто застыл у померкших окон,  
 На чьем сердце «палевый локон»,  
 У кого пред глазами тьма?  
 «Помогите, еще не поздно!  
 Никогда ты такой морозной  
 И чужою, ночь, не была!»  
 Ветер, полный балтийской соли,  
 Бал метелей на Марсовом поле  
 И невидимых звон копыт...  
 И безмерная в том тревога,  
 Кому жить осталось немного,  
 Кто лишь смерти просит у бога  
 И кто будет навеки забыт.  
 Он за полночь под окнами бродит,  
 На него беспощадно наводит  
 Тусклый луч угловой фонарь, —  
 И дождался он. Стройная маска  
 На обратном «Пути из Дамаска»  
 Возвратилась домой... не одна!  
 Кто-то с ней «без лица и названья»...  
 Недвусмысленное расставанье  
 Сквозь косое пламя костра  
 Он увидел — рухнули зданья  
 И в ответ обрывок рыданья:  
 «Ты, Голубка, солнце, сестра!  
 Я оставлю тебя живою,  
 Но ты будешь моей вдовою,  
 А теперь...  
 Прощаться пора!»

На площадке пахнет духами,  
 И драгунский корнет со стихами  
 И с бессмысленной смертью в груди  
 Позвонит, если смелости хватит...  
 Он мгновенье последнее тратит,  
 Чтобы славить тебя.

Гляди:  
 Не в проклятых Мазурских болотах,  
 Не на синих Карпатских высотах...  
 Он — на твой порог  
 Поперек...  
 Да простит тебя бог!  
*Сколько гибелей шло к поэту,  
 Глухой мальчик: он выбрал эту, —  
 Первых он не стерпел обид,  
 Он не знал, на каком пороге  
 Он стоит и какой дороги  
 Перед ним откроется вид...*

Это я — твоя старая совесть,  
 Разыскала сожженную повесть  
 И на край подоконника  
 В доме покойника  
 положила —  
 и на цыпочках ушла...

### Послесловие

ВСЕ В ПОРЯДКЕ: ЛЕЖИТ ПОЭМА  
 И, КАК СВОЙСТВЕННО ЕЙ, МОЛЧИТ.  
 НУ, А ВДРУГ КАК ВЫРВЕТСЯ ТЕМА,  
 КУЛАКОМ В ОКНО ЗАСТУЧИТ, —  
 И ОТКЛИКНЕТСЯ ИЗДАЛЕКА  
 НА ПРИЗЫВ ЭТОТ СТРАШНЫЙ ЗВУК —  
 КЛОКОТАНИЕ, СТОН И КЛЕКОТ  
 И ВИДЕНЬЕ СКРЕЩЕННЫХ РУК...

## Николай РЫЛЕНКОВ

---

### РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ, СЧАСТЬЕ ТВОРЧЕСТВА

Передо мной лежат две книги избранных стихотворений Всеволода Рождественского: «Русские зори» (Гослитиздат, 1962) и «Стихи о Ленинграде» (Лениздат, 1963).

Творческий путь этого поэта, одного из старейших наших мастеров слова, весьма поучителен, а написано о нем до обидного мало.

Когда я думаю о поэзии Всеволода Рождественского, мне прежде всего вспоминаются его «дорожные» стихи, стихи о просторах родной страны, о радости открытия новых мест, новой красоты. Его музе в высокой степени свойственно чувство географии. Но влечет ее в путь не экзотика, а

тика сказочных стран, а жажда познания родной земли, обновляемой и преобразуемой человеком.

Но самые проникновенные его стихи посвящены родному для него русскому Северу.

Всеволод Рождественский очарован не только величественной красотой древней новгородской Софии, но и скромной прелестью деревянной резьбы на узорчатых наличниках окон в крестьянских избах ярославской деревни. Его пленяет и высокое искусство мастеров, и кропотливый труд простых умельцев. Он знает, что русским людям издревле присуще чувство прекрасного.

Видно, и тогда, в неволе древней,  
В негасимой жажде красоты  
Наши ярославские деревни  
Расшивали избы, как холсты.

Эта негасимая жажда красоты и есть то самое чувство, которое делает радостным любой труд, обращает его в творчество. Влюбленный в людей творческого труда, Всеволод Рождественский ищет их не только среди своих современников, но и среди предшественников. Он неутомимый путешественник, как в пространстве, так и во времени.

Для лучших стихов Всеволода Рождественского характерна почти архитектурная завершенность композиции и почти скульптурная объемность образов.

Пример тому — великолепное стихотворение «Тютчев на прогулке», одно из самых совершенных во всей его «портретной галерее».

Прозрачная костлявая рука  
Легла на набалдашнике тяжелом,  
И седина, подобие венка,  
Сквозит уже ненужным ореолом.

Путь Всеволода Рождественского к мастерству не был прямым и простым. Ему нужно было многое преодолеть в самом себе, чтобы выйти на просторы реалистической поэзии.

Как художник он формировался под воздействием декадентских школ предреволюционного искусства. Особенно сильное влияние на него оказали акмеисты.

В послевоенные годы он снова и снова возвращается к своим старым стихам, заново перерабатывает многие из них, что свидетельствует о большой взыскательности мастера.

В годы своей молодости Всеволод Рождественский писал, обращаясь к лпре:

Никогда для ложного пристрастья  
Я тебя не выпускал из рук  
И служил, как мог, науке счастья,  
Самой трудной из земных наук.

В пору полной творческой зрелости поэт мог бы повторить эти слова с гораздо большим правом. Он подтвердил их всей своей неустанной работой. Но теперь он говорит о себе скромнее:

Я был свидетелем неугасимых лет,  
Наследником надежд, участником свершений,  
И пусть оставлю я хотя бы малый след  
Для памяти за мной идущих поколений.

## Рамиль ХАКИМОВ

---

### МОЯ ТРЕВОГА

День начинается с волнения о дне,  
О спелой синеве в распахнутом окне,  
С тревоги о Земле под этой синевой,  
О человеке на Земле и над Землей.

Летит Земля, покою вопреки, —  
Шевелятся моря, скрипят материки, —  
Легко и тяжело свои витки ей вить,  
Легко и тяжело ее с дороги сбить.

Порою по утрам не знаю, что со мной:  
Приснится, что с Земли я сдуд взрывной  
волной,

И вижу, как с нее стекает вниз вода,  
И как сыпаются  
горохом  
города.

И как разва-

лива-

ются материки:  
Величиной с Урал, с Алжир летят куски.  
И хлещет на Берлин горячей лавой крыш  
Расплавленный от водородных бомб Париж.  
И нет Земли...

С ресниц уходит, испаряясь, сон...  
О, как необходим своей тревогой он!  
Берусь за дело я вчерашнего лютей,  
Как много нужно сделать для людей...

И мучаюсь:  
А все ли сделал я,  
Чтоб продолжала по орбите плыть Земля?

## Николай БЕРЕНДГОФ

---

### МАЙСКАЯ ГРОЗА

Кажется, что млеет вешний воздух,  
Ливня ждут, поникнув, лепестки.  
Замерли, качаясь в пышных гроздьях,  
Бронзовые майские жуки.

Скрылись в гнезда и затихли птицы,  
Веет мятной свежестью росы,

Свет и темень начали сходиться  
В пережатом голосе грозы.

И бревенчатый промчался грохот,  
Воздух словно сам запел о том,  
Что над полем катится широко  
Вестник урожая —  
Первый гром.

## Глеб ЕРЕМЕЕВ

---

\* \* \*

Я родился в пору земляники —  
мать ходила по припекам с кружкой.  
Солнца луч, расколотый на блики,  
был моею первою игрушкой.

Сколько было у меня подружек,  
белобрысых девочек-ромашек!  
Помню, целый хоровод окружит:  
каждая зовет, кивает, машет.

Но, захлестнут пламенем дороги,  
я ушел из детства за покосы,

и ромашки в девичьей тревоге  
волновались и роняли росы.

Впереди был мир горист и елист,  
путь порой терялся в буреломе,  
но родных лугов прощальный шелест  
нес я в сердце памятью о доме.

Потому-то так оно и радо,  
если чей-то взор улыбкой тепел.  
...Мне еще хоть каплю солнца надо,  
что когда-то в детстве я не допил.

## Сергей ПОЛИКАРПОВ

---

### МОСКОВСКИЕ КРЫШИ

О разноростный,  
Словно ополченье.  
Как ополченье, разновозрастной!  
Ты выдюжил все ратные крещенья,  
Пылавшие над речкою Москвой.

О город мой!  
Ты все восходишь выше,  
Как полог, поднимая синеву.  
Московские отеческие крыши —  
Ступени к звездам,  
Близким наяву.

О, крыши —  
Кровы отчие, —  
Приюты

Надежд бессмертных,  
Веры молодой! . .  
Нет, не одни победные салюты  
Цвели в ночах над вашей головой.

Вскипали буруны чумного мора,  
И голод налетал —  
За шквалом шквал,  
Но плеск беззвучный солнечного моря  
Вновь к жизни даже камни  
пробуждал.

Плеск солнца  
Жизнелюбам в горе слышен.  
Он громче громов,  
Вскормленных войной. . .  
Московские отеческие крыши  
Горят, омыты солнечной волной.

## Владимир АВТОНОМОВ

---

### В РАЙОННОЙ ЧАЙНОЙ

Пусть критик сморщится печально,  
Но у меня заведено  
Сидеть порой в районной чайной,  
Где чаю нет, где пьют вино.

Хоть я совсем не завсегда  
И не любитель злчных мест,  
Ее уют и гул крылатый  
Мне никогда не надоест.

Я сяду там, где оживленней,  
Я выпить тоже закажу  
И сразу в курс всех дел районных  
Без приглашения вхожу.

Здесь и поэзия и проза  
Живут под крышею одной.  
Вон поднимает предколхоза  
Тост с окончаньем посевной.

Вон после дальнего маршрута  
Шофер, веселая душа,

С устатку требует вермута,  
Все ударенья сокруша.

Вон, в предвкушении обеда,  
Еще в горячке свежих дел,  
Ребята за столом соседним  
Вовсю разносят доротдел.

А рядом, взглядом долгим-долгим  
Уставясь в точку и ворча,  
Какой-то деятель из торго  
Сам обмывает «строгача».

Ну что ж, быть может, и бездельник,  
И сплетник затесались тут,  
Но сколько замечаний дельных  
Здесь, не стеснясь, выдают.

Конечно, если не привык ты,  
Тебя на миг смутят, ей-ей,  
И эти пестрые конфликты,  
И этот пылкий взлет страстей.

Здесь кто-то «за», а кто-то «против»,  
В регламенты не втиснешь спор,  
Но все ж о главном, о работе,  
Прямой ведется разговор.

Здесь каждый возглас тонет в смехе,  
Дым коромыслом у столов.  
Вот и поэтам на орехи  
Дает парнишка — будь здоров.

Я возмущеньем преисполнюсь,  
Я заступиться захочу,

Но вдруг иных собратьев вспомню,  
Махну рукой и промолчу.

Ведь, может, самый лучший выход —  
Смотреть в сиянье этих глаз  
И, не отругиваясь лихо,  
Понять душой в который раз,

Что, будь ты модным иль немодным,  
Но ты работаешь для них  
И нужно слушать глас народный  
Не на собраниях одних.

## Игорь ВОЛГИН

---

\* \* \*

О дворик на проспекте Маркса  
(Или на бывшей Моховой),  
Моя решительная муза —  
Студенточка перед тобой!  
Здесь, у прославленной читальни,  
Вкусив премудрости ее,  
Сидят на лавочках титаны,  
Что знают абсолютно всё —  
С международной обстановки  
До часа запуска ракет.  
И что в студенческой столовке  
Сегодня будет на обед.  
Какие мысли у деканов,  
Что ел на завтрак Мопассан  
И содержание романов,  
Которых он не написал.  
Все факультетские светила  
Дымят «Дукатом» в небеса,  
И, как судьба, неотвратимы  
Их молодые голоса.  
И первокурсница-девчонка  
С провинциальною косой  
За три минуты до зачета  
Листает Гёте со слезой.  
Пьем газировку торопливо,  
Мороженое — нарасхват,

И пух

слетает

тополинный

На жарко дышащий асфальт.  
И ты сбегашь по ступенькам,  
Так непохожа на других, —  
Угроза для моих стипендий,  
И если б только для моих!  
Мне так легко и окрыленно  
С тобою, университет!  
Гранитно Герцен с Огаревым  
Глядят, как ректоры, мне вслед.  
Отсюда,  
грозно и весомо  
Взметнув кубинские флажки,  
Мы шли к надменному посольству,  
Свинцово стиснув кулаки.  
Наш дворик,

ты на всех широтах!

Ты ставишь, как свою печать,  
На наших шумных эшелонах  
Целинный лозунг: «Не пицать!»  
Наш дворик,

радуйся и майся,

Цвети гвоздикой на заре!  
Откуда мы?

С проспекта Маркса —  
Он самый главный на земле.



## «ИЩИ ПРЕКРАСНОЕ НА СВЕТЕ»

— В школе меня звали «антиком», — рассказывал мне как-то Василий Федоров. — Это — за мою увлеченность античной мифологией и историей. Действительно, я был какой-то одержимый. Часами мог разглядывать эстампы и фотографии знаменитых ваяний Фидия, Поликлета, Лисиппа. До сих пор помню ощущение легкости, приподнятости, испытанное мной при взгляде на рисунок Ники Самофракийской — богини победы...

Пожалуй, это признание помогло мне определить наиважнейшую сторону поэзии В. Федорова — какую-то особую, условно назову — «классическую», строгость и ясность его лучших стихотворений и поэм. Вместе с тем В. Федоров далеко не «олимпиец», влюбленный в холодноватое, мраморное совершенство. Он — боец. Он твердо знает, что «язык борьбы не может быть туманным», что в нашу эпоху «по всем сердцам проходит фронт борьбы». А сердца — «да это же высоты, которых отдавать нельзя». Впрочем, эти строчки, так же как и другие емкие формулы В. Федорова, давно получили распространение в нашей поэтической среде. Сейчас важнее отметить другое, а именно закономерность этой четкой позиции В. Федорова. Дело в том, что он редко поддается мимолетному настроению. Ведь настроения могут касаться как личной, так и общественной сферы жизнедеятельности человека, они могут быть изменчивы, прихотливы и, в конце концов, несозвучны чувствам и переживаниям современников. Выразить же душевный строй современников, раскрыть их романтический волевой облик чрезвычайно важно для поэта. Вот почему он стремится найти «закрепитель» первому ощущению, чтобы ощущение проросло в устойчивое чувство, а чувство родило мысль.

Мысль же, по его суждению, это и есть концентрированная эмоция. В голосе Василия Федорова преобладают ораторские интонации, его пафос — это пафос трибуна. В подтверждение сказанного мне бы хотелось привести его стихотворение «Мы постареем, может статья...», опубликованное два года назад и прошедшее незамеченным. А жаль. Как и в стихах о «левом искусстве», как в поэме «Проданная Венера», в нем Василий Федоров предвосхитил некоторые события нашей литературной и общественной жизни. Причем предвосхитил их с позиций партийного, идейно убежденного поэта. В своем стихотворении В. Федоров утверждает неразрывную, кровную связь поколений. «С отцами не были мы в ссоре, что приняли от них не рай», — сказано пока что спокойно, рассудительно. Это всего лишь констатация факта. Но вот, оглядываясь на прожитое, думая о том, что и он, поэт, теперь принадлежит к поколению «отцов», В. Федоров испытывает прилив гордости и воодушевления, его голос как бы переключается в другой, более высокий регистр.

Через соленые моря  
Людской крови,  
И слез,  
И пота  
Мы путь прошли от букваря  
До межпланетного полета.  
И пусть нас недруги корят,  
И пусть пророчат нам забвенье.  
Мы жили.  
В поздних поколениях  
Еще о нас поговорят.

---

Василий Федоров. Новые стихи. «Москва», 1962, № 4. «Сибирские огни», 1962, № 3 и др.

В стихах есть накал, они не только предельно четко формулируют мысль поэта, но и «заражают» меня его воодушевлением. А в заразительности еще Л. Н. Толстой видел одно из главнейших свойств подлинного искусства. Что касается «души», то она проявляется в равной мере как в приведенных строках, так хотя бы и в таких, сугубо личных стихах:

Во мне,  
И почему — бог весть,  
Когда весна еще в начале,  
Есть что-то смутное и есть  
Какой-то холодок печали.

(«Весна»)

Здесь та же прозрачность языка, та же определенность мысли, что и во многих других стихотворениях В. Федорова. Правда, ради справедливости замечу, что в его любовной лирике стремление к этой «обнаженной» мыслительной стихии иногда не усиливает, а ослабляет общее впечатление. Возникает противоречивое желание услышать речи, значенье которых «темно иль ничтожно...». Иначе говоря, хочется, чтобы поэт не был столь логичен и последователен в развертывании поэтической идеи, чтобы диалектика живого человеческого чувства врывается в стихи властнее и полнее. Ведь сам же В. Федоров сказал, что «любовь, как музыка сама, словами мало выразима».

О серьезности задач, которые ставит перед собою В. Федоров, свидетельствует хотя бы такое его любопытное высказывание: «Муки творчества, муки поиска самой строки ничтожны в сравнении с муками поиска смысла жизни, с поисками прекрасного в ней».

В этом, и только в этом, я вижу причину быстрого творческого роста автора «Проданной Венеры», причину того читательского внимания, которым окружена его работа в последние годы.

## ПЕСНЯ В ДОРОГЕ

Старинная пословица отказывается сравнивать жизнь человеческую с полем. Но если все-таки принять это сравнение, то часто песня — это вежа на нашем жизненном пути; вежа, уходящая вдаль, в прошлое... Ничто, по-моему, так определенно, так зримо не оживляет воспоминания, как песня — материнская, походная, солдатская, — песня, которая долго ли, коротко ли живет в народе и которая составляет частицу твоего «я».

Есть и у меня такие песни-меты, песни-воспоминания. Подростками, расходясь с танцплощадок в городском саду, мы напевали полюбившийся нам танговый мотив. Танго как танго — их тогда штамповали десятками, но слова в нем были какие-то особенные, «нашенские»: там пелось про холодок оставленной скамьи, про неуверенное касанье девичьих рук, про смутное, тревожное, волнующее чувство, которое томит ночами парней и девушек; его не назовешь любовью, скорее — это предчувствие любви, неосознанное влечение друг к другу. А радио на всех перекрестках гремело: «Вылетают кони...» А школы наши, наскоро переоборудованные под госпитали, были уже забыты ранеными и обмороженными с Карельского перешейка. Пройдет совсем немного времени, когда на призывных пунктах нам, бритоголовым добровольцам, западет в сердце песня артиста из шефской бригады, спетая им проникновенно и строго: «Кружится, кружится, кружится вьюга над нами...»

Мне бы не хотелось говорить громких слов, но у меня создается впечатление, что поэт — автор этих песен — мужал, взрослел, шире огляды-

вал мир именно с моим поколением. От простенького эстрадного мотивчика «Если любишь — найди» до хватающих за сердце, напряженных, стремительных «Дорог», до величавой «Песни о Волге» — большой путь. И прошел этот путь поэт вместе с нами. Многие из нас могут теперь сказать о себе его словами: «Три войны — три жизни — скатились, как отстрелянные гильзы».

Но в том-то и секрет обаяния и большой популярности песен и лирических стихов Льва Ошанина, что каждое новое, вступающее в жизнь поколение думает о нем как о своем поэте-песеннике. Мне как-то довелось провести ночь в раскаленном, не остывающем даже за ночь поезде «Тайшет — Лена». Не спалось. Я вышел покурить. Тамбур был битком набит ребятами и девушками в ковбойках и спортивных штанах — неизменной «форме» всех новоселов, целинников, студентов-практикантов. Грохот колес заглушал их голоса, но в песне было что-то такое, что заставляло ребят особенно дружно подхватывать припев. С чувством и подъемом они пели: «И снег, и ветер, и звезд ночной полет...» Вот этот самый «звезд ночной полет» как-то удивительно соответствовал звездному сибирскому небу, мерцающему в дверном проеме, неясно мелькающей придорожной тайге и всему нашему вагону, вздрагивающему на стыках, летящему в ночь. Позже мне довелось узнать, что слова Льва Ошанина положила на музыку А. Пахмутова, и «Песня о тревожной молодости» прозвучала с экрана.

Мое неведение как-то оправдано. Давно я заметил, что хорошие песни-новинки наших композиторов и поэтов западали мне в душу при самых невероятных, неожиданных обстоятельствах. И всегда где-нибудь в дороге, в пути. Есть в этом своя закономерность. Где-то, в каких-то краях какие-то люди, наделенные особым музыкальным чутьем и слухом, быстро подхватывают новую песню, которая пришлась им по душе, интуитивно выделяют ее среди многих и многих других. А затем уже обратной волной возвращают ее радио и телевидению. Кстати, работники радиокомитетов и вообще культурно-массовых учреждений, теряя чувство меры, даже лучшие современные песни «заигрывают» в самый короткий срок. Но это уже не вина авторов, а их беда.

Я не собираюсь превращать эти заметки в своеобразную «орденскую колодку» лучших песен Льва Ошанина. Тем более что его лирическое, его песенное творчество велико: есть у него кантаты, марши, студенческие, пионерские, солдатские песни, есть многие сборники стихов. Есть у него бесспорные удачи, но есть и «кальки» с этих удач, самоповторения, однообразие, вялость стиха и мысли.

Я хочу сказать о другом. Песни Ошанина рождаются там, где их поют, где их распевают: в дни войны — у походных костров, теперь — в палаточных городках, на площадях крупнейших городов, в спортивных залах, где происходят международные форумы мира.

Сборник «Я и ты» — это стихотворная запись многих поездок поэта в Зауралье, в Сибирь, в зарубежные страны. Сборник обогатил мое представление о поэте горячего темперамента, молодой души и большой доброжелательности к людям.

Песня не только пробуждает воспоминания. Главное, пожалуй, не в этом. Совсем не в этом. Живая песня, как и поэзия в целом, если привести здесь любимое ленинское словцо, духоподъемна. Именно этим качеством и наделены лучшие произведения Льва Ошанина, именно поэтому они и живут в сердцах молодых.



Тепло мне от холодного огня.  
Светло мне от искусственного света...  
Но где-то пропадает без меня  
Моя незащищенная планета.

Еще не все свершилось и сбылось,  
О чем гадали, думали и пели.

Я ощущаю, что земная ось  
Меня, как птицу, держит на прицеле.

Мой шар земной в белесой полумгле,  
Он медленно выходит из пленок.  
И у меня на маленькой Земле  
Есть родина.  
И есть еще ребенок.

## Герман АБРАМОВ

---

### ФАКЕЛ

Среди зеленых — пятна рыжие  
Готовой облететь листвы.  
Из-за пеньков грибы бесстыжие  
Подмигивают из травы.

Трава поблекшая, поникшая,  
А духовита, как весной...  
Здесь, за остывшей речкой Икшею, —  
Вся прелесть прелести лесной.

И можжевеловою зарослью  
Я околдованный иду, —  
И нету за плечами старости,  
Как в незапамятном году.

Стоят березки белокожие  
В переплетении ветвей,

И с каждым шагом все моложе я,  
И с каждым вздохом — здоровей.

И никакой тебе усталости —  
Иду я с песней на устах.  
Лишь не хватает малой малости,  
Чтоб в самом деле было так...

Но и сейчас все так же остро я  
Смакую мир на сквозняке,  
Где бродит осень желто-пестрая  
С лиловым факелом в руке.

Со снастью пробираюсь к берегу,  
И так легко в моей груди,  
Как будто в самом деле верю я,  
Что много весен впереди...



## И СНОВА — ВЕСНА!

В одной статье Н. Ушаков сказал о «бронзовой болезни» стиха, когда в ничего не выражающих стандартных позах застывают некогда живые образы.

Сначала меня поразил смелый диагноз — «бронзовая болезнь», потом — глубокая связь этой мысли с личным опытом поэта. Н. Ушаков никогда не болел «бронзовой болезнью». Но как закалялся организм его стиха — история поучительная.

Первая книга Н. Ушакова вышла с напутствием Н. Асеева. Старшими его современниками были А. Блок, С. Есенин, В. Маяковский. Очень просто было пойти по дороге, которая «протопанней и легче». Новая форма революционной поэзии уже пробилась себе путь, завоевала сердца молодежи. . .

После Пролеткульта и «Кузницы», с одной стороны, и отвратительных гримас нэпа — с другой, романтику революции нельзя было воспринимать абстрактно. Н. Ушаков удивительно точно нашел для нее реальную почву.

Позже он расскажет о двух мировых войнах, революции, нарисует портреты империалистических вояк и нэповских прожигателей жизни, выскажет оригинальные мысли о творчестве, но тема первой книги останется центральной. По его книгам пройдут труженики горячих цехов, строители метро, рабочий МТС. . .

Однако его поэзия никогда не забирается на те высоты, на которых становится холодно. Пафос самой передовой и высокой техники сочетается у него с миром очень простого героя. Н. Ушаков пишет о служащих учреждений, счетоводах, учителях, «адмирале землечерпалок». Именно эти люди, чей труд велик, а претензии удивительно скромны, — настоящие герои его книги.

Но речь здесь по преимуществу о 20—30-х годах. Сейчас — 1963-й.

Один из опаснейших симптомов «бронзовой болезни» — самоповторение. Страшна не только разбросанность, которой иногда грешит молодость, не менее опасен внутренний кризис творчества, когда профессиональное искусство писателя прилагается к материалу, который многожды тобой уже использован.

И вот небольшая книжка Н. Ушакова «Веснодворец», изданная в 1962 году в Киеве. Даже само ее название возвращает к первой книге — «Весна Республики».

Листаем начальные страницы «Веснодворца»: «Этот век мы открывали, мы, я с этого начну, в англо-бурскую играли и японскую войну». Так начинается рассказ о большом историческом времени.

Разумеется, это не исторический очерк в стихах. В книгу входят судьбы людей и, что особенно важно, лирический герой, в личный опыт которого включен весь этот исторический путь.

Рисую картины прошлого, Н. Ушаков не относится к ним как к воспоминаниям: «Танцует прапорщик пехотный, под Луцком будет он убит». Не случайно это смещение времени, взгляд в будущее. Совсем другим смыслом наполняется прощальный лепет еще зеленого прапорщика:

А бедный фендрик недоволен,  
стоит в готическом окне:  
— О фрейлейн Мильда,  
либес фрейлейн,  
не забывайте обо мне!

Достаточно было одной фразы, чтобы драматизировать, придать исторический смысл незначительному на первый взгляд событию.

В «Веснодворце» Н. Ушаков не однажды вернется к своим излюбленным темам. Он посвятит стихотворение «Вагонам, отслужившим свой срок» (раньше было «Кладбище паровозов»), он напишет эпитафию умершему счетоводу, он проводит в последний путь старого речника (может быть, «адмирала землечерпалок», о котором писал в 30-е годы). Однако в любой повторенной теме мы найдем нечто конкретно сегодняшнее, нечто от судьбы человека, пришедшего из самого начала века и ныне присутствующего при рождении космической эры. Если коротко определять характер видения мира, то главные его черты — необычайная сосредоточенность, богатство внутренних исторических ассоциаций и простота. Старая же тема «весны» — раньше «Весны Республики», теперь «Веснодворца» — трансформируется в философскую мысль о неистребимости жизни, о ее вечном обновлении. Она нигде не сформулирована. Н. Ушаков остерегается деклараций. Он проводит эту мысль через множество конфликтов. В книге немало грустных и трагических страниц. Для героя ее, человека далеко не молодого, каждая «новая весна» исполнена лишь робкой надежды:

И вновь таинственно и нежно  
на глыбе  
голубеет рожь  
и в сердце — тихая надежда:  
еще весну переживешь!

Но жизнь неистребима. В ее почве всегда лежит прорастающее зерно. Даже кибернетическая машина у Н. Ушакова начинает волноваться перед лицом живой красоты и переживает «тайную секунду перехода из крупицы мрамора в цветок».

Как сильна и бесконечна жизнь:

Прелый лист переполнил овраги,  
и упорнее день ото дня  
совмещается с запахом влаги  
угля запах  
и запах кремня.

Всё торфа,  
всё куски свежих пашен,  
всё за трактором тающий дым.  
Всё платок развевается Машин  
над двадцатым столетьем моим.

И снова придет весна. Но другая весна — созреют новые мысли, повзрослеет Маша. Закон жизни и закон творчества — вечное обновление.

■ ■ ■

## Николай РЫЛЕНКОВ

---

\* \* \*

Как тяжкий гром орудий дальнбойных  
К нам долетал, шатая облака,  
Так весть о пережитых нами войнах  
К потомкам долетит через века.

А мы, бывые вспомяная беды  
И видя в каждом подвиге звезду,  
Живем, трудясь во имя той победы,  
Что навсегда искоренит вражду.

\* \* \*

Избави бог от поздних сожалений,  
Когда нельзя поправить ничего.  
Нам так отрадно сквозь туман осенний  
Увидеть праздник лета своего.

Но, поразмыслив, мы под звон метели  
Все чаще станем вспоминать о том,  
Что сделать мы могли и не сумели,  
Что проглядели в лете золотом.

Скорей бы хлынул паводок весенний,  
Чтоб год начать, минувшему не лгья.  
Избави бог от поздних сожалений,  
Когда поправить ничего нельзя.

\* \* \*

Солдаты той войны, еще горят костры,  
Что согревали нас на фронтовых дорогах.  
Я вижу их в глазах и ласковых и строгих,

Все помнящих глазах подруги и сестры,  
Сопутствующих мне во всех моих тревогах.  
Солдаты той войны, еще горят костры.

### У МОГИЛЫ АЛЕКСАНДРА ГРИНА

Есть городок в степном Крыму,  
Где проросла лазурью глина.  
Он пахнет солнцем, и к нему  
Меня влекут дороги Грина.

Забыв друзей неправый суд,  
Унылый звон грошей последних,  
Нашел приют укромный тут  
Дождя и ветра собеседник.

Что тесен домик — не беда,  
Зато душа вольна как птица.  
Дарил он людям города,  
Где может сбыться все, что снится.

Он города воздвигнул те,  
За судьбы их готов ручаться,  
В своей душе, в своей мечте  
О полноте людского счастья.

И пусть не знал он счастья сам,  
Не расчислявший дни по срокам,  
Мы верим алым парусам  
Под ветром вольным и широким.

Как у волшебного ключа,  
Стою я у его могилы,  
И на закате алыча  
Шумит, как парус легкокрылый.

## Иван ХАРАБАРОВ

---

\* \* \*

Заснеженные русские пространства.  
Навеки сердцу близкие места,  
Нет, никогда мне с вами не расстаться,  
Не разлучиться с вами никогда.  
Я с детства околдован белизною  
Искрящихся и солнечных полей.  
Что б ни случилось —  
вы всегда со мною,  
Поля и дали родины моей.

Лежит страна — светла и необъятна,  
Февральским ветром затуманен взор,  
Смеются солнцу и зиме ребята,  
Летя с ее заиндевелых гор!  
Пусть злится вьюга,  
все глаза проплакав,  
Но вновь встает  
морозный, ясный день.  
И вновь горит кумач летящих флагов  
Над ширью городов  
и деревень!



## Герман ВАЛИКОВ

---

### В ОРУЖЕЙНОМ МУЗЕЕ

Фузея с лихим раструбом —  
Драгоценный экспонат.  
Янтарем и рыбьим зубом  
Инкрустирован приклад.

В филигранные рубашки  
Принаряжены мечи.  
Расчеканенные бляшки  
На щитах дробят лучи.

Серебристая, как речка,  
Горской сабли льется сталь.  
По клинку бежит насечка,  
В ножны вкраплена эмаль.

Рукоятку пистолета  
Кроет черневой узор.

Львы с фигурного лафета,  
Взъярены, глядят в упор.

Дальше ряд кремневых ружей,  
Клейма царских вензелей.  
Гравировочка похуже —  
Можно б чуть повеселей!

Дальше — штуцеры, винтовки...  
Хоть махни на них рукой —  
Ни малейшей гравировки,  
Ни узоринки какой!

Росс канадских полукружье.  
Строй японских арисак...  
У художников к оружию  
Интерес уже иссяк.

## Сергей БАРУЗДИН

---

### ЖАЛЬ ВДВОЙНЕ!

Тащит палку муравьишка —  
Груз велик и долог путь.

А попробуйте Маришку  
Попросить о чем-нибудь:  
— Не могу да не умею!  
Это дело не по мне!..

Муравьишку я жалею,  
Хоть помочь ему не смею.  
А Маришку жаль вдвойне!

### ПОДОРОЖНИК

Есть множество цветов —  
Красивых, осторожных.  
Но мне приятней всех  
Обычный подорожник.

Ему, быть может,  
И трудней расти,  
И все же он с людьми  
Находится в пути!

## Владимир КАШЫГИН

---

### ГОРОДОК РАЙОННОГО МАСШТАБА

Городок районного масштаба,  
В центре свет неоновый, асфальт.  
А подале — ямы и ухабы  
И грачиный беспокойный гвалт.

Там пока еще довольно часты  
Журавель скрипучий да плетень.  
И за это местное начальство  
Все бранят, кому только не лень.

И чего греха таить, бывает,  
Кое в чем они переборщат.  
Где им знать, что я недосыпаю,  
Убегаю утром натошак.

Что весь день ни капельки покоя —  
Уйма дел и всяких мелочей.  
Что стихи теперь пишу давно я  
Только лишь в безмолвии ночей.

Все же я на это не в обиде —  
Узнаю характер земляков.  
Я ведь тоже Бор хочу увидеть  
Лучшим из приволжских городов.

И готов я рвать себя на части,  
Принимая критику вполне, —  
Ведь с меня не только как с начальства,  
А и как с поэта — спрос вдвойне.

\* \* \*

Претит мне и гладкость и ровность  
В стихах и в житейском пути.  
Отбросить бы к черту условность  
И под руку вместе пройти.

Пройти, от соседей не прячась,  
По улице праздничным днем,  
Чтоб губ твоих шепот горячий  
Мне щеку обжег, как огнем.

Чтоб ахнули злые соседки,  
Чтоб недруг мой давний тотчас  
До боли обидный и едкий  
Донос настрочил бы на нас.

А мы, недоступные места,  
Глухие до всякой молвы,  
Шагали бы под руку вместе  
Под звон тополиной листвы.

## Инна КАШЕЖЕВА

---

### С ГОР СПУСКАЮТСЯ ЧАБАНЫ

Я люблю это время, когда  
Ветер жалобный, как укор,  
Робки первые холода...  
Чабаны спускаются с гор.

Запах праздничных блюд в селе,  
Стали тесными вдруг столы...  
Все мужчины навеселе,  
И все женщины веселы.

Как на свадьбе, поет гармонь,  
Сквозь людской пробиваясь хор,  
Пляшет в красной черкеске огонь...  
Чабаны спускаются с гор.

Как навстречу им не бежать?  
Радость острую, как кинжал,  
В ножнах строгости не сдержатъ.  
Не поймет нас тот, кто не ждал!

## Илья АВРАМЕНКО

---

\* \* \*

Не все, что в сердце бьется, — отзовется,  
не каждой птице взвиться суждено,  
но если чист родник — всегда прорвется  
и кто-нибудь пригубит все равно.

Не надо лишь покой искать в надежде  
на быстрое признание и успех.  
Оно — в пути. Старайся только прежде  
быть жажду утоляющим — для всех.

## Василий БЕЛОВ

---

МАТЬ

*(Из поэмы)*

Выгладь, мама, рубашку мне,  
Ту, что всех и новей и краше,  
А на рыжем печном огне  
Напеки молодых олашек.  
Я теперь материнских ласк  
Не стыжусь, как когда-то было.  
Ох, как много морщин у глаз  
Время трудное начертило!  
Стало меньше в глазах твоих  
Акварельной небесной сини,  
И запутался, и притих  
В волосах твоих зимний иней.  
Не сумели ни волоска  
От холодной сберечь погоды  
Телеграммы издалека  
И почтовые переводы.  
...Раскорректировали всю страну,  
Все узнали, везде поспели,  
Седину матерей одну  
Мы нечаянно проглядели.  
Выжигая сердца дотла,  
Делят нас они с веком грозным.  
Раньше ревность к земле была,  
Нынче — ревность еще и к звездам.

## НЕ ПРОСТО — ЛЮБОВЬ

Русская поэзия XX века характерна еще тем, что в ней, как ни в какой иной национальной поэзии, удивительно ярко заблистали имена поэтов-женщин, замечательных поэтов, обладающих огромной силой лиризма, проникновенности. Поэтому уже особенно не удивляет появление у нас способных и талантливых поэтесс. За последние годы таких молодых поэтесс появилось несколько, целая, можно сказать, плеяда. У них много общего, как у поэтов одного поколения, но они и не похожи друг на друга, как истинные поэты. И заметное место среди них занимает Инна Лиснянская.

Любители и знатоки поэзии уже успели оценить ее, хотя вокруг ее имени не было особого шума. Кроме наблюдательности, искренности, чувства слова, проще говоря, таланта, едва ли не главная ее черта — глубокая вдумчивость, серьезное отношение к жизни, к людям. Поэзия Лиснянской, ее словарь, образность мышления очень современны.

В новой книге, выпущенной «Советским писателем», много стихотворений посвящено Крайнему Северу, его людям. Поэтесса пишет об этом с нежностью.

Гудит над Арктикой антенна —  
Единственное деревцо.

За этими простыми строчками встает целая картина, волнующая нас: люди, жадно слушающие Большую землю, живущие среди бескрайней белой равнины, где свистит вьюга, где ни кустика, ни деревца, потому что «на Диксоне нет никаких садов, кроме детских садов!»

Есть книжки, из которых очень легко выбрать и процитировать лучшее (или худшее), потому что оно на виду, выделяется на общем пустынном фоне.

Есть книжки, рецензируя которые не знаешь, что процитировать: все вроде неплохо, но как-то маловыразительно, особенно взятое отдельно.

И есть книги, где тоже затрудняешься, что же выбрать, — потому что очень уж много удачного, яркого, самобытного. Можно цитировать чуть ли не всю книгу.

К таким относится и книга Инны Лиснянской. Она называется «Не просто — любовь». Название это очень точно выражает ее смысл. На что уж прекрасна сама любовь, но поэтесса не хочет, чтобы это была «просто» любовь, этого ей мало. Она рвется на просторы, а плохие люди «боятся простора», она не может находиться в мещанской комнате, где «пианино — как утопленник, в раздутой белой простыне», ей ненавистны «пижоны-пустобрехи», что жили во все времена и всегда —

Держали дуло у виска.  
Но никогда не отдавали  
Ни ноготка,  
Ни волоска.

Они чужды поэтессе, потому что она себя всю без остатка отдает чувству, стремится, чтобы любимый стал выше, прекраснее.

Не ты меня обидел.  
Сама себя обидела.  
О тайном,  
Как о быте,  
Ты думаешь обыденно,

А я не захотела  
Принять пустое тело.  
Его я наделяла,  
Несла в него добро,  
Вдувала идеалы,  
Как воздух под ребро.  
И обрядила в латы,  
Украшила мечом...

Сама я виновата,  
А ты тут — ни при чем.

Я прочел книгу, и честное слово, мне захотелось привести здесь целиком не менее десятка стихотворений. А сколько строф и строк! Но рецензия есть рецензия. Я отсылаю читателя к книге (если только читателю удастся ее достать) и уверен, что глубокая и чистая поэзия Инны Лиснянской доставит ему радость.

■ ■ ■

# Виктор БОКОВ

---

## КАМСКИЙ СОЛОВЕЙ

*В. Астафьеву*

Ветер. Стужа. Дождь. Град.  
Не угреться даже в доме.  
Соловей как будто рад,  
Заливается в урёме.

Море камское ревет,  
Бревна в щепки разбивает,  
Соловей себе поет,  
Ни на миг не унывает.

Милый, серенький комок,  
В легонькой своей одежде  
Ты до перышка промок,  
А душа парит в надежде.

Цвет купавы весь поник,  
Травы съжились до боли.  
Ты поешь, поешь, старик,  
И откуда столько воли?

Столько трелей и колен,  
Серебра высокой пробы.  
Соловиный этот плен  
Мне как музыка до гроба.

Небосвод сердит и хмур,  
Волны моря гложут глину.  
— Чок! Чок! Чок! Чивью!  
Чивьюрр! —  
Это значит: — Я не сгину!

\* \* \*

Есть вдовы печальницы,  
Затворницы ставен глухих.  
Есть вдовы начальницы —  
Рабочие слушают их!

Проходят по цеху,  
Смолкает пустой разговор.

А рядом, как эхо,  
Погибший в бою рядовой.

Есть вдовы...  
Я знаю,  
Как знамя  
Им доблесть и труд.  
Они за убитых  
Большие высоты берут!

## ПРОСЬБА

Не называйте стариков стариками!  
Это и так понятно.  
Не умрете — состаритесь сами,  
Будет и вам неприятно.

Называйте по имени,  
Величайте по отчеству,  
Вспоминая ближайшего предка.  
Дорогие товарищи! Вот чего  
Забываем нередко.

Особенно бабушек берегите!  
Им не спится до полночи.  
Если можете — помогите,  
Хотя и не просят о помощи.

Скажите старушке: — Варвара  
Власьевна,  
А вы на пенсии помолодели. —  
И засияет: — Спасибо на слове!  
В самом деле?

И прифасонится,  
И приосанится,  
И говорить станет ласково-ласково.  
И телевизор смотреть останется,  
И отхлебнет чайку краснодарского.

Все становимся стариками!  
Все уходим в конце концов!  
Не стареют одни баррикады,  
Баррикады октябрьских бойцов!

# Антонина БАЕВА

## НИСЬМЕННЫЙ СТОЛ

Меня бы просто засмеяли люди,  
Узнав, что ты, как человек, мне дорог  
Своей неприхотливой, верной дружбой...  
Ты никогда меня не упрекаешь  
За то, что я свалила на тебя  
Всю тяжесть дел,

и слезы,  
и обиды,

Что упираются мои колени  
В твое ребро  
И локти мои давят на тебя.  
Ты терпеливо  
Днем и поздней ночью  
Мне лист бумаги под руку кладешь  
И постоянно мне напоминаешь,  
Что за тобою мало я сидела,  
Что завтра

надо встретиться пораньше...

Я в лес хочу,  
А ты сучок покажешь, —  
Мол, здесь твой лес,  
Я тоже был стволом...  
К реке хочу, —  
А ты сукном зеленым  
О море мне подсказываешь строки,  
И книгу торопливо раскрываешь,  
И сам приводишь в синие тетрадки  
Мне и людей,

и ветер,  
и луну...

И я сдаюсь,  
сдаюсь тебе на милость.  
Дай лапу, стол,  
дружище бескорыстный,  
Подставь мне спину крепкую свою,

## ВО ДВОРЕ

Зеленым частоколом обнесен  
Прямоугольник голого двора.  
Дом только сдали,  
только заселили.

Внизу открыли суточные ясли,  
Чуть ближе к десяти  
Прямоугольник  
цветет

От ярких детских одежонок  
И звонких, неокрепших голосов.  
Песок! Песок! Еще прохладный, чистый.  
Две кучи ярко-желтого песка —  
Как два сплотившихся

к ребятам солнца.

Теперь его тебе потрогать можно,  
Сначала осторожно,  
Только пальцем,  
Потом, все глубже погружая руку,  
Другой прихлопнуть сверху.  
Будет домик.

В нем поселится  
Лоскуток бумажный  
И яркое зеленое стекло...  
А если надоест  
Или раздавят

твой домик шаловливые  
ребята, —

Не плачь! Довольно!  
Вытри нос шарфом.  
Смотри — лежат лопатки, и совки,  
И крашеное новое ведришко.  
Давай-ка поработай, малышок!  
Пусть щеки раскраснеются поярче.

Отлично! Нагуляешь аппетит, —  
Вас уведут в столовую,  
накормят

И белые кроватки приготовят.  
Ты будешь спать,  
во сне перебирая  
Отмытой после улицы  
ручонкой  
Сыпучий, желтый,  
ласковый песок.

А няня той порой  
Площадку вашу,  
Ваш маленький смешной прямоугольник  
Завешает простынками из бязи  
И розовой и голубой фланели.  
Они на солнце быстро просыхают!  
Проснешься — и играй себе ошать.

## Станислав КУНЯЕВ

---

\* \* \*

Я не завидую актерам —  
талантам, гениям, — которым  
всю жизнь приходится играть,  
то воскресать, то умирать.  
Сегодня площадной оратор,  
назавтра — царь, вчера — лакей.  
Должно быть, портится характер...

Игру закончив, лицедей,  
должно быть, с каждой новой ролью,  
со щек румяна соскребя,  
все тяжелей, все с бóльшей болью  
приходит медленно в себя.

\* \* \*

Плохой из меня воспитатель,  
плохой из меня педагог.  
Я сыну почти что приятель,  
а сыну всего пятый год.  
Мы в кубики бодро играем.  
В квартире содом и погром.  
Какие-то сладости грабим,  
недетские песни поем.  
И я на глазах у младенца  
чуть на голове не хожу,  
впадаю в буквальное детство,  
в азарт постепенно вхожу.  
Кривляюсь. Рычу, как собака,  
и на четвереньки встаю.  
А сын мне:  
— Не балуйся, папа!  
Не балуй,  
тебе говорю!

## Алла СТРОЙЛО

---

\* \* \*

На поэзию снова предпраздничный спрос,  
Телефонная жила разбухла, как трос.  
И меня на буксир,

и меня нарасхват —  
В институт,  
в интернат  
и в кафе-автомат,

Где сосиски жуют,  
И некрепкое пьют,  
И к сосискам стихи как гарнир подают.

Я еще молода,  
Я еще не горда,  
Безотказно спешу

и туда,  
и сюда,

Веселю,

развлекаю,

гарниром служу,

Но все больше сомнений на сердце ношу:

Видно, что-то не то,

Видно, что-то не так,

На пиру пировать и дурак — не дурак!

Позовите на боль!

Позовите на бой!

Позовите туда, годен где не любой!

Мне дожить бы до этого главного дня,

Чтоб как скорую помощь позвали меня!

\* \* \*

Чем человеку гордиться?  
Весь он в долгах родится.  
До каких бы седин ни дожил,  
Прадедам,

правнукам должен,  
Сколько бы дел ни сделал,  
Внукам должен и дедам,  
Прохожему и соседу.  
Осени должен и лету,  
Яблоне должен и лесу,  
Северу должен и югу,  
Недругу должен и другу...

\* \* \*

Люблю твой камень-экспонат,  
Твой лик —

в листке любовом,

Земля! Ты тоже космонавт

В скафандре голубом.

У полюсов не тает лед,

Экватор раскален...

Слежу я сердцем твой полет

С подножия времен.

Тебе я чуть завидую.

Неси от нас привет

До тех веков невиданных,

Неведомых планет.





Зеленые ставни  
раскрыли завязи,  
белый пух оставила  
тополям зайцы...  
Вышел дождик босым,  
пошел,  
полил —  
и зеленым тесом  
луга застелил.  
С севера, с запада —  
булава громов!  
Дождь покрасил заново  
крыши домов.  
Словно на обухе,  
сидит верхом  
на радуге,  
на облаке

дождик с ведром...  
Слышишь,  
будто плотники,  
белые дождочки  
забивают плотно  
в ставни  
гвоздочки!  
Чтобы дом стоял века,  
шлеп, шлеп,  
чтобы вынес все ветра,  
шлеп, шлеп,  
чтобы в щель не влезла дрожь  
шлеп, шлеп,  
золотые дранки дождь  
шьет,  
шьет!

## Яков БЕЛИНСКИЙ

---

### ПЕРЕД ПУСКОМ ГЭС

Лодка пляшет и в берег тычется,  
дол прибрежный кипит лозой...  
Все насыщено электричеством,  
дышит словно перед грозой.  
В небе тусклого алюминия  
даже тучки единой нет,  
но, как искры разрядов синие,  
злых зарниц пробегает свет.  
Ночь глазами глядит грозовыми,  
в каждом шорохе спрятан гром,  
словно вся наэлектризована,  
хвоя кедров торчит торчком.  
Трехобхватных стволов шатание,  
хриплый голос ночных басов.  
Напряженное ожидание  
откровенно дрожит во всем.  
Застывшие в молчанье скалы  
и темная, как ночь, тайга,  
где пламень голубой Байкала  
горит, как вольтова дуга.

## НАСТОЯЩЕЕ

У Светланы Евсеевой вышла первая книжка стихов «Женщина под яблоней» («Молодая гвардия»). Можно ли в нескольких словах определить достоинства книжки?

Конечно, можно. Чего проще: во-первых, она необычна, во-вторых, связана с жизнью, в-третьих, талантлива...

Но, выпалив это, тут же и осечешься. Все эти слова мы раздариваем направо и налево, не очень заботясь об их цене, — и они невольно ее теряют. Чего же они стоят в применении к стихам Евсеевой?

Собственно, необычен каждый поэт — если он поэт. Он не стремится быть таким только потому, что пугается штампа; он не старается быть головокружительно-кудрявым: искусство существует не для игры. И настоящая необычность не заносчива — это обычность, увиденная заново, увиденная в своем главном.

Есть у Евсеевой стихотворение, где она рассказывает о первой встрече с северной Россией, непривычной, н е о б ы ч н о й для нее стороной. И начинаются стихи в интонации первооткрывателя, которому наконец-то открылась долгожданная земля. Начинаются с изумленного выдоха:

Так вот они, грибы да избы,  
И мох, и мощные кряжи.  
Прабабушка, мне баньку истопить бы,  
Прабабушка, мне байку расскажи!

«Байка», «банька» — слова-то какие подобраны. И «прабабушка» тоже не с ветру взята — и в самом деле все это вызывает древние, старорусские, фольклорные ассоциации. Поэтесса и не скрывает, что это ей вновь. «А я с востока. Там восток полынный. Луна нерусская. Я как с луны». Потому и рождается наивный и торжественный возглас, за которым — сладкое ожидание чуда:

Люди! Вы из какой былины?

Что ей ответят? А отвечают совсем неожиданное:

Мы гжатские, кармановские мы.

Если бы не было последней строки, если бы стихотворение оборвалось экзальтированным возгласом, оно и тогда было бы талантливым, зорким, искренним. Но самого главного не было бы.

Восприимчивость к красоте простого, к поэзии обычного — это и есть в конечном счете связь поэта с жизнью. Такая связь осуществляется только сердцем.

В сборнике много стихов о любви. Это не просто в меру откровенные рассказы о личных удачах и неудачах. Стихи Евсеевой заражают жаждой любви, жаждой полноты бытия. Евсеева знает цену счастью, мечтает о нем и — когда оно приходит — гордится им.

...Теперь — по неизбежной традиции — о недостатках.

Есть они? Есть. Есть сумбурные стихи, есть недописанные. Ничего удивительного — не всегда разберешься в собственном сердце. Тем более не всегда найдешь для этого точное слово.

Но никчемных стихов нет. Все настоящее, потому что все — от сердца.

## Илья ФРЕНЦЕЛЬ

---

### ХУДОЖНИКУ

Как расскажу обычными словами  
О красоте души?  
Герой — вполоборота перед нами.  
Художник! Очини карандаши.

Тебе не надо подбирать сравнения, —  
Набросок (свой набросок) вспомни.  
...Колонны Смольного в часы сраженья.  
...Горят красногвардейские огни.  
...Балтийские пикетчики в бушлатах.  
...Штыки, подсумки, ленты вперекрест.  
И сотни ли, безусых и усатых,  
Под бескозырками еще без красных звезд...

Рисуй припев «Интернационала»,  
Кружащийся на серых срезах дул,  
И кислородный ливень зоны шквала,  
Струящийся по бронзе лбов и скул.

Добейся всемогущества графита —  
Влюбляйся в линию и цвет его скупой.  
О тех, чья грудь, как жизнь, штормам открыта,  
Немым штрихом рассказывай и пой:

...Дом с колоннами старинный.  
С красной надписью доска.  
А у входа два матроса  
Проверяют пропуска.  
А у входа два матроса...

Не бойся зренье надорвать вниманьем —  
Взгляни на одного из этих двух:  
Как будто слит с величественным здапьем  
Его прямой неукротимый дух.

Как перед праздником, лицо его побрито,  
И «Непреклонный» — имя корабля —  
На черной ленте золотом набито...  
Он здесь, с вожжами рядом, у руля.

Его ладонь ласкает ствол винтовки,  
И не пройти, не обмануть контроль,  
Ни в старой замусоленной спецовке,  
Рабочую разыгрывая роль,  
Ни изменивши голос...

А тем паче,  
Заклятый враг, попробуй покажись...  
Лишь тот, кто чист, — лица и рук не пряча  
Войдет в коммунистическую жизнь.

## Юрий АДРИАНОВ

---

### ЛОЖКАРИ

От зари до зари  
Сидят ложкари.  
Над делами сидят мудрыми —  
Спадают стружки кудрями.  
Пахнет бором, пахнет смолами  
Над деревьями, над селами,  
И шумят, шумят орешники,  
Глухаринные крапежники...  
Ой, семеновские резчики,  
Хохломские вы художники!

Жарко полыхает кармин, —  
Золотые листья,  
И поют слова былин  
Под веселой кистью, —  
В них полет народных дум,  
Торжество над ложью.  
Листопада легкий шум  
Льется по Заволжью,  
Где запели глухари,  
Где покой сторожек,  
И бросают ложкари  
Краски звонкие зари  
На ладони ложек.

# Николай ГЛАЗКОВ

---

## СОЛНЕЧНАЯ ЯКУТИЯ

О солнечной Армении,  
О солнечной Туркмении  
Слышал, и тем не менее  
Якутия их солнечней.  
А вызовет сомнение  
Мое такое мнение,  
Отвечу, что на Лене я  
Не видел темных полночей!

Бывал и в Средней Азии,  
Бывал и на Кавказе я,  
И видел небо хмурое  
Я в солнечной Абхазии.  
И в данное мгновение  
Я ничего не путаю,  
Творя стихотворение  
О солнечной Якутии!..

Плыву на пароходе я,  
Сижу в своей каюте я,  
И радуюсь природе я  
В безоблачной Якутии.

Погода здесь отменная,  
Мне солнце улыбается,  
Плыву рекою Леною —  
Невиданной красавицей.  
Ласкает солнце жаркое  
Ее течение быстрое,  
Вода такая яркая,  
Лучистая и чистая.  
И рыбка серебристая  
Застря в ней не погублена.  
А берега гористые,  
На них леса не рублены.

Когда в Москву приеду я,  
Как о великом чуде я  
Своим друзьям поведаю  
О солнечной Якутии!

*Пароход «Хабаровск»*

## ИРЕЛЯХ

Глухоманью кустистой, лесистой  
Протекала река Ирелях.  
Не артисткой была, а статисткой,  
Но теперь она в главных ролях.

Глубиною не может похвастать  
Неширокая эта река.  
Но она поминается часто,  
Ибо слава ее широка!

Эта реченька не величаво  
По таежным оврагам бежит,  
Мировая великая слава  
Ей, однако, принадлежит!

Много речек подобных на свете,  
Но важнее их всех Ирелях.  
Ибо знают теперь даже дети  
Об алмазных ее берегах!

Мелковата для водного спорта,  
Для него нужен большой размах,  
Все равно говорить буду гордо:  
Я купался в реке Ирелях!

---

# Эдмунд ИОДКОВСКИЙ

---

## ТЕЛЕТАЙПЫ АГЕНТСТВА ПЕЧАТИ «НОВОСТИ»

Телетайпы,  
телетайпы,  
телетайпы!  
Пунктуация у вас без запятых.  
Принимаете вы, словно телепаты,  
мысли всех широт и всех долгот земных.

КАРАКАС ОХВАЧЕН БУРЕЙ ДЕМОНСТРАЦИИ  
КОСМОС-5 ЗАКОНЧИЛ СОТЫЙ ОБОРОТ  
ЗАВТРА ДНЕМ ТЕМПЕРАТУРА ПЛЮС 13  
НА ВЕНЕРЕ ОБНАРУЖЕН КИСЛОРОД

Коридоры,  
коридоры,  
коридоры!  
Штат агентства  
пухнет, словно на дрожжах,

пролетают секретарши-метеоры,  
телефонные вулканы дребезжат.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ  
300 ТОНН КЕФАЛИ ВЫЛОВИЛА КЕРЧЬ  
В НОВОЙ КНИГЕ ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС  
НАД ПЛАНЕТОЮ ВИСИТ ДАМОКЛОВ МЕЧ

Но однажды,  
но однажды,  
но однажды  
я приму у телетайпов эту весть,

к выпускающему я бегу отважно...  
«Есть сенсация?» —

он спросит.  
Крикну: «Есть!»

МЕЧ ДАМОКЛОВ ПЕРЕКОВАН НА ОРАЛА  
ПРАЗДНЕСТВА В ОРАНЕ. ОМСКЕ И ОРЛЕ  
ТРЕБУЮТСЯ ГАЗОРЕЗЧИКИ МЕТАЛЛА  
НАЧАЛОСЬ РАЗОРУЖЕНЬЕ НА ЗЕМЛЕ

## Яков АКИМ

---

### В ТЕАТРЕ

Звонки. Толчая гардеробная дразнит.  
Программы. Программы. Плафонов накал.  
Из сумерек вы попадаете в праздник  
Свечения глаз и ответных зеркал.

Со звоном служитель задернул портьеры,  
И, нетерпеливо в ладони стуча,  
Вы ждете чего-то, исполнены веры,  
Совсем как больной в ожиданье врача.

Волшебный сезам наконец отворится,  
И, ниточки судеб запутав хитро,

Сначала покажут лжеца и тупицу,  
Потом — торжествующий ум и добро.

Но ритмы развязки уже увлекли вас,  
И, в сердце подспудную боль вороша,  
Вы вспомнили вдруг про свою  
справедливость,  
И вновь справедливости просит душа,

И пальцы горячие сжаты до хруста...  
Но занавес дрогнул, и лампы зажглись,  
И нехотя зрители с мест поднялись,  
И хмелем в сердцах забродило искусство.

## Павел АРСКИЙ

---

\* \* \*

Мы в белом океане,  
Гуляй, пурга, гуляй!  
В заснеженном тумане  
И небо и земля.

Три дня грохочет буря,  
И снег и лед кругом,

В беде лица не хмурим,  
Мы смело вдаль плывем.

Край дикий, нелюдимый,  
Метелью душит нас,  
Но родины любимой  
Мы выполним приказ.

# Владимир ГОРДЕЙЧЕВ

---

## АПРЕЛЬ

Брызгает,  
булькает,  
тешится апрель.  
Грохает сосульками  
прямо на панель.  
Голуби  
молодо  
рушатся с высот.  
Человек по городу  
зеркало несет.  
А с боков, сверху ли —  
света кутерьма.  
И плывут в зеркале  
люди и дома.  
Вон в очках служащий  
взглядом просверкал.  
И блестят лужицы  
тысячей зеркал.

Все в огнях небыли  
здесь, на мостовой:  
мы в воде,  
в небе ли  
кнйзу головой?  
От лучей сверка ли  
видится всерьез:  
человек в зеркале  
радугу пронес.  
И, с людьми  
сколотой  
улицей скользя,  
я смеюсь молодо,  
глядя в их глаза.  
Небо стопудовое  
нянчу на весу:  
в новый дом  
новое  
зеркало несу!

# Олег ДМИТРИЕВ

---

## НОВОСЕЛ

Тот, кто не видал, как Пашка пашет,  
Скажет: до чего забавный вид!  
Человек идет, руками машет,  
Складывает губы и свистит.  
Думаете, что навеселе?  
Это зря. В рубашечке-ковбойке,  
В сапогах резиновых, глубоких  
Он идет с работы по земле.  
И, при каждом шаге громко всхлипнув,  
Злые пережившая дожди,  
Черная, она к подошвам липнет:  
«Милый человек, не уходи...»  
Нет, земля, тебя он не покинет.  
Он пойдет по улице прямой  
И мальчишку теплого подкинёт  
В голубое небо над собой.  
О жене подумает: «Людмила...  
Вот он я! Иди встречай меня!»  
И возьмет хозяйственное мыло,

Белым рукомыником звеня.  
«Жизнь, — потом подумает, — такая  
Вещь совсем отличная», — когда  
С рук его покатится, сверкая,  
Рыжая и жирная вода.  
И хотя устал он и продрог,  
Перед ночью, как на юге черной,  
К звездам, в небо брошенным как зерна,  
С папироской выйдет на порог.

\* \* \*

Я так люблю входить домой под утро,  
Не зажигая в комнате огня.  
Уже светло, и комната продута  
Ветрами наступающего дня;  
И бросить так пиджак на спинку стула,  
Вконец дневной измятый суетой,  
Чтоб он висел устало и сутуло,

А я стоял большой и молодой;  
Потом следить, как льет вода из крана,  
И долго ждать, чтоб теплая стекла,  
И брать губами острый край стакана  
Из тонкого — как нет его — стекла;  
И воду пить глубокими глотками,  
Поеживаясь, затворять окно  
И удивляться, разводя руками,  
Что жизнь порой такая, как в кино,  
Что берега пологие качались,  
Почти неразличимые в ночи,  
Что золотые волосы касались  
Моей щеки, как теплые лучи...  
Гудок услышать ближнего вокзала,  
Тревожащий пустынную Москву,  
И, тонкое откинув одеяло,  
Упасть в постель, как падают в траву,  
В подушку глубже голову засунуть,  
И засыпать, прикрыв глаза рукой,  
И, улыбаясь, ни о чем не думать,  
О женщине не думать никакой.

### КУПОЛ

Вот он стоит, Никитский монастырь,  
Над озером — как богатырь над чашей.  
Но посреди природы тихой нашей  
Он — приглядитесь! — вовсе не застыл.

Весь легкий купол рвался в облака.  
Раскачивался башни белый стержень,  
Как напряженно сжатая рука, —  
И чувствовалось:  
Он его не сдержит!  
Изнемогая, он деревенел,  
Он был, как говорится, на пределе...  
Миряне, из окрестных деревень  
Когда-то вы на монастырь глядели.  
Вас звал не бог. Совсем наоборот:  
Стремительная сила человека!  
Он больше понимал, простой народ —  
Вся голь и рвань шестнадцатого века,  
Чем кажется.  
И в темной той дали  
Его толкала смутно эта сила  
В большое небо вырваться с земли,  
Которая нас, грешных, всех взрастила.  
Вот почему мы, русские, близки,  
Хотя и разделенные веками,  
И любим так глядеть из-под руки  
В небесный свод, следя за облаками!  
Я, современный парень из Москвы,  
И переславский сумрачный оратай —  
Мы все полны одной мечтой крылатой  
Под куполом российской синевы.

## Варлам ШАЛАМОВ

---

\* \* \*

Поэзия — дело седых,  
Не мальчиков, а мужчин,  
Израженных, немолодых,  
Покрытых рубцами морщин.

Сто жизней проживших сполна,  
Не мальчиков, а мужчин,  
Поднявшихся с самого дна  
К заоблачной дали вершин.

Познание горных высот,  
Подводных душевных глубин,  
Поэзия — вызревший плод  
И белое пламя седин.





Друзьями мальчишками прозванный Птицей,  
любил с малых лет высоту.  
Взбирался, облазив деревья и крыши,  
поверх колокольни, под крест.  
Стоял там, испуганных криков не слыша,  
и пел в его сердце оркестр...  
Я вижу, восторг затаив и тревогу,

того, кто теперь всем знаком,  
не старцем,  
что к звездам разведал дорогу,  
а вызов бросающим людям и богу,  
на купол церковный поставившим ногу,  
отчаянным пареньком!

## Игорь КОБЗЕВ

---

### РАССВЕТ

Уже разносят почтальоны в сумках  
Газетный шум событий и забот,  
Однако синий предрассветный сумрак  
Зачем-то медлит и чего-то ждет.  
Я караулю с нежностью всегдашней  
Короткий этот миг в начале дня,  
Чтоб свет сегодняшний и свет вчерашний  
Прошли одновременно сквозь меня.

## Аврам ГОНТАРЬ

---

### ВСТРЕЧА

Все расскажу, но погоди немного,  
Пускай в душе уляжется тревога.  
Ведь раньше — наяву, а не во сне —  
В твои глаза взглядеться нужно мне,  
Привыкнуть к звездам над твоею крышей  
И к тополи. чей шум я снова слышу,

Забуть о дрожи в голосе твоём,  
Чтоб вновь домашним стало все кругом.  
Я должен ворот распахнуть сначала,  
Чтоб зеркало твое меня узнало,  
Поверить в то, что я пришел домой,  
Что я с тобою как с самим собой.  
Тогда в душе уляжется тревога.  
Все расскажу... Ты погоди немного.

*Перевел с еврейского В. Берестов*



# Михаил ЛУКОНИН

## В НОЧЬ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

Спи, Настенька,  
я к двум твоим годам  
клонюсь посеребренной головою.  
Спи.  
Никому на свете не отдам,  
не бойся,  
спи спокойно под Москвою.  
Во сне растут все дети на земле.  
Спи.  
Я пойду, ликуя и страдая.  
Пускай к тебе в вечерней полумгле  
во сне приходит  
мама молодая.  
Пойду. Бушует летняя Москва.  
Да что за утро выпадет ей завтра!  
Мне надо знать  
заветные слова  
готового к полету космонавта.  
Да, это завтра.  
А сейчас пока  
спят космонавты родины, как дети.  
Я знаю — их дорога далека,  
пусть спят пока в подлунном пересвете.  
Я знаю, кто она.  
В урочный час  
взойдет над всем,  
и мир ее услышит,  
земной предел пройдет у самых глаз.  
А женщина уснула, ровно дышит.  
Она все знает, спит, и сны легки.  
Я знаю и не сплю,  
да, мне не спится —  
в полете будут  
все ее витки  
лететь вослед,  
пока не приземлится.  
Все вместе:  
степь. Отчизна. И она.  
И Волга. И поэзия. И Настя —  
все это вместе —  
жизни глубина  
и высота, открытая для счастья.  
Дай мне слова, поэзия, приди.  
Земля светлеет с каждым оборотом.  
На все века,  
что будут впереди,  
запомню эту ночь перед полетом.

## ЭКСКУРСАНТСКОЕ

С Елисейских полей —  
к Енисейским,  
к Приуральским,  
Заволжским,  
Донским.  
От задушенных треском и блеском —  
к городам и селеньям людским.  
Ну скорее —  
на «ИЛ-восемнадцать»,  
экскурсантскую прыть утоля.  
Дома будут над нами смеяться,  
если мы опоздаем в поля.  
Торопитесь  
к родимым порогам,  
торопитесь  
к станкам и плугам.  
Половодье весны по дорогам —  
лучший отдых  
оббитым ногам.

\* \* \*

«Я стар, не убивай меня, прошу я...» —  
тебя увидев, про себя шепчу.  
Но, трепеща, бунтуя и бушую,  
бегу по раскаленному лучу.  
Подкошенный глазами, рухнул разом,  
все изломал бровей ее излом.  
И чувствую,  
как намертво завязан  
волос ее загадочным узлом.  
Все понимаю.  
Все я понимаю.  
Не говорите, знаю. Не гляжу.  
Глаза свои спокойно поднимаю  
и в сторону притворно отвожу.  
Хожу один в переплетенье улиц,  
а время все летит, как облака.  
В полете лет  
случайно разминулись  
две жизни  
и не встретятся пока.  
Вы, самолеты, поднимайтесь выше,  
вы перекройте лето, поезда,  
не вижу я ее,  
уже не слышу  
и забываю имя навсегда.  
Да только что теперь мое решенье.

Так ничего не будет решено.  
Преодолеть земное притяженье  
пока еще не каждому дано.  
Я дальние дороги выбираю,  
я от нее все мысли отрешу.  
Гляжу в глаза  
и в страхе замираю:  
я стар, не убивай меня, прошу.

## Иван БАУКОВ

---

### НЕ ШУМИТ ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА

Не шумит зеленая дубрава,  
Белый снег засыпал рощу, зданья.  
...Все приходит: ордена и слава,  
Только все приходит с опозданием.

Будто так положено от века  
И до дней великих созиданий,

Все, что поднимает человека, —  
Все приходит вечно с опозданием.

Только я, преодолев усталость,  
Одного прошу у мирозданья:  
Раз уж так случается — и старость  
Пусть приходит к людям с опозданием.

## Нина БЯЛОСИНСКАЯ

---

\* \* \*

Вот я лечу крыло в крыло с орлом.  
Как мне летится под его крылом!  
И как мне дышится!  
А как не спится!..

Но как поверить мне,  
что я — орлица?

Орел смеется.  
Думает — шучу.  
Оно конечно,  
не его печаль —  
какую там он птицу повстречал.  
Была б в полете только по плечу.  
И я лечу.  
Крыло в крыло лечу.

Лечу еще не из последних сил.  
Пожалуй, даже набираю силы.  
О, как вы нас высоко выносили,  
Две пары вровень распростертых крыл!

Орел летит,  
летит,  
не налетится.  
Прямы его пути,  
круты,  
грозны..

А я, —  
сама не знаю, что за птица, —  
крыло в крыло лечу.  
Чего бояться?  
Ах, если мне и суждено сорваться, —  
зато ведь с той,  
с орлиной,  
крутизны.

## Арсений РЯБИКИН

---

\* \* \*

Не отдышавшиеся от весны,  
Прямо с дороги, с вещами  
Люди прибывают на совещания —  
Собираются со всей страны.

Потом выступают и делятся опытом,  
Потом по третьяковкам бегут...  
Московские бутерброды жуют,  
Берут сувениры и впечатления оптом...

И звучит, как веселая пьеса,  
В перерывах, где толковая суета:  
— Познакомьтесь: Рига, Одесса...  
— Очень приятно — Алма-Ата...

— Товарищ, вы Каунас... —  
Смеются, шутят, дымят, как города...  
— Слушайте, Рига, а у вас...  
Глаза — морская вода!

Не стойте ж, плывите среди синевы  
Ручьев, по Москве перекрещенных,  
Вы — яхта,  
    Вы — ветка,  
                    Вы — туфелька,  
                                    Вы...

Вы очень красивая женщина...

Вы — город, хотите, идемте гулять,  
Туда, где, зубцы окрашивая,

Поднимается солнце... —  
    Так здравствуй опять,  
Сестра наша милая, старшая!

### ТРАВА

Не сорвать,  
не поднять —  
Вашу зелень показать!

А она — здорова!  
Верю, верю —  
                                    не зря  
Зеленеет трава  
В конце ноября.  
Лезет свежий росток  
Из-под прелой ботвы...  
Изумрудный глазок  
Среди жухлой братвы.

Облетели сады.  
С неба сыплет крупа...  
Стеклeneют следы,  
Пропадает тропа.

И молчат деревья —  
Им суставы светло...  
...Зеленеет трава  
Всем невгодам назло!  
Ты ее не жалея,  
Пусть метели свистят,  
В марте сабли стеблей  
На буграх заблестят!

## Владимир СОКОЛОВ

---

### ЛИСТОВКА

С любовью тяжело расставаться.  
И не расстаться никогда.  
Да. Суждено ей оставаться  
Во мне везде и навсегда.

Я не забуду дней полетов,  
Тридцатых солнечных годов,

Моих богов, моих пилотов,  
Как «будь готов — всегда готов!».

Я вспоминаю  
                                    нежно-нежно  
Незабываемые дни,  
Когда челюскинцы мятежно  
Зажгли на льду свои огни.

А разве Чкалов с Байдуковым  
Летели где-то в пустоте?  
Нет, каждым выхлопом и словом  
Они — в любви и в чистоте.

Я низко кланяюсь Расковой  
И Осипенко — потому,  
Что их полет, тогда рискован,  
Был важен сердцу и уму.

Машин открытых было мало  
У нашей гордой стороны,  
Но  
    в них  
    Москва их принимала,  
Чтоб были каждому видны.

И осыпали их листовки  
За то, что вскинули нас ввысь,  
А не цветные фейерверки,  
Что нам дороже обошлись.

Я тоже горечью ударен,  
Но как отцовскою рукой.  
И так же дорог мне Гагарин,  
Как мой Усыскин дорогой.

А то, что я стоял за хлебом,  
Так я стоял за свой же счет.  
Не под чужим, под этим небом.  
И в том не слабость, а почет.

### ПЕСНЯ

Простое дерево, ты — древо.  
Ветвь родословья, ты — родня.  
В необходимости напева  
Вы убеждаете меня.

И, полный голосом и светом  
Еще не сказанного, я,  
Как мальчик с маленьким секретом,  
Иду, улыбка не тая.

Ветрами вольности лелеем,  
Неся, как песню, в сердце Век,  
Иду по дебрям и аллеям,  
Счастливый русский человек.

### ОСТАШКОВ

Осташков древний, травянистый,  
Устав от сутолоки туч,  
Поймал сегодня жарко-чистый,  
Слегка колеблющийся луч.  
Поймал на радость окнам, скверам,  
Вдруг просиявшим оттого,  
И отразил всем Селигером,  
Всем водным зеркалом его.

И сразу солнечные пятна  
Пошли, блистая, нарасхват.  
Молочной зеленью стократно  
Раздался Набережный сад.  
Волной и дегтем пахла пристань.  
Пел катер в млеющей дали.  
И увеличивались листья,  
И сушили колеи.

...Гнал ветер тройку туч отставших.  
Пройдя сквозь домиков ряды,  
Мы с дамбы видели Осташков,  
Встававший прямо из воды.  
Его заборы, стены, крыши  
В лучах пестрели. И рвалась  
Над жестью, дранками все выше  
Листва. И радовала глаз.

Там, в стороне, неутомимо,  
За колокольней, кожзавод,  
Подъяв трубу, метелкой дыма  
Прозрачный чистил небосвод.  
А здесь — законом под опеку  
Взята, — в пейзаж внося свое,  
Стена осьмнадцатого века  
Оберегала кожсырье.

И все из озера вставало,  
По пояс в солнечной воде.  
Моторка голос подавала,  
Скользя по синей борозде,  
А в переулках тишь стояла,  
Как будто время там не шло,  
А только бабочкой сновало  
Да из-под лип травой росло.

Но невозможно оторваться  
От общих действий ни на час.  
Но в дождь и ведро жадно длятся  
Дела, связующие нас.  
И на ходу в машину села  
Душа, предчувствуя поля,  
Где дыбилась в горячке сева  
Тревожно-влажная земля.

# Валентин КУЗНЕЦОВ

---

## ГОРОД В ПОЛНОЧЬ

Разгладил ветер  
ночь-холстину,  
поставил месяц  
в вышину.  
И, в сон уйдя  
наполовину,  
накинул город тишину.  
По водостокам  
свет сочится.  
У темных зданий  
строгость лиц...  
Тебе сегодня  
не приснится  
неотразимый блеск  
столиц,  
и не Алушта,  
и не Нальчик,  
с луной и морем  
в головах.  
Тебе приснится  
город-мальчик  
в сибирских каменных снегах.  
Молоденький  
и неокрепший,  
ну так, иголочка  
в стогу.

Стоит он,  
от костров ослепший,  
на енисейском  
берегу.  
Постукивает каблуками,  
течет усталость  
по лицу.  
Он тянется к тебе  
руками,  
к седому городу-отцу.  
Рубаха жаркая намокла,  
его сечет  
и дождь  
и град.  
Твои зашторенные окна  
его нисколько не манят.  
Проснись!  
Проснись!  
Вздохни глубоко.  
Уже поет на крышах  
снись.  
Своим тяжелым, добрым окном  
ты землю раннюю окинь.  
Проснись!  
И сон отбрось подальше,  
довольно в ступе ночь топочь...  
Тебе приснился город-мальчик,  
и ты слезу роняешь в ночь.





## НЕСКОЛЬКО КНИГ

Вот несколько книг, на выход в свет которых мне хочется откликнуться, тем более что они подарены мне их авторами. То, что здесь написано, вовсе не исчерпывающие рецензии, я не критик, я в данном случае читатель и пишу о том, что меня задело в творчестве моих собратьев по перу — двух москвичей, киевлянина, псковитянина, севастопольца, кубанца...

Иван Тучков. Рабочая улица. Из серии «Первая книга поэта». Симферополь, Крымиздат, 1963.

Я трудно о тебе пишу,  
Но не писать еще труднее, —

говорит Иван Тучков, обращаясь к родине, и это — искреннее признание. Да, ему зачастую еще трудно находить свои слова. Особенно нелегко, если, как ему кажется,

Бредит роща стихами Есенина...

И как тут не поддаться соблазну спеть и свою песню на есенинский голос!

Однако Тучков понимает, что как ни прекрасен Есенин, но ему, Тучкову, следует быть самим собой, поэтом, вступающим в литературу более чем через четверть века со времени смерти Есенина. И вот в песне о России он рассказывает о том, о чем знает не из литературы, а из жизни, прежде всего, конечно, о себе:

Я вагонные крыши грел  
Животом (подтвердите, звезды),  
Я макуху тащить не считал за грех  
У базарных торговков толстых.

«Вырастал без отца и без матери». Отца убили на войне, мать умерла. Скитался. Затем — детский дом, а потом попал в ремесленное училище, а после стал литейщиком-формовщиком в Севастополе, увидел «Весну в цеху», почувствовал, что «под Севастополем в тихие полдни слышно, как дятел стучит где-то в Болдино», «услышал, как рукоплескали, когда наш спутник стартовал», и в конце концов (обо всем этом рассказано в книжке) пришел к осознанию того, что

У нас особенные меры,  
У нас шаблонных мерок нет.  
Я старожил. Я прожил эры,  
Хоть мне едва за двадцать лет.

Рассказано обо всем этом, повторяю, не всегда одинаково убедительно, часто Ивану Тучкову не хватает слов, и он берет их из арсенала лите-

ратуры. Можно говорить и о разных влияниях, но все же маленькая книжка «Рабочая улица» свидетельствует о том, что в Севастополе растет способный, умный, сознающий всю сложность своей миссии молодой поэт.

Игорь Григорьев. Листобой. Стихи, поэмы. Издательство «Молодая гвардия», 1962.

Игорь Григорьев, псковитянин, сражавшийся с оккупантами в годы Отечественной войны, помнит, как

Тускнело солнце в черном небе,  
Плясал огонь  
В созревшем хлебе.

Григорьев полон любви к своей стране, и так же, как и севастополец Тучков, он ищет слов, чтобы выразить эту любовь. Но хотелось бы обратить его внимание на то, что он иногда пользуется не своими словами, а словами, заимствованными из литературы, черпавшей, в свою очередь, свои образы и обороты из фольклора былых времен, но разукрашивавшей этот фольклор на свой, зачастую сусальный, литературный лад. Такие стихи Григорьева звучат книжно:

Обоймет  
Молодая теплынь,  
Заведет, не спрося,  
В купыри  
И такую поведает синь,  
Хоть губами,  
Хоть горстью бери!

Ох и любо  
К духмяной груди,  
Обо всем позабыв,  
Прикипать.

Но чутье и такт художника берут свое. И, начав порой с довольно претенциозных красотей:

День засеян буйным светом:  
Весь насолнчен.  
День усеян разноцветом  
Неумолчным, —

Игорь Григорьев вдруг скидывает с поэзии своей одежды ветхие и дальше уже говорит своим голосом:

День доверчив, как ребенок.  
Росной ранью  
Он криклив, как сто бабенок  
На собранье!

День как ворон недоверчив —  
Зоркий, хмурый.  
Сладкий пыл его подперчен  
Пылью бурой.

Вот когда день действительно становится

как песня, прост и складен,  
Ладен, ясен.

Иван Варавва. Девушка и солнце. Лирика. Краснодарское книжное издательство, 1962.

Слуга дешевый капиталу,  
Он все, что видел, в лапы греб,  
Покуда пуля не попала  
В его покатый волчий лоб.

Его трусливые солдаты  
Ушли под щит гранитных стен,  
А он лежит лицом к закату,  
Добыча грифов и гиен.

О ком это? О бельгийском наемнике в Конго. Кто так взволнованно написал? Кубанец Иван Варавва. В его книге хватает и слабых, на мой взгляд, стихов, реминисценций, вроде таких, например, строк: «Осыпаются желтые листья, сад веселый раздет и помят, лишь рябины горячие кисти, словно щеки невесты, манят» или «Разбуди меня раннею зорькою мальчуганом пятнадцати лет», — но через все это, через сухую или вяло зеленеющую изгородь не своих напевов, иногда, и очень отчетливо, виден и сам Иван Варавва. Он подает свой голос, и он вправе сказать о своей любимой:

Я тебя выдумал — нежную, жгучую,  
Волосы — вихрь непричесанной ржи.  
Мир освети мне звездой непадучею,  
К счастью тропинку мою укажи, —

хотя, сказав это, может и, сбившись с ладу, закончить столь хорошо начатое обращение такой неуклюжей концовкой:

Парни проходят знакомою улицей,  
Смотрят внимательно из-под бровей,  
И по тебе основательно журится  
Сердцем томящийся соловей.

Хочется, чтоб Иван Варавва писал обо всем так же хорошо, как о «Пропагандисте», «Борее», «Дороге полей», и старался, говоря его же словами, чтоб не

таяли ровные строки  
Беззвучно, безгласно,  
Как легкие тени  
В потоке полдневного света.

Леонид Вышеславский. Звездные сонеты. Москва, «Советский писатель», 1962.

«Сонет — строгая форма», — написано в словаре поэтических терминов. Но если бы Леонид Вышеславский не нарушал этой строгой формы, так он бы не написал той любопытной книги сонетов, которая им издана в прошлом году. Лишь теперь, когда отдельные сонеты Вышеславского, печатавшиеся в периодических изданиях, собраны в одно целое, становится ясным интересный замысел поэта: отталкиваясь от классики, выразить динамику современности, вливая новое содержание в соответственно обновляемые формы.

И естественно, что эта книга понравилась космонавту Ю. Гагарину. «Это лучшее, что за последнее время я читал о космических полетах», — пишет он в предисловии к «Звездным сонетам».

Чтобы понять своеобразие этой книги — своеобразие ритмическое, фонетическое, логическое, надо эту книгу прочесть. Это именно книга, а не сборник, здесь ничто не случайно, одно вытекает из другого, сонеты

намеренно контрастны и по форме и по содержанию, они то героичны, то лиричны, то ироничны. И чтобы установить взаимосвязь всего этого, надо прочесть книгу от начала до конца, что мы и рекомендуем сделать читателям.

Виктор Гончаров. Глаза говорят. Стихи. Москва, «Советский писатель», 1962.

Пересказывать чьи-либо стихи своими словами — задача, в сущности, невыполнимая. Скажем только, что житейские повести, которые Виктор Гончаров рассказывает в стихах «Друзья мои», «Уличный друг», «Вулкан», интересны и, при всей своей субъективности и автобиографичности, бросают свет на время, на эпоху. Кроме того, эти, как и многие другие, стихи данной книги дают ответ на вопрос: стоит ли в наше время писать свободным и белым стихом. Да, конечно, можно, если у автора есть талант. Тогда выясняется, что и белый стих держится на каких-то более или менее ярко выраженных созвучиях, свойственных его автору. А что касается размера, так ведь в хороших стихах он всегда чем-то нов и неповторим: хорей «Калевалы» не таков, как хорей «Гайаваты», а хорей «Гайаваты» — это не хорей «Ворона» Эдгара По, тоже вовсе не похожий на хорей русской народной песни «Ах вы, сени мои, сени». Возвращаясь к Гончарову, можно сказать, что непосредственностью интонаций книга так же привлекательна внутренне, как и внешне — своим оформлением. Художественное оформление сделано самим автором. Книгу украшают репродукции пяти больших скульптурных работ и миниатюр — резьба на косточках фруктовых деревьев. Эта резьба создает привлекательные заставки. Что же касается больших скульптур, то жаль, что их мало: у Гончарова что ни год, то их больше и что ни год, они интересней, и надо надеяться, что в следующей книге он репродуцирует и те новые интересные работы, которые выполнил в Крыму в 1962 году, в году издания данной книги.



# Владимир ДАГУРОВ

---

## НА ТОКУ

На току по-мужски  
прямо из-под веялки  
мы таскаем мешки,  
как на муравейнике.

Под мешочком спина  
с хрустом прогибается,  
и земля как спяна  
подо мной шатается.

Неуклюж, косолап,  
двигаюсь, сутулый,  
будто я — космонавт  
где-то на Сатурне.

С плеч бросаем в амбар  
с точностью обряда.  
От ковбойки аж пар,  
как идем обратно.

Вот уж ночь.  
Трактора  
бьют в глаза нам фарам.  
Под шальное «ура!»  
сбрасываем фартуки.

Я устал — вот и лег  
с гордостью корчагинца...  
Шар земной как мешок  
за спиной качается!

# Юрий КОРИНЕЦ

---

## СТИХИ О СТИХАХ

*Юрию Казакову*

В мерцанье плоскостей, углов и линий  
Лежат в моей квартире, в тишине,  
Стихи мои, тоскуя обо мне  
И беспокоясь, как о блудном сыне.

Как странно, но они умней меня!  
В молчанье ночи и в трезвоне дня  
Они бранят мою тоску и спешку,  
Храня вдали печальную усмешку.

А я мечусь. Мои познания зыбки.  
Я спотыкаюсь, делаю ошибки.  
Порою ходит кругом голова —  
Так мучают пустые передраги...  
А возвращаясь, вижу на бумаге  
Спокойные и мудрые слова.

\* \* \*

О, как весь мир звенел кругом  
Твоими каблучками,  
Посудой.  
Смехом.

Ночью.  
Днем.  
Стихами и смычками!

Ты для меня была звеном,  
Которым был я связан  
С друзьями,  
С комнатой,  
С окном,  
И с тополем,  
И с вязом.

Через тебя  
Вещей и слов,  
Земли и звезд  
Касался.  
Одно лишь  
Выпало  
Звено —  
И целый мир распался!

Да что там долго говорить:  
Разрыв сварить — не суп сварить.  
Зажечь бы горы, степи,  
Чтоб на невидимом огне  
Вновь прикипела ты ко мне  
Звеном каленой цепи!

## ВЕЛИКИЙ ПОЧИН

Учитель, по установившейся вульгарной традиции, — это человек, которому надо подражать.

Я с этим несогласен. Учитель в искусстве — это человек, который помог тебе стать самим собой.

За примерами идти недалеко. Пушкин никак не похож на Державина, но если бы не было Державина, я не знаю, что было бы с Пушкиным.

И тут моя жизнь начинает о себе напоминать. И вот я снова, как в 1923 году, приезжаю в Москву и знакомлюсь с великолепным советским поэтом Василием Васильевичем Казиным. Это был лучший поэт литературного объединения «Кузница». Это был первый поэт, поразивший меня своим мастерством.

Пройден длинный путь от первой книги «Рабочий май» до пока что последней «Великий почин». То же мастерство, та же лаконичность, тот же выпуклый образ, та же необыкновенная доброжелательность.

Я читал много стихов о первом ленинском субботнике, но такого добротного произведения на эту тему я еще не читал. Ленин описан скупо, но очень доходчиво. Строфы предельно насыщены. Я приведу несколько, покоровивших меня.

...Уж быть бы не могло морозов,  
Но, зная, Республике назло  
Разруха, все перекорежив,  
И маю срезала тепло...

И вдруг «Интернационал»  
Казанцы грянули — и хора  
Взволнованность и слов накал  
Величественный поднял,  
Понес всей бурей в ширь простора,  
Как будто в роли дирижера  
Сам грозный век наш выступал.

...Как ныне в свет лица родного —  
В страну всмотрюсь я и назад  
Вдруг оглянусь, то, право слово,  
Я просто как мальчишка рад,  
Что красоту ее, наряд  
От мусора, хламья дурного  
В тот день очистило в Перово  
Немало и моих лопат...

А вот о Ленине:

Он, как орел высокогорный,  
Провидел то сквозь даль дорог,  
Что даже и с трубой подзорной  
Наш глаз увидеть бы не смог.

Такими сердечными строфами пересыпана вся поэма. Она принесет колоссальную пользу, ибо Василий Васильевич Казин при всем своем мастерстве никогда не выпускает из виду человека. Он настолько своеобразен, что, если бы даже под его стихотворением не было подписи, я бы все равно узнал, кто автор.

Поздравляю тебя с новой хорошей книгой, дорогой мой Василий Васильевич!

# Евгений ВИНУРОВ

\* \* \*

Весна. Мне пятнадцать лет.  
Я пишу стихи.  
Я собираюсь ехать в Сокольники,  
Чтобы... бродить с записной книжкой  
По сырым тропинкам.

Я выхожу из парадного.  
Кирпичный колодец двора.  
Я поднимаю глаза:  
Там, вдалеке, в проруби,  
Мерцает, как вода,  
Голубая бесконечность...  
Но я вижу и другое.  
В каждом окне я вижу женские ноги.  
Моют окна. Идет весенняя стирка и мойка.  
Веселые поломойки! Они как греческие  
празднества

В пору сбора винограда!  
Оголяются руки. Запиливаются узлом  
волосы.  
Подтыкаются подолы. Сверкают локти  
и колени.

Я думаю о тайне кривой линии.  
О, лекало человеческого тела!  
Я опускаю глаза. Хочу пройти через двор.  
Но он весь увешан бельем...  
Огромная выставка интима.  
Музей исподнего.  
Гигантская профанация женственности!  
Здесь торжествуют два цвета:  
Голубое и розовое.  
В своем бесстыдном разгуле плоть  
Подняла эти два цвета, как знамя,  
Коварно похитив их у наивности.

Я пытаюсь все-таки пройти на улицу,  
Увернувшись от простыни,  
Я ныряю под ночную сорочку,  
Я вынырываю так, что шелковые чулки  
Оказываются около лица.  
Я поднимаю глаза. Там, вдалеке, в проруби,  
Как вода, мерцает голубая бесконечность...  
Я облегченно вздыхаю,  
Но вижу, что там проплывает облако,  
округлое,  
Как женщина.

\* \* \*

Добрался полк до винных погребов.  
Конца нет закарпатским погребам!  
Из касок пьют, во глубь уйдя до лбов,  
И лишь вино стекает по губам.  
В железной каске забродивший сок!..  
Имевший прежде дело с первачом,  
Кричит солдат: — Попробуй! Как квасок!  
Оно же нам, ей-богу, нипочем!.. —  
И вдруг гармонь! Нажали на баса!  
А в подземелии полутемно.  
И смотрят в амбразуру небеса,  
Чья синь легка, как легкое вино.

## МЫСЛЬ

Мысль моя петляла и плутала.  
Все пешком тянулась, все пешком!  
Отдыхала на пеньке устало.  
Снова ковыляла с посошком.  
Мыслить — это долг! И это — право!  
Нам дана, чтоб мыслить, голова.  
Мысль моя,  
так отчего ж ты, право,  
С палочкой ползешь, едва-едва?  
Сладко мыслить?  
А начать пора бы!  
Я ж так мало сладости вкусил!  
Мысль моя,  
о как колени слабы!  
Ну еще бы шаг!  
Да нету сил!

\* \* \*

Вдруг захотелось правды мне,  
Как кислого — больному.  
Так русского в чужой стране  
Вдруг да потянет к дому!

Казалось бы: на что она?  
А мне — хоть мало проку! —  
Как пить в болотце из «окна»,  
Раздвинувши окоу.

Что мне она? И что я ей?  
Какая в ней пожива?  
А правда мне всего милей  
Одним — она не лжива.

Как мел, наскобленный в горсти  
Со стенки!

Ведь, бывало,  
Ее, как извести в кости,  
Мне часто не хватало.

Как хлеба пес — рывок, и съем! —  
Я жду со ртом разъятым,  
Еще не зная будет чем:  
Лекарством или ядом.

## Татьяна ГЛУШКОВА

---

### К ПОРТРЕТУ КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ

Поэтессы — с руками крестьянок  
застенчивых,  
с озаренными давней кручиной глазами,  
с полевыми в студеном кувшине цветами, —  
поэтессы, не выученные наизусть!

Одиноко умершие,  
ничего не умевшие, —  
только слово, как птица, послушно руке...  
Как устало глядит эта русая женщина  
в этом клетчатом, синем, тревожном платке!

## Владимир БРИТАНИШСКИЙ

---

\* \* \*

Зреет рожь.  
Розовеет.  
Рдеет.  
Свет идет изнутри зерна.  
Всё — оттуда:  
утро и вечер.  
Степь, как в праздник, озарена.

Хлеб мой —  
тело мое будущее!

Золото мое нетленное!  
Мое движущееся,  
думающее,  
мое любящее тело!

Отлетит пустая полова.  
Шевельнешь ты рукой-ногой...

Сколько неба над тобой  
голубого,  
над счастливой твоей наготой!





## О ВЕТРЕ С ВОЛГИ И О ПОЭТИЧЕСКОЙ ПОДЛИННОСТИ

В Горьком я вошел в магазин за одной из последних новинок здесь-него издательства — книгой Владимира Автономова «Ветер с Волги». Я был почти уверен, что встречу ее тут, ведь сборник вышел совсем недавно... Однако книги не было ни на первом, ни на втором, ни на третьем прилавке. Я огорчился, но вместе с тем и обрадовался за поэта, — значит, его стихи не относятся к числу тех, что пылятся непроданными.

Чем же привлекли они читателей?

«Ветер с Волги» — вторая книга В. Автономова. Первая вышла в Горьком в 1955 году и тоже быстро разошлась.

Автономов выпустил свою первую книгу не в молодости — по воле нелегких обстоятельств много лет он не имел возможности сделать это. Его поэтическое развитие вершилось в тени, и пришел он к читателю уже сложившимся поэтом — со своими темами, со своими радостями и горестями.

Да, было мне больно... Спасибо друзьям!  
Идя вместе с ними, я понял по праву:  
Родная земля открывается нам,  
Где сам ты куешь ее силу и славу.

Стихи В. Автономова волнуют... Они волнуют потому, что за ними стоит часть не только поэтической, но и человеческой биографии, огромная внутренняя убежденность.

Автономову сродни, на мой взгляд, творчество Я. Смелякова, Б. Корнилова, Б. Ручьева. Я называю эти имена не затем, чтобы указать на зависимость Автономова от этих поэтов, а чтобы выяснить родство, творческие связи, традицию.

Во многих своих стихах поэт выставляет на первый план важные этические принципы. Заволжская тайга дорога ему синими чащами, разливами рек, лугами, а прежде всего тем, что здесь трудятся товарищи детства, «чья совесть с лесными озерами сравнится своей чистотой». Чистая совесть — это мера не только уважения, но и любви к человеку, это источник нравственной силы.

...Я закрываю сборники В. Автономова. Да, мне понятно, чем его стихи привлекают читателя. В них запахи леса и поля, волжские рассветы и закаты, в них близкий сердцу рассказ о рыбаках, бакенщиках, рабочих, чьи помыслы чисты, на чьих руках неожиданный огонь спички освещает мозоли.

Мне дорог этот мир поэта.



## Дмитрий КОВАЛЕВ

---

\* \* \*

Больно мы на осужденья скоры.  
Грусти опасаемся,  
Вина...  
А у человека, может, горе —  
И не знаю, в чем его вина.

А по-моему:  
Смешно — дай волю смеху.  
Ну, а если тяжело —  
Поплачь.  
Всем,  
Ей-богу, это не в помеху.  
Век —  
Он тоже сердцу не палач.  
И не следует  
Себя бояться.  
И не надо  
Будущему льстить...  
Дайте человеку посмеяться!  
Дайте человеку погрустить!

\* \* \*

Я тишину люблю.  
Но тихих —  
опасаюсь...  
Они всегда имеют что-то про  
себя...  
При встречах  
одиночеством спасаюсь.  
Жалел не раз,  
тихоням пособия...

Остерегайтесь доброты той липкой,  
что по губам  
и по усам течет...  
Столкнут с обрыва  
с ангельской улыбкой,  
при всех...  
когда наверняка расчет.

### ПРИВЫЧКА И ЛЮБОВЬ

Приникну лбом —  
в дождях круги оконные.  
Привычка и любовь —  
враги исконные.  
Страшусь привычки  
и любви хочу  
такой,  
что нам вдвоем не по плечу...  
А за стеклом —  
селенья мимолетные.  
А темнота —  
как глубина подледная.  
Лед примораживает,  
а быстрик сосет.  
Привычка держит,  
а любовь несет...  
Но кто кого —  
век не дает ответа  
и только  
задыхается от ветра,  
от жадного паденья в высоту —  
и раздирает души на лету.

## Владимир ЖУКОВ

---

### КАЙСЫПУ КУЛИЕВУ

Ни о чем не загадывали  
парни рисковые.  
Парашюты укладывали,  
финки

в ножны засовывали,  
погибали от дома  
в неизвестной дали.  
Но и жить по-иному  
в годы те не могли.  
Лишь жила б только родина

да цвела она —  
родина.  
Да была бы верна  
от врагов загородина...

Вы скажите мне, горы,  
как пробиться на Нальчик.  
Где тот самый, который  
и поэт и десантник.  
Не сегодня он начал,  
смирится не скоро —  
для кого и к досаде,  
кому и на горе,  
всем бескрылым — на зависть,  
друзьям на добро.  
Тридцать весен он ставит  
слова на ребро.  
Он немножко бравивирует  
песенным даром.  
Не поймите навыворот —  
и такое не даром:  
в жизни всякое было —  
не былшем поросло.  
Било с фронта и с тыла,  
прямо в душу мело.  
Похоронную тенькала  
птаха-синица.  
Было небо над Тейковым —  
извели на петлицы...

Ни о чем не загадывали  
парни рисковые.  
Парашюты укладывали,  
финки  
в ножны засовывали.

### ПИСЬМО НА КУБУ

В победном сорок пятом было голодно.  
Пустил в расход и книги. Но шинель  
оставил я,  
поскольку честью смолоду  
нам дорожить завещано, Фидель.  
Мы резаные, штопаные, стреляные,  
с избытком в нас  
и бронзы и свинца.  
Но, с пульсом революций  
с детства сверенные,  
о ребра нынче грохают сердца.  
Стара шинель с пехотными петлицами,  
да не в простом получена году.  
И волосом хоть рус,  
но за кубинца я  
за счет эмоций, видимо, пройду.  
За тыщи миль Иваново от берега,  
где врылся в глину станковый расчет.  
Но сердцем я на Кубе. И Америка  
не сможет, не посмеет, не пройдет.

## Владимир ГНЕУШЕВ

---

### В СЕБЕ НЕСЕМ ТОВАРИЩЕЙ СВОИХ...

*Памяти журналиста и друга  
Володи Воинова*

Товарищи уходят,  
как сдаются  
той, что навеки проклята давно.  
— Оставайтесь! — говорим.  
Не остаются.  
— Вернитесь! —  
Возвращаться не дано.  
И всё.  
И тихо кружатся над ними  
то холод зим,  
то зыбкий летний зной.  
Могилы пахнут птицами степными,  
пыльным ветром  
и голубиной.

И всё.  
И только ветер треплет листья  
вдоль тех оград,  
с утра и дотемна,  
где, словно пламя, светят обелиски  
и звезды рдеют,  
словно ордена.  
Мы в смерти их виним порою что-то:  
то северную долгую метель,  
то сдавшиеся крылья самолета  
или болезнь,  
свалившую в постель.  
Да, это все проклятия достойно.  
Но ты, печаль,  
ослепнуть не должна.  
Я знаю, что солдат уносят войны,  
а чем работа наша  
не война?



## ЛИРИЧЕСКАЯ ТЕМА

*О стихотворении А. Твардовского  
«Космонавту»*

Лирические стихи вбирают в себя личный и общественный опыт поэта. С личным опытом связана его творческая индивидуальность, с общественным — общезначимость идей и образов, народность поэзии. Это разделение, разумеется, чисто условно, приблизительно, ибо диалектика познания жизни, поэтического выражения даже глубоко личных чувств и переживаний такова, что здесь теснейшим образом сходятся и переплетаются интимное и публицистическое, выношенное в одном сердце и общечеловеческое.

Нет ничего удивительного в том, что почти у каждого поэта есть свои излюбленные мотивы, свои темы, особенно дорогие ему, особенно близкие личным чувствам и переживаниям, связанные с острой нравственной реакцией на те или иные события в жизни народа. Обогащенные общественным опытом, осмысленные, как говорил В. И. Ленин, под социальным углом зрения, они, не теряя индивидуальной окраски, возникают в разные годы то в лирических стихах, то в эпике, то в полифонии лиро-эпических поэм.

Я не раз задумывался над природой постоянства некоторых мотивов в творчестве таких крупных поэтов, как Блок, Маяковский, Есенин. У дарований менее значительных, может быть, и можно было бы заподозрить некую узость наблюдений и скованность воображения в страсти к некоторым темам, в их варьировании. У больших поэтов не было и нет недостатка ни в опыте, ни в воображении. И они не варьировали излюбленных тем. Они осмысливают их с вершины нового опыта и нового знания.

Но что же все-таки вновь и вновь обращает мысли поэта к событию, политической или нравственной проблеме, которым он уже отдал лучшую часть своей души? Почему «тема о России» стала для Блока тем, что и составляло весь смысл его жизни?

Не буду пытаться дать исчерпывающий ответ. Вероятно, его надо искать в характере и обстоятельствах жизни поэта, в его связи с общественными проблемами. Для Блока, сделавшего свое признание о кровной привязанности к теме о России, об интеллигенции и народе в годы разгула реакции и краха интеллигентских мечтаний, образ России, родины был тем «путеводительным маяком», тем светочем, который питал его творчество, придавал ему силы.

Но может быть и так, что одно событие на многие годы захватит все помыслы поэта, послужит нравственным плацдармом его поэтического восхождения. Нагрянут другие события, значительные и яркие, он радуется им, торжествует, но и за праздничным застольем не забудет вспомнить о том, что навсегда запечатлелось в сердце.

Для Александра Твардовского таким событием стала Великая Отечественная война. Подвиг народа в войне, ее будни, тяжелый ратный труд солдата на фронте — все это стало глубоко личной темой Твардовского. «Василий Теркин» был, по признанию самого поэта, его лирикой и публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разго-

вором по душам и репликой к случаю. Личное, авторское, от самого сердца идущее проникает всю эпическую основу «Книги про бойца» и связывает ее в единое и стройное целое.

В «Василии Теркине» поэт шел по горячим следам войны, книга была его прямым откликом на эти события, его словом о войне. Словом зовущим и вдохновляющим. Элегические мотивы, связанные с воспоминаниями о родной смоленской стороне, стонущей под сапогом захватчиков, с бедствиями народа, ввергнутого в войну, прорывались в лирических главах книги, но в целом тональность «Василия Теркина» определялась убежденной и призывной верой в победу.

В послевоенной лирике А. Твардовский снова и снова обращается мыслями к минувшей войне, пытается постичь ее историческое величие, величие подвига народа, спасшего мир от фашистской чумы. И здесь с особой отчетливостью выделяется тема долга живых перед павшими в войне, их великой ответственности за будущее, ради которого народ принес бесценные жертвы. Этим чувством было продиктовано потрясающее по силе стихотворение «Я убит подо Ржевом». «Жестокая память» об этих жертвах омрачает жизнь. Вспомните еще раз эти строки, написанные в 1951 году:

Тружусь, и живу, и старею,  
И жизнь до конца дорога,  
Но с радостью прежней не смею  
Смотреть на поля и луга,

Росу обивать молодую  
На стежке, заметной едва,  
Куда ни взгляну, ни пойду я—  
Жестокая память жива.

Никто не усомнится в искренности этих строк поэта-фронтовика, участника войны. Мне кажется, в связи с этим надо с особой чуткостью отнестись к стремлению поэта преодолеть в себе тяжелое, гнетущее чувство, близкое внутренней прострации, обрести уверенность в себе, заряд сил и вдохновенья для творческой работы во имя сегодняшнего дня, во имя будущего. Трезвым практическим умом он понимает:

Но если б мы одной лишь скорбью жили,  
Мы были б нынче недостойны их.

Преодолеть в себе чувство все подавляющей скорби Твардовскому удается большим напряжением духовных сил под влиянием поистине великого размаха коммунистического строительства, всенародной устремленности к тем конкретным практическим целям, которые партия указала нашим людям. Эти свои ощущения он выразил словами Гоголя: «Вдруг стало видимо далеко во все концы света». Стала видима взору поэта «за далью — даль».

Поэма «За далью — даль» — это и лирика и эпос наших дней, в ней отозвались «наши труд и мысль, и наша молодость и зрелость, и эта даль, и эта близь». С этой новой ступени духовного обновления и возмужания поэт опять ворошит память о минувшей войне:

Та память вынесенных мук  
Жива, притихшая, в народе,  
Как рана, что нет-нет — и вдруг  
Заговорит к дурной погоде...

Однако вызывает она, эта память, иные чувства, иные устремления.

Но, люди, счастье наше в том,  
Что счастья мы хотим упорно,  
Что на века свой строим дом,  
Свой мир живой и рукотворный.

Он всех людских надежд оплот,  
Он всем людским сердцам доступен,  
Его ли смерти мы уступим?..

Читая Твардовского хронологически, мы чувствуем, как верно заметил А. Сурков, «отзвуки непрерывной борьбы, происходящей в сердце поэта, отзвуки непрерывных усилий подняться, встать над всем, что было раньше, не отрекаясь от самого себя...».

...Обо всем этом я подумал еще раз, прочитав стихотворение А. Твардовского «Космонавту». Мне кажется, только так и можно понять стихотворение ли, поэму, любое новое произведение поэта, когда увидишь его в ряду других, увидишь развитие и обогащение лирической темы.

В потоке стихов о покорителях космоса оно обратило внимание этим глубоко индивидуальным, от самого себя идущим взглядом на событие, этим развитием собственной лирической темы даже в осмысливании очень конкретного и на первый взгляд далекого от нее события величайшей исторической важности.

Стихотворение воспринимается как и то г раздумья, исходные ассоциации находятся за его пределами, они в сердце поэта, они угадываются. Твардовский не высказывает изначального побуждения, он конденсирует главную мысль, которая обогащается ныне новым содержанием, новыми идеями. Можно было бы сформулировать ее как тему преемственности, продолжения подвига.

История не движущийся калейдоскоп, а трудный путь деяний народа, восхождение к вершине. Величайшие социальные завоевания, революции, научные открытия связаны с тем невидным, не отмеченным блеском славы обыденным подвигом народных масс, с теми жертвами, которые подготавливают великие события, увенчиваются ими. Забывают ли об этом? Разделяя всенародное торжество, восхищаясь подвигом покорителей космоса, поэт вспоминает и о тех, чей подвиг «в будний день войны» не был, да и не мог быть отмечен столь громкой и заслуженной славой. Задушевна интонация этого лирического послания:

Когда аэродромы отступленья  
Под Ельней, Вязьмой иль самой Москвой  
Впервые новичком из пополненья  
Давали старт на вылет боевой,

Прости меня, разведчик мирозданья,  
Чьим подвигом в веках отмечен век, —  
Там тоже, отправляясь на задание,  
В свой космос хлопцы делали разбег.

И пусть они взлетали не в ракете  
И не сравнить с твоею высоту,  
Но и в своем фанерном драндулете  
За ту же вырывались черту.

За ту черту земного притяженья,  
Что ведает солдат перед броском, —  
За грань того особого мгновенья,  
Что жизнь и смерть вмещает целиком.

Здесь уже нет напоминания о жертвах, нет жестоких строк, обращенных к себе. Это мужественный, уважительный и сердечный разговор



с младшим современником, который все поймет, ибо он воспитан в уважении к подвигу отцов и старших братьев, он продолжает их дело.

Элегические воспоминания поднимают в душе волну горьковато приправленных благодарных чувств, но мысль поэта рвется из плена воспоминаний.

Но не затем той памяти кровавой  
Я нынче вновь разматываю нить,  
Чтоб долю твоей всемирной славы  
И тех героев как бы оделить.

У них своя судьба, говорит поэт, они причастны своей, «особой славе, принятой в бою». Так что же заставило его оглянуться назад, в прошлое, что заставило снова вспомнить трудные дни войны? Радостное открытие родства поколений, преемственности подвигов во имя общего святого дела. Поэта воодушевляет сознание того, что не напрасно принесены жертвы, что живые достойно продолжают путь в будущее.

Но кровь одна, и вы — родные братья,  
И не в долгу у старших младший брат.  
Я лишь к тому, что всей своею статью  
Ты так похож на тех моих ребят.

И выправкой, и складкой губ, и взглядом,  
И этой прядкой на вспотевшем лбу...  
Как будто миру — со своею рядом —  
Их молодость представила судьбу.

Так сохранилась ясной и нетленной,  
Так отразилась в доблести твоей  
И доблесть тех, чей день погас бесценный  
Во имя наших и грядущих дней.

Грустное воспоминание не омрачает радости великого события нынешнего дня, события, потрясшего весь мир и возвеличившего нашу родину и народ. Твардовский своим воспоминанием соединил подвиг «разведчика мироздания» с подвигом предшественников. В его стихотворении отозвались и радость победы в космосе, и гордость за нашего современника, родного брата многих безвестных героев. Узнавание их молодости и судьбы в молодости и судьбе героя космоса и вдохновляет поэта, утверждает в нем веру в наши силы, в будущее.

От солдатского завещания воина, павшего в безымянном болоте подо Ржевом, завещания живым «родимой отчизне с честью и дальше служить», от мучительных строк «жесточкой памяти» — к стихотворению «Космонавту». С этой новой исторической ступени, прочно утвердившись в сознании непрерывности народного подвига «во имя наших грядущих дней», развивает А. Твардовский столь близкую его сердцу лирическую тему.



## Лев ОШАНИН

---

\* \* \*

*Александр С.*

Сразу всю не подбрасывай хвою —  
Слишком будет в огне быстра...  
Он, сутулясь, молчит. Нас двое.  
Нынче грустно нам у костра.  
От недуга или испуга  
Или что неожиданна беда, —  
Не умею узнать я друга  
В этой глыбе тусклого льда.

...Крупный, яростный, громкогласный,  
Щуря глаз озорным смешком,  
Шел он в горы походкой властной  
С независимым молотком.  
Шел по серым пескам, которым  
Отдал душу, и страсть, и гнев.  
В тридцать три уже стал «членкором»,  
До того еще польсев.  
Польсев в блиндаже горбатым,  
В волжской битве добра и зла,  
В час, когда на него, комбата,  
«Похоронка» домой пришла.

Я с ним встретился в снежной стуже,  
В белой непогоде наук,  
Где он был до реззу нужен,  
Мой негаданный новый друг.

В сорок лет подружиться трудно.  
Но у дружбы большая власть.  
В этом белом краю малолюдном  
Невзначай она началась.  
Кто виной тому? Может, город,

Мною строенный в давний век.  
Только стал почему-то дорог  
Этот именно человек.  
Рядом наши бежали годы —  
За две, за три тысячи верст.  
Жизнь швыряла в огонь и воду,  
Клала в наст, поднимала в рост.  
И без всяких «зачем» и «если»  
Был в ладу он с любой судьбой,  
В тундре и в министерском кресле  
Оставаясь самим собой.

Пусть нагрянул час не пустяшный,  
Все еще поправимо, брат, —  
Только ты не молчи так тяжко,  
Пока ветки сосны горят.  
Ты улыбкою проводи их,  
Это пламя не торопя.  
Первый приступ стенокардии  
Не посмеет свалить тебя.  
Разве дума твоя ночная  
Может кануть в пустых ночах?  
Или разве земля родная  
Не на наших пока плечах?  
Значит, не закричим навзрыд мы.  
А, идя навстречу огням,  
Просто в новые врезать ритмы  
Наши жизни придется нам.  
Чтобы не повторилось это, —  
Как в расцвете летящих лет  
Руку не дотянул за газетой  
Старший друг мой Назым Хикмет.  
...Ночь еще далека. Нас двое  
Непокладистых у костра.  
Сразу всю не подбрасывай хвою —  
Слишком будет в огне быстра.

## Яков ШВЕДОВ

---

**ИВАН-ДА-МАРЬЯ**

За темной рощей, синей далью  
Стою в раздумье — сам не свой.  
В лугах цветков иван-да-марью  
Я не могу скосить косой.

Какой он чистый, право слово,  
Росой увенчанный цветок.  
Огонь оранжевый, лиловый  
Ведь это он в траве зажег.

Его скромнее нет на свете,  
Я с детских лет своих влюблен  
В его лучистое соцветье,  
В созвучье дивных двух имен.

Созвездья милые, простые  
Горят от утренней росы,  
Живет в них  
                                доброта России  
И первоцвет ее красы.



## «ДОБРЫЙ ЧАС»

Исаак Борисов поэт явно лирического склада, поэт тонкий, вдумчивый. Читая стихи Борисова, чувствуешь, как в каждой строке пульсирует живая поэтическая мысль. Его стихи ясны по форме, лаконичны, современны.

В прошлом году вышла его новая книга стихотворений «Добрый час», — это книга о времени, о верности себе, есть в ней также стихи о войне, об армии, с которой Исаак Борисов прошел трудный путь, работая агитатором, потом начальником личной радиостанции Н. Ф. Ватутина. Говоря о своих стихах, Исаак Борисов пишет:

В тетради этой — что ни строки,  
То жилки: кровь по ним течет.  
Порой на слове — шрам глубокий  
От боли, что как плеть сечет.

И. Борисов поэт, любящий землю, чувствующий ее доброту и ее краски, поэт ищущий. Его образы свежи, живописны, очень часто они перерастают в философские понятия. Чтобы не быть голословным, мне хочется полностью процитировать одно небольшое стихотворение, под названием «Радуга», в котором, как в капле росы, отражено все сказанное выше.

О, эти семь огней отрадных,  
Семь струй, семи небес гряда,  
Которым по законам радуг  
Не тесно вместе никогда!  
В них скрыта молнии секира,  
В них притаился гром, дремля.  
В них, как до сотворенья мира,  
Смешались небо и земля.

Вы чувствуете, как бьется в этом небольшом по размеру стихотворении живая поэтическая мысль. Мысль — это, пожалуй, главное, что есть в стихах молодого еврейского поэта. Мысль движет поэзию, окрыляет ее, оживляет мастерски сделанные строки.

Говоря о стихах И. Борисова, хочется несколько слов сказать о переводчиках, которые выполнили свою работу очень хорошо. Это отличные русские поэты — Вл. Соколов, К. Ваншенкин, Р. Казакова и другие.

Переводчики сделали все, чтобы донести до читателя чистоту оригиналов, поэтому книга получилась емкой и цельной.

В «Добрый час», Исаак Борисов!



## Николай БУКИН

---

### У БУКИНГЕМСКОГО ДВОРЦА

Не только ноги ноют — руки,  
Но любопытству нет конца...  
И вот стою я, Колька Букин,  
У Букингемского дворца.

Безмолвен он и озадачен,  
И флаг не вьется на древе,  
Не вьется флаг, а это значит —  
Нет королевы во дворце.

В далекие уходит рейсы  
Корабль «Куин Елизабет»,  
Ее Величества гвардейцы  
Оберегают Старый Свет.

И от Шотландии до Крита  
Со всех полос глядит, смеясь,  
Сама принцесса Маргарита,  
С каникул римских возвратясь.

Ты дорога, земля Шекспира,  
Но не хочу, да и не спец  
Свою московскую квартиру  
Менять на лондонский дворец,

В котором жизнь окаменела,  
Все так же, как в былых веках,  
Лишь где-то мчится королева  
На трех орловских рысаках.

## Григорий КЮРИН

---

### МАТЕРИ

Не читала моей книги, —  
По листочкам сочтена...  
На глазах тупые блики —  
Катаракта. Пелена...

Ты уже совсем не видишь,  
Только чувствуешь рукой,  
Все, что в этой первой книге  
Написал я для другой.

Ты не плачешь,  
Ты не плачешь,  
Мама бедная моя,  
Ты желаешь мне удачи,  
И тебя целую я.

А потом  
Сквозь сон окликну,  
Вздрагну,  
Свет зажгу в купе.  
Мама,  
И вторую книгу  
Я пишу не о тебе.

\* \* \*

Любовь  
Не любит быта,  
Любовь

Не любит слов,  
От быта,  
Как побита,  
Глазеет вкось любовь.

И вопреки  
Рассудку  
И жизни  
Вопреки,  
Всё помнит незабудки,  
Всё помнит пустяки.

\* \* \*

Ты не знаешь боли чужой,  
Не знаешь.  
Не живешь в семье людской,  
Проживаешь.

Ни добра никому, ни зла  
Не сделал.  
Так и жизнь прошла,  
Как неделя.

Обернешься в дверях,  
Отряхнешься,  
Никому не рад,  
Невпопад, наугад  
Улыбнешься.

## ОБ АНИСИМЕ КРОНГАУЗЕ

Тяжелое испытание болью выпало на долю Анисима Кронгауза. Но всегда он был со своим поколением — несмотря на тяжкий недуг, на пропахшие хлороформом операционные.

Обостренно вслушивается он в мерные шаги времени.

Вот  
еще  
повисла минута...  
Я ее не отдам!

Да, это в его характере. Драться за каждое мгновение, наполнять секунды, минуты, часы неустанным трудом. Ведь он знает: никто вместо него не заметил бы, как весной «у березки острые ключицы — две веточки безлистые торчат»; никто другой не рассказал бы о слепом гармонисте, который «может разглядывать звуки, как зрячие — красок мазки»; а кто поведал бы о его фронтовых друзьях, оставшихся в братских могилах на полпути к победе? Все это увидено, выстрадано человеком того поколения, что больше писало штыком, а не пером, кровью, а не чернилами, на две трети поредело в боях и все же дало времени своих поэтов.

Воину, который вел бой «не ради славы — ради жизни на земле», ненавистно напыщенное тщеславие. Не только оправдывая, но и уважая «случайные слабости сильных», поэт в то же время не может пройти мимо одержимого жаждой славы молодого человека. Он беседует с ним спокойно и мудро, не повышая голоса, по-солдатски откровенно:

Осталось мне —  
Полвека иль минута?  
Но коль, судьба, захочешь ворожить —  
При жизни дай со славой разминуться  
И жизнь по-человечески прожить.

По-человечески прожить! Это главная мысль его книги «Весенняя осень». Поэту чуждо какое бы то ни было шкурничество, погоня за особыми благами или привилегиями. В стихотворении «Долголетие» он отвергает даже фантастическую возможность одному себе продлить жизнь на два столетия. И в мыслях не может представить, что переживет родных, близких, десятки друзей.

Впрочем, не десятки —  
Миллионы  
Незнакомых жителей земли,  
С кем садились вместе в эшелоны,  
Вместе под бомбежками ползли...

Такова неразрывная связь со своим народом, со своим временем лирического героя книги Анисима Кронгауза, исполненной глубоких раздумий и чувств.

## СДЕЛАНО В СССР

Тут вернисажем  
не поразишь.  
Открыто скажем:  
не тот Париж.  
Видал он виды  
во все века.  
И может выдать  
еще пока  
и севр фасонный,  
и до сих пор  
не превзойденный  
блеск-мельхиор,  
кольцо-кольчище,  
кулон, кольцо, —  
таких не сыщешь  
за тыщи лье.  
Часы-колибри,  
и шик-манто,  
и всех калибров  
и форм авто —  
и грузовые  
(не бойсь, грузи,  
не забуксует  
никак в грязи!),  
и легковые  
(садись, кати!),  
и мировые духи Котиа.  
И ткань, и мебель,  
глазурь и синь,  
и быль, и небыль, —  
лишь франки вынь!

А вот поди ж ты:  
идут, идут  
сыны Парижа,  
работный люд —  
консьержка, зодчий,  
студент, швея  
и разный прочий  
от «А» до «Я».  
Юнцы и старцы  
(седая масть)  
спешат, стремятся  
успеть, попасть.  
Девушки, парни  
(навеселе!)  
с Уазы, с Марны,  
с Па-де-Кале.  
В упор, навалом  
глядят на нас

Монмартр бывалый  
и Монпарнас.  
Кто — вроде против,  
кто — сразу за.  
И смотрят, смотрят  
во все глаза!  
На слух, на ощупь,  
на вкус, на глаз,  
стараясь проще  
постигнуть нас,  
желая ближе  
проникнуть в суть.

Ведь мы в Париже,  
не где-нибудь!

Ну что ж, смотрите  
и знайте впрок,  
в каком зените  
и как широк  
наш напряженный  
счастливым труд,  
раскрепощенный  
об рабских пут.

О славном нашем  
жизне-бытье  
мы правду кажем  
ткачу, портье,  
врачу, аббату,  
что к богу вхож,  
простым, богатым  
и нищим тож.  
Рантье, банкиру, —  
всему, всему  
иному миру,  
то бишь тому,  
который слышал,  
да не слышал,  
а ныне вышел  
и увидал!  
Вот наше чудо —  
атомоход,  
гроза-посуда  
полярных вод.  
Вот гордый вымпел,  
земной вполне,  
он смело выплыл  
на грудь к Луне.  
И все, все это —  
взлет мастерства,  
и яркость цвета,

и прочность шва,  
и тонкость линий,  
и вид, и стать,  
и стиль единый,  
и лоск, и гладь,  
свеченье стали  
и звон литья, —  
мы, мы достали  
из небытья!  
Добыли в схватке,  
в огне, в дыму,  
в Иркутске, в Вятке,  
в тайге, в Крыму,  
достигли в сдвиге,  
в броске вперед,  
в Ташкенте, в Риге,  
у волжских вод,

нашли в дерзании,  
у дум в плену,  
в Баку, в Казани,  
в Уфе, в Клину,  
познали в риске,  
в рывке, в мечте,  
в Полтаве, в Минске,  
в Алма-Ате,  
под посвист вьюги,  
другим в пример,  
в Москве, в Калуге —  
в СССР!

Вникайте, люди,  
гляди, Париж,  
рядите, судьи,  
не лгите лишь!

*Париж — Москва  
1961—1962*

## Сергей ГОРОДЕЦКИЙ

---

### ПОЭТАМ

Не прячьтесь, поэты, в уютных квартирах,  
Где космос легко смаковать из окна!  
Он — в грозном движении, он в вихрях  
и вирах,  
Обманна сияний его тишина.

Зачем истончаете струны на лирах?  
Кому пустозвонная песня нужна?

Вся жизнь закипела страстями Шекспира  
В глубинах людских, потрясенных до дна.

В морях островные пылают вулканы,  
И гневом гремят подъяремные страны,  
Грозой пробужденных в народах стихий.

Так пусть же ворвутся в изящные строфы  
Океанические катастрофы,  
Чтоб юную жизнь окрыляли стихи!

## Владимир ПАВЛИНОВ

---

### ТРАКТОРА

Пустыня Кара-Кум.  
Куда ни гляну —  
Пески, пески, насколько хватит глаз...  
Два трактора  
по рыхлому бархану  
С натугой волокут тяжелый «МАЗ».

В чаду густом,  
на склонах незнакомых,  
Не жалуясь,  
с утра и до утра,  
Как люди, задыхаясь на подъемах,  
Грохочут работяги трактора.  
Стуча моторами,  
блестя от пота,





# Белла АХМАДУЛИНА

## МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

(отрывок)

### 1

.. И я спала все прошлые века  
светло и тихо в глубине природы.  
В сырой земле, черней черновика,  
души моей лишь намечались всходы.

Прекрасна мысль — их поливать водой!  
Мой стебелек, желающий прибавки,  
вытягивать магнитную звездой  
слешите же, прадеды и прабабки!

Ах, итальянка, девочка, прапра-  
прабабушка! Неправедны, да правы  
поправшие все правила добра  
любви твоей проступки и забавы!

Поникни удрученной головой,  
поверь лгуну, не промедляй сомненья! —  
не он, а я, я — искунитель твой,  
затем, что алчу я возникновенья.

Спаси меня! Не плачь и не тяни,  
отдай себя на эту злую милость!  
Отсутствуя в таинственной тени,  
небытием моим я утомилась.

И там, в моей до-жизни неживой,  
смертельного я натерпелась страху,  
пока тебя учил родитель твой.  
«Не смей! Не знай!» — и по щекам  
с размаху.

На волоске вишу! А вдруг — тверда  
окажется науки той твердыня?  
И все. Привет. Не быть мне ни-ко-гда.  
Но, милая, ты знала, что творила.

Когда в окно, в темно, в полночный сад  
ты канула давно, неосторожно.  
А он — так мил, так глуп и так усат,  
что, право, невозможно... невозможно...

### 2

Благословляю в райском том саду  
и дерева, и яблоки, и змия,  
и ту беду, бог весть в каком году,  
и грешницу по имени Мария.

Да здоровствует твой слабый, чистый  
след  
и дальновидный подвиг той ошибки!  
Вернется через полтора года лет  
к моим губам прилив твоей улыбки.

Но богovým суровым облакам  
не жалуйся. Вот вырастет твой  
мальчик —  
наплачешься. Он вступит в балаган.  
Он обезьяну купит. Он — шарманщик.

Прощай же! — Он прощается с тобой,  
и я прощусь. Прости нас, итальянка!  
Мне нравится шарманщик молодой,  
и обезьянка не чужда таланта!

Уж я не знаю, что его влекло:  
корысть, иль блажь, иль зов любви  
неблизкой, —  
но в некий день в российское село —  
ура, ура! — шут прибыл итальянский!..

### 3

Не отпускай его, земля моя!  
Будь он неладен, странник одержимый!  
В конце концов он доведет меня,  
что я рожусь вне родины родимой.

Еще мне только не хватало: ждать  
себя так долго в нетях нелюдимых,  
мужчин и женщин столько утруждать  
рождением предков, мне необходимых,

и не рожаться столько лет подряд, —  
рожусь ли? — всё игра орла и решки,  
и вот — непоправимо, невпопад,  
в чужой земле, под звуки чуждой речи,

вдруг появиться для житья-бытья.  
Спасибо. Нет. Мне не подходит это.  
Во-первых, я — тогда уже не я,  
что очень усложняет суть предмета.

Но если б даже, чтобы стать не мной,  
а кем-то, был мне дикий пропуск  
выдан, —  
я не хочу свершить в земле иной  
мой первый вздох и мой последний  
выдох.

Там и останусь. где душе моей  
сулили жизнь, безжизньем истомили  
и бросили на произвол теней  
в домарксовом нематерьяльном мире.

...Плохи мои дела. Но тем из вас,  
кому моя судьба не безразлична,  
я говорю: хоть страшен мой рассказ,  
оп кончится вполне оптимистично.

Заранее предупредить решусь:  
в конце главы, столь долгой и досадной,  
во что бы то ни стало я рожусь  
в своей стране, в апреле, в день десятый.

Итак, сто двадцать восемь лет назад  
в России остается мой шарманщик.

#### 4

Одновременно нужен азиат,  
что нищенствует где-то и шаманит.

Он пригодится только через век,  
пока ж — пускай он по задворкам ходит,

старье берет или вершит набег,  
пускай вообще он делает что хочет.

Он в узкоглазом племени своем  
так узкоглаз, что все давались диву,  
когда он шел, черно кося зрачком,  
большой ноздрей принохиваясь к дыму.

Он нищ и гол. А все ж ему хвала!  
Он сыт ничем, живет нигде, но рядом —  
его меньшей сынок Ахмадулла,  
как солнышком, сияет желтым задом.

Сияй, играй, мой друг Ахмадулла,  
расти скорей, гляди продолговато!  
А дальше так пойдут твои дела:  
твой сын Валея будет отцом Ахата.

Ахатовной мне быть наверняка,  
явиться в жизнь, как с привязью сорваться,  
и усеченной полумглой зрачка  
все ж выразить открытый взор  
славянства!

## ДМИТРИЙ БЛЫНСКИЙ

---

### МУЖЧИНА ПЛАЧЕТ...

*Георгию Спасову*

Ест племянник мой яблоко власть  
И, сжимая, боится — уронит.  
А народу вокруг на перроне —  
Даже яблоку негде упасть.

Поезд прибыл в Москву из Софии  
С ветеранами прошлой войны.  
И болгарские речи слышны,  
И цветы пламенеют живые.

Машет, машет племянник рукой,  
Не поймет он, что это все значит:

— Посмотри-ка, мужчина, а плачет,  
И к тому же огромный такой...

В первый раз он увидел объятья,  
Перевитые руки мужчин:  
Житель Плевны и наш смолянин  
Обнялись, как законные братья.

Как ему объяснить на вокзале  
Про какую-то ту войну,  
Где им пальцы рубили в плену  
И на спинах слова вырезали.

Где, забыв, что такое слеза,  
Лишь сдвигали от мук они брови,  
И дымились рубахи от крови,  
И горели сухие глаза.

# Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

---

## ВОЛЬФ МЕССИНГ

В гостинице швейцары —  
жуть! — официантны.

Зал украшен вывесками:  
«Просьба не сорить!»  
Грудасто-необъятные  
плывут официантки,

со следами молодости  
далекой,  
как царизм.

А я их позабыл уже...

Автобус  
грязь  
месит.

Автобус филармонии  
по лужам бежит.

На концерт к шахтерам  
едет  
Вольф Мессинг.  
Наверное, без Мессинга  
они не могут  
жить.

Тучи над дорогой  
залегли, нависли...  
Едет Вольф Мессинг,  
спокойствием лучась.

Шахтерские,  
подземные,  
подспудные мысли

начнет он, будто семечки,  
щелкать  
сейчас.

Пусть он чудодейством  
на всех со сцены  
дунет,

отгадывает мысли, —  
не все ль ему равно.

Но пусть вслух  
не говорит,  
о чем шахтеры  
думают,  
потому что в зале

женщин  
полно...

И я со всеми вместе  
от чудес немею.

Ахаю!  
Охаю!

Не верю глазам.

И вдруг...

Но позвольте!

Я это сам

умею!

Не хуже Вольфа Мессинга умею.

Сам!

Я секрет открою.

Даром, —

не жалко!

Не надо здесь особой  
мудрости змеи...

Помнишь,

прошлым летом

я брал тебя

за руку

и сразу же

угадывал

все мысли твои!

На пустых пляжах

провисали тенты,

дождь —

будто нехотя —

лил без выходных...

А сейчас ты

где-то.

И до этого «где-то»

надо ехать

долго,

на перекладных.

Сначала на автобусе

(чтоб он сказался!).

Потом шагать рассыпчатым,

тяжким

песком.

Потом качаться в кузове

бывшего

«ЗИСа».

И снова —

на автобусе.

И снова пешком...

Такие расстояния.

Такая погода.

Такие километры

сплошной колеи,

что даже если очень,

очень

охота, —



## Леонид ЗАВАЛЬНЮК

---

\* \* \*

Не понимаю, кто идет за кем —  
Я за стихами иль они за мною.  
Я бы хотел вести без всяких схем  
Свое существование земное  
И быть собой.  
Но подоплека дня —  
Она не день. Она совсем иная.  
Про то, что ныне мучает меня,  
Я написал вчера еще;

Не зная,  
Что так оно и будет наяву.  
И вот как бы в прошедшем я живу.  
Душой и пониманьем в этом дне,  
Ловлю его дыханье и горенье.  
Но пониманье служит только мне —  
Стихи живут законами прозренья.  
И вижу я порой в счастливый час,  
Как где-то в них то самое лучится,  
Чего на свете нет еще сейчас,  
Но что уже не может не случиться.

## Владимир ЛИФШИЦ

---

### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА

Электрическую бритву  
На столе забыл отец.

Электрическую бритву  
На столе увидел сын.

Он увидел и подумал:  
Вот побреюсь наконец!

Мне никто не помешает,  
Потому что я — один...

Вставил вилку он в розетку,  
Бритва начала гудеть.

На себя он, словно папа,  
Начал в зеркало глядеть.

Но поскольку не имел он  
Ни усов, ни бороды,  
Он провел вокруг макушки  
Две широких борозды.

Быстро сделал это дело,  
Лишних слов не говорил,  
Подозвал щенка Ерощку,  
На спине пробрил дорожку,  
А потом зубные щетки  
В ванной комнате побрил.

Что сказал, вернувшись, папа,  
Я об этом умолчу.  
Почему?  
А потому что  
Огорчать вас не хочу!

### ТИМОША

Тот завел себе собаку,  
Тот завел себе кота,  
Тот завел себе корову,  
Я завел себе кита.

Кит попался мне хороший,  
Очень добрый и большой.  
Я назвал его Тимошей,  
Привязался всей душой.

В синем море-океане  
Мой Тимоша служит мне.  
Можно жить, как на поляне,  
У Тимоши на спине.

Полежу,  
                    позагораю,  
На гитаре  
                    поиграю,

Встану —  
рыбку половлю,  
Это дело  
я люблю!

Здесь порой бывает жарко,  
Но кругом ведь океан,  
И воды киту не жалко,  
Приглашает под фонтан.

Под фонтаном освежусь,  
Над стихами потружусь,  
Или книжку почитаю,  
Или просто спать ложусь.

Мчится кит,  
меня катая  
От Цейлона  
до Китая!  
Солнце блещет,  
волны плещут  
Под ударами хвоста!  
Не раскаюсь  
никогда я,  
Что завел  
не попугая,  
Не корову,  
не kota я,  
А завел себе кита!

## Владимир САВЕЛЬЕВ

---

\* \* \*

Считаюсь дерзким до предела,  
герой,  
почтеньем окружен,  
не бьет чечетку под обстрелом,  
не прет в атаках на рожон.  
Боясь упасть на землю прахом,  
на миг,  
когда придет черед,  
он отрывается от страха  
броском стремительным  
вперед...

\* \* \*

В пылу не потрясая кулаками,  
не выясняя в диспутах  
права,  
мы гордыми обходимся кивками  
и подменяем взглядами слова.

Без стонов переносим боль утраты,  
в молчании встречаем  
смертный час,  
о том мечтая искренне и свято,  
чтобы не нам поверили,  
а в нас.

\* \* \*

Поражая баском неокрепшим и юным,  
неожиданный гром прокатил стороной,  
и тотчас натянулись грядущие струны  
между сумрачным небом и влажной  
землей.  
Веселей завертелась в пространстве  
планета,  
стало празднично чистым :  
любое крыльцо,  
и стремительно вышел на улицу где-то  
человек,  
запрокинувший к тучам лицо.

## Иван РЯДЧЕНКО

---

### ВИНО

Розовое, белое и красное,  
мутное, шипучее и ясное,  
в бочки помещенное давно,  
ласковое,  
дерзкое,  
опасное,  
злое виноградное вино!

Виноград — тугие грозди градин.  
Он наряжен. Но секрет — в ином.  
Потерпи!  
Становятся не за день  
сладостные слезы виноградин  
горе утоляющим вином.

Виноделы ходят палачами,  
загоняя в бочки с обручами  
сок из ягод, брызжущий взахлест,  
чтобы, отбродив, обрел в молчанье  
мудрость гор и темперамент звезд...

Розовое, белое и красное,  
горькое,  
немое,

громогласное,  
движущее память, как кино, —  
ты порою вытворяешь разное  
с нашим братом,  
грозное вино.

Ледяной вдруг делается теплым,  
добрый — злым, разумный — дураком.  
Будь вино, для всех бесценно добрым!  
К черту горечь! Яд оставим кобрам!  
Паука раздавим каблуком!

Мы промчимся в звездном океане.  
Пусть, пригубив нашего вина,  
жители легенды — марсиане —  
не найдут в земном его сиянье  
никакого темного пятна.

Розовое, белое и красное,  
песенное,  
доброе  
и страстное,  
в бочках отбродившее давно,  
очищайся, ясное, несправное  
нашего грядущего вино!..

## Лариса РУМАРЧУК

---

### БАБУШКА

Говорила мне бабушка: вот ведь,  
Сил-то мало у молодых.  
И тяжелые полные ведра  
Принимала из рук моих.

Доставала мне с печки валенки:  
Обувайся — прямо с тепла.  
А была она маленькой-маленькой,  
И совсем не сильной была.

Уступали ей место в автобусе.  
Но едва уступивший уйдет,  
Встанет бабушка твердо и доблестно  
И к сиденью меня подтолкнет.

Вот я выросла. Дочку пестую.  
Закружили меня дела.  
Половину нещедрой пенсии  
Шлет мне бабушка из села.

Ждет она не дожидется правнучки,  
Письма пишет и снова ждет.  
Нынче лето такое славное,  
Нынче много грибов пойдет.

Почтальона чутьем угадывая,  
Посветлеет она лицом.  
Ждет, когда я ее порадую  
Наспех писанным письмецом.



## ВОРОНЕЖСКАЯ ПОЭЗИЯ

В аудитории — ни одного свободного места. Много юношей и девушек стоят около открытой двери. Вопросы следуют один за другим. Ответы на них вызывают самую живую реакцию. Разговор идет серьезный. Аудитория не только соглашается, но и спорит. Она хочет все знать о современной советской поэзии, о работе ее мастеров... Так идет беседа поэта Егора Исаева со студентами Воронежского университета о советской литературе, о последних событиях в ней, о встрече руководителей партии и правительства с художественной интеллигенцией страны.

И вот — тишина. В аудитории звучит поэма «Суд памяти». Ее слушают внимательно, глубоко. Смотришь на лица, на позы, на выражение глаз и видишь: поэма захватила, захватила всех. Но видишь и другое: поэзию здесь любят. И верно: в стенах Воронежского университета давно доброй традицией стали Дни поэзии. Здесь хорошо знают поэтов-земляков Владимира Кораблинова, Владимира Гордейчева. Анатолия Жигулина, Павла Касаткина, Эдуарда Пашнева, Григория Пресмана, Геннадия Луткова, Алексея Кочербитова. Видели здесь и близкую воронежцам липчанку Майю Румянцеву. Студенты университета были первыми критиками произведений своих однокашников Владимира Порядина, Людмилы Бахаревой, Олега Шевченко, Ирины Озеровой, Людмилы Горбачевой...

Поэзия давно поселилась на воронежских землях. Она дала России Алексея Кольцова и Ивана Никитина. В 1917 году поэзия Черноземья узнала второе рождение. Она пошла и вглубь и вширь. Она обогатилась новыми темами, новыми героями, новыми ритмами. Светом знания, мощью творческой мысли в ней живут не только герои ученые, как это мы видим в стихах Порядина, но и колхозники, дети полей, один из которых говорит о себе в стихотворении Михаила Тимошечкина «Университет»:

Я не тот, что от отчего крова  
Долю в город бежал искать.  
Я колхозом командирован  
Философию изучать.

Чуть ли не с каждым годом в ней появлялись новые имена. И вот результат: за последние четыре года только Воронежское книжное издательство подарило читателям двадцать семь поэтических сборников. И, как всегда, так и в данном случае, среди них есть новые имена. Например, в первые месяцы 1963 года мы получили книжки Виктора Полякова «Есть у меня мечта», Олега Шевченко «Молния», книгу Анатолия Емельянова, Михаила Тимошечкина, Федора Карасева, Михаила Шишлянникова и Михаила Просянного «Встреча». А несколько ранее их вышла первая книга Романа Харитонов «Тысяча строк». И я не сомневаюсь: кто-то из них скоро, может быть сегодня, может быть завтра, придет к своим товарищам и прочтет им глубокую поэму. И в аудитории негде будет упасть яблоку, и двери будут открыты настежь. И поэму будут слушать все: студенты, рабочие, профессора, соседний парк и даже бронзовый Никитин в парке, сидящий в задумчивой позе старого рабочего и мыслителя.

# Сергей СМИРНОВ

---

## ПРОИСШЕСТВИЕ

(Маленькая поэма)

Мне от этого не уйти сейчас,  
Так и водит оно пером.  
Дело было

в далеком —  
тысяча

Девятьсот пятьдесят втором.  
Не заглохло оно, а выросло,  
Прояснилось, верней всего.  
Мне рисуется

ярче вымысла  
Символичная суть его.

### I

Помню —  
ветром повеяло в лица,  
Рядом чайка нырнула в волну.  
От речного причала столицы  
Мы поплыли  
в Ростов-на-Дону.

Все гудки вдохновенно свистали,  
Аплодировал каждый причал.  
Теплоход наш —  
по имени «Сталин» —

Снисходительно  
Им отвечал.

Выбегали деревни на взгорья,  
Суетились челны рыбаков,  
Волновались хлеба, словно море,  
Окаймленные лесом с боков.

Оснащенная солнцем погода  
Не скупилась  
насчет теплоты.  
По ранжиру вставали заводы.  
По-пластунски  
стелились плоты.

Горизонт безмятежно кристален.  
Вся земля — словно сказочный дом.  
Теплоход наш — по имени «Сталин» —  
Шел тогда  
Открывать  
Волго-Дон.

Не легко удостоиться чести  
Плыть да плыть  
от Москвы —  
до конца.  
Мы, бригада «Последних известий»,  
Тут работали  
в поте лица.

И летели в эфир репортажи,  
Их, наверное, слушали все, —  
О сегодняшней Волге и даже  
О ее древнерусской красе...

Заливалась вовсю радиола.  
Полыхали  
хрусталь и металл.  
Я в присутствии женского пола  
Самодельные вирши читал.

Мы смотрели на звезды в зените.  
Мы вдыхали  
букеты села.  
А река  
По фарватерной нити  
Нас к намеченной цели вела.

### II

Помню —  
после жары Волгограда —  
К нам, безмерно счастливым тогда,  
Наподобие личной награды  
Устремилась  
донская вода.

Что тут было!..  
Сердца пламенели!..  
А поодаль, забыв о жаре,  
Весь из меди,  
в военной шинели

Сам —  
Великий —  
Застыл на горе...

Вот мы воду волнуем и пеним,  
И под грохот оркестров  
идем

По живым  
Волго-донским ступеням,  
И сияем  
на весь Волго-Дон.

Но сияли не только салоны,  
А и все пассажиры кают.  
И казалось — в степи опаленной  
Было слышно,  
Как волны поют.

Поднимались всё выше  
и вскоре  
Собирались увидеть в ночи  
Панораму Цимлянского моря  
И его молодые лучи...

Вдруг —  
прошу извиненья за это  
Совершенно законное «вдруг»! —  
Громогласно взлетели ракеты  
И слепяще взорвались вокруг.

Лишь одна, вероятно шальная,  
Устремилась не в синь вышину,  
А, невольную жуть нагоняя,  
Угодила  
в каюту одну.

Сразу —  
выкрик испуганно-тонкий,  
Чьи-то ахи да охи подряд.  
— Осторожнее!  
— Вспыхнули пленки!..  
— У киношников —  
пленки горят!..

Чья-то ругань у свернутых чалок,  
Чей-то плач,  
причитанья навзрыд..  
И в нахлынувшей тьме  
прозвучало  
Несусветное:  
— «Сталин» горит!..

### III

Помню —  
шлюза отвесные стены,  
Из-за них не уйдешь никуда.  
Как замедленный лифт,  
постепенно  
Нас наверх поднимает вода.  
Топот, крики с разбуженных палуб.  
На корме  
несуразно светло.  
Если темное небо упало б,  
И оно бы помочь не смогло.  
Дым нахраписто горек и душен.  
Скачет пламя и воеет в дыму.

Мы — подручными средствами —  
тушим,  
Не даем развернуться ему.

А лицо  
всесоюзного веса,  
Всех толкая, идет напролом,  
А за ним  
семенит поэтесса,  
С разноцветным своим барахлом,

А создатель мажорных мелодий,  
Молодой,  
но солидный,  
как трест,  
Натянул  
На себя,  
При народе,  
Два комплекта  
спасательных средств.

Но уже и умелец какой-то,  
Весь в брезенте, явился из тьмы  
И ударил водой из брандспойта  
В огнеметное жерло кормы.

### IV

Помню —  
траурный путь на буксире,  
Безо всяких парадных огней.  
Безымянная пристань России.  
Мы,  
как тени,  
причалили к ней..  
...Дальше —  
выгрузка в срочном  
порядке,  
И за ширмой тумана и мглы —  
Суматоха ночной пересадки  
На другой теплоход  
у Цимлы.

Стали явственней краски востока.  
Вышло солнце в положенный час,  
И его лучезарное око  
Изумленно  
взглянуло на нас.

Без шумихи  
Отчаливать стали.  
А поодаль —  
Безлюдный,  
немой —  
Возвышался причаленный «Сталин»  
Со своей обгоревшей кормой.

V

Помню —  
 странное чувство унынья,  
 Ощущенье какой-то вины,  
 Словно мы, пассажиры,  
 отныне  
 Отвечать перед кем-то должны —  
 За нелепое пламя пожара,  
 За сгоревшую эту корму,  
 О которых узнает держава  
 И — доложат  
 Ему  
 Самому.

И казалось,  
 что — весь напряженье,  
 А характером тверже кремня —  
 Он, с высот своего положенья,  
 Персонально  
 глядит на меня...

Не успели очухаться даже,  
 Как пришло указанье извне:  
 — Продолжайте вести репортажи  
 В том же плане,  
 На той же волне.

Зазвучала одна из мелодий.  
 Я ж невольно подумал о том,  
 На каком же таком теплоходе  
 Мы к намеченной цели идем?

А  
 по белому  
 угольной краской  
 Размахнулось на весь разворот •

Легендарное имя —  
 «Октябрьской  
 Революции»...  
 — Полный вперед!

VI

Революция! —  
 буря,  
 влечение,  
 Справедливость,  
 Само бытие!..  
 Я тогда не предвидел значенья  
 Специфической  
 роли ее, —

Что Она  
 Перед каждым  
 Предстанет,  
 По-судейски строга и чиста,  
 И великих

и малых  
 поставит

На свои,  
 На земные места!..

А цимлянское утро сияло  
 И пьянило, подобно вину.  
 И опять по ступеням канала  
 Мы шагали

в Ростов-на-Дону.

Бились волны, аж брызги летели.  
 Реял вымпел на мачте прямой.  
 И, белой белопенной метели,  
 Вились чайки

за белой кормой.

## Иван ЛЫСЦОВ

### НА ЗАМАННОМ ЛУГУ

На Заманном лугу, под большим  
 рассыпчатым солнышком,  
 В окружении сел:  
 Боровые Падьы,  
 Чернава, Бáловнево, Доброе,  
 Шум-Роца, Струйные Пруды,  
 Дубы, Лебяжье и Сугробное,

На Заманном лугу, под одним вислым  
 облаком,

Между речек:  
 Верчунья, Сновá,  
 Теменяха, Кривка и Нáшенка,  
 Аленушкина коса, Волховá,  
 Локотцы, Бай-волна  
 и Любáшинка,



## Иван РЫЖИКОВ

---

### ПЕРВЫЕ СТИХИ

Я был в секрете.  
Слова не скажи!  
Не только встать —  
Пошевелись попробуй!  
В двух перебежках — наши рубежи.  
В одном броске — немецкие окопы, —

Где все стволы нацелены в упор,  
Где даже ночь похожа на ловушку,

Где и тропинки и далекий бор  
Ты можешь видеть только через мушку.

И вот тогда-то, на передовой,  
Перед вооруженными врагами,  
Случайно не убитый рядовой,  
Я начал думать в первый раз стихами!

Пойми поэтов!  
Шла война кругом.  
Смерть ни на миг о нас не забывала,  
Но почему-то пелось о другом,  
О чем три года сердце тосковало.

## Наталья БУРОВА

---

\* \* \*

Если выйти к востоку от белой горы,  
Начинается небо и горькие травы  
Да деревья атласной, зеленой коры,  
Что, когда к ним притронешься, пахнут  
отравой.

Там бродячим ветрам нет причины шуметь,  
Тишина, тишина как небесная кара.  
Там живет волосатый, корявый медведь,  
Что в пещерах еще не нашел себе пары.

Я по запаху знаю начало весны,  
По особой возне воробьиной оравы,  
Я, наверно, очень боюсь тишины,  
Потому не пойду в эти буйные травы.

Я всегда говорила, что там залегли  
Черепки и монеты забытых селений.  
Возвышается матовый камень вдали,  
Словно кто становился пред ним на колени.

Верно, был он хранителем той старины,  
Что теперь разлеглась перед ним, как  
на блюде.

Верно, был он свидетелем первой войны,  
Что когда-то затеяли первые люди.

\* \* \*

У начала больших синеватых степей  
Подступают к ручью пять кибиток из глины.  
Стайка белых, со ржавым пером голубей  
Разгребает с рассвета сухие травинки.

Я здесь знаю ветра, всё ветра и ветра,  
Без конца, без начала — и без передышки,  
И такое звучит от утра до утра,  
Будто кто-то гудит в длиннокорлой  
кубышке.

Где родятся ветра? Все трава и трава,  
Да такая, что голубю нечего клонуть.  
Может, мертвая то ожила голова  
И старается рыжие домики сдунуть?

Мне нельзя оставаться до ночи в степи,  
Слишком многое ветер насвистывал в уши.  
Каждый день — как звено в желтоватой  
цепи,  
И давно уже степь переполнила душу.

Где не пахнет травой? Где кончается бль?  
Где границы степей, желтизны и преданий?  
Подступает полынью пропахшая пыль  
Прямо к окнам высоких, решительных  
зданий.

## УМНАЯ МУЗА

Когда говорят, что поэт умен, почему-то считается, что это не похвала. Заводя специальный разговор об уме поэта, как бы намекают, что с таким тяжеленным багажом Пегас в гору не потянет. И неизвестно, откуда это пошло. Может, от школярски понятого: «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата» — фразы, кстати сказать брошенной человеком умнейшим не только среди стихотворцев.

И все-таки глупый поэт — это, ей-богу, не подарок. А умный поэт — если он действительно умный и действительно поэт — радость двойная. Вот такую двойную радость доставил мне Валентин Берестов своею книжкой «Дикий голубь» («Советский писатель», 1962).

Только поэт, который всем своим существом чувствует мир, каждое сокровенное движение в нем, мог увидеть доброго сеятеля в «колючем, пыльном шаре» — сухом неприкаянном перекаати-поле — или услышать, как атом в реакторе «свой страшный первородный грех замаливает понемногу...».

Только поэт, который понимает жизнь, самую ее суть, докапывается, как в старину говорили, умственным взором до самой сердцевины, мог написать, например, про «детей, знатоков былого» или про вышки и вешки, которые отбивают гордыню у человека, чувствующего себя первооткрывателем нехоженой пустыни.

А «Пятая нога» — смешной стишок про собаку, которая вдруг сроднилась с посылкой пятой ногой, пришитой ей каким-то искусником.

Один понимающий человек — к литературе непричастный — сказал о Евгении Шварце, что тот пишет «в две глубины и в три глубины». Разные люди разглядят разное — кто забавную сказочку, кто душевный поиск, кто вполне конкретную драму. Вот Берестову тоже дано это счастливое свойство. Читаешь ли «взрослые» его стихи, или переводы (скажем, отличный из А. Гонтаря, про коварную осень, которая «платит лесу золотом»), или смешные истории для детей — снова и снова ощущаешь это свойство.

Уже стал банальным тезис, что сейчас главные открытия делаются на «стыке наук», скажем химии и физики. Но, став банальным, он не перестал быть истинным. В какой-то мере и по отношению к искусству.

Я читал прозаическую, точнее, очерковую книгу Берестова «Приключений не будет» и подумал как раз об этой «химфизике». Поэт пришел в наш прозаический цех со своей собственной, именно поэтической позицией. И, на мой взгляд, сделал важное открытие. В этой книге проза и стихи отлично дополняют друг друга, сплетаются совершенно органически. Вообще, мне кажется, при условии, если поэт и здесь останется поэтом, его очерк всегда будет богаче, сильнее, необходимее традиционного. Тому тысяча доказательств, начиная с... «Открытия Америки» Маяковским. Не в рифмах же дело в конечном счете...

Еще одно мне дорого в Берестове-поэте: я был сказал, малая скорость. Сейчас, в век реактивных лайнеров, когда под пятнадцатистрочным стишком вдруг читаешь: «21 мая. Москва — Дакар — Аддис-Абеба», — мне хорошо, что поэт не «реактивный», что он не торопится. Археолог Берестов в своей палатке, где-нибудь в урочище Топрак-Кала, несуетно обдумывает все, что увидел и услышал, оттуда, из середины пустыни, он слушает мир, слушает свое сердце.

И всегда — его, Берестова, ровный, доброжелательный, немного насмешливый голос... Иной раз мне хочется, чтобы где-то все-таки он был погромче. Но, наверно, нельзя. Наверно, это будет уже не Берестов.

## Константин ВАНШЕНКИН

---

\* \* \*

Открывается сказочный вид:  
Серебрится излучина.  
Над рекою деревня стоит,  
Вся детально изучена.

А двойное название ее —  
Вроде имени-отчества.  
Здесь шестнадцатый век. Забытье.  
Деревянное зодчество.

Здесь действительно что ни изба,  
То удача музейная.  
На воротах и окнах резьба —  
Точно тонкость кисейная.

Не один закаленный турист,  
Проходя деревушкою,  
Восхищался, хоть был атеист,  
Деревянной церквушкою.

Ах, кого только не было тут —  
Совершали хождения  
Институт, и другой институт,  
И еще академия.

Три десятка научных работ!  
Все от фактов идущие.  
...А деревня-то нынче живет  
И стремится в грядущее.

Веют запахи свежей смолы.  
Дали — многих безбрежнее...  
Не хочу я такой похвалы,  
Чтобы только за прежнее.

Нам такая она не нужна.  
Я такой не завидую.  
О, как часто умеет она  
Обернуться обидою.

Пусть тот день вдалеке не угас,  
Пусть та память жива еще! —  
Если можно, за новое нас  
Похвалите, товарищи.

...Мне по-прежнему дорог и люб  
Этот ельник подковою.  
Но меня еще радует клуб,  
Отделение почтовое.

Самодельных антеннок рядок  
Над коньками старинными,  
Теплоходный — в тумане — гудок  
Над лесными долинами.

Он протяжно плывет над рекой,  
Не спеша удаляется  
И в изогнутый берег крутой  
Под конец ударяется...

\* \* \*

Зазвучали шорохи рассвета,  
Небо слабо начало светлеть.  
Разлюбила женщина — и это  
Хуже, чем в дороге заболеть.

А ведь каково болеть дорогой!  
Ты в жару не помнишь ничего,  
И тебя на станции далекой  
С поезда снимают одного.

Ты еще надеешься невнятно,  
Что, пока стоянка пять минут,  
Осмотрев, тебя они обратно  
В твой вагон качнувшийся впихнут.

И поверить вот уже не в силах,  
Чуя в сердце жуткий холодок,  
Слышишь ты с брезентовых носилок  
Поезда пошедшего гудок...

Ты потом поправишься. И вскоре  
С самого утра и дотемна  
Будешь ты болтаться в коридоре  
Около больничного окна.

Но гудок, как будто отрешенный,  
Слезы выжимающий из глаз,  
Стеклами двойными приглушенный,  
Ты еще услышишь много раз.



# Антон ПРИШЕЛЕЦ

---

## ВЕЧЕР В РЫБАКАХ

Тут захлебнешься коноплей!  
Она весь воздух напоила,  
Весь этот вечер,  
Этот милый  
Горластый песенный прибой.

Я конопляный дух люблю,  
Я сам ведь  
Сеял коноплю.

Она мне, видите ль, сродни.  
А вы — безродный?  
Вам — напротив?  
Но если вас не затруднит,  
Пожалуйста,  
Вы тоже пойте!

Вон гармонист —  
Уже готов.  
Отбросив в сторону окурков,  
Он тронул музыку ладов —  
И та пошла, взвилась.  
Культура!

И парни с девушками вдруг —  
Все высыпали вдруг  
На круг.

Я этот вечер в Рыбаках  
Весь слышу,  
Чувствую  
И вижу.  
И тянется моя строка  
К веселой юности  
Все ближе.

Я тут ничуть не виноват.  
Но, очарованный минутой,  
За них за всех  
Я очень рад,  
Я просто счастлив почему-то!

## МОЙ РОД

Хорош мой род —  
Крестьянский род,  
Бессмертный  
Русский мой народ!

Мой дед,  
И прадед мой,  
И я —  
Вся родословная моя  
От Рюрика до наших дней —  
Мне всех дороже,  
Всех родней!

Во дни тяжелых испытаний  
Я был с тобой  
На поле брани.  
В дни мира  
Пахарем я был,  
Я честный хлеб  
Тебе растил.  
На труд и бой —  
Одной судьбой —  
Весь путь твой  
Я прошел  
С тобой.

Народ мой!  
Как я дорожу,  
Что я  
К тебе принадлежу!

## Семен СОРИН

---

### КУКЛА

Мальчишке куклу подарили  
С глазами синего синей,  
Но для него автомобили  
И паровозы поважней.

Мальчишке вовсе не до кукол,  
Мальчишка вовсе не такой,  
И он ее забросил в угол,  
Чтоб не мешалась под рукой.

На заводные паровозы,  
На все мальчишечьи дела  
Глазами синими сквозь слезы  
Она смотрела из угла.

И он, мосты и башни строя,  
В свое влюбленный мастерство,

На куклу с торжеством героя  
Нет-нет да взглянет: каково?

И башни делались ровнее,  
И правильной мостов настил,  
Хотя он не якшался с нею  
И до игры не снисходил.

Но как-то раз она исчезла —  
И стала комната темна.  
Он все бездушно железю  
Отдал бы, чтоб нашлась она.

Игрушек он не замечает —  
О ней одной его слеза...  
Но лишь во сне его встречают  
Большие синие глаза.

## Виктор ГОНЧАРОВ

---

### ОНИ ДОСТОЙНЫ

На всех заставах боевых  
Поставьте памятники павшим,  
Бойцам и офицерам нашим,  
Чтоб мы не забывали их.  
Они достойны этой чести —  
Жить на заставах с нами вместе.  
Их славный путь неугасим,  
Поставьте памятники им,

Чтоб мы, когда идем в строю,  
Равнение на них держали,  
И если надо, жизнь свою,  
Подобно им, в бою отдали.  
Поставьте памятники им,  
Не неизвестным, а родным.  
Пускай они на страх врагам  
Живут, как прежде, на заставе,  
Всегда напоминая нам  
О чести, Родине и славе!

## Юрий РЯШЕНЦЕВ

---

### ДОЖДЬ

Дождь хлынул. Туча раскрывалась,  
как парашют. И ветер стих.  
Земля десантником качалась  
на крепких стропах дождевых.

Но так казалось, очевидно,  
кому-нибудь со стороны.  
Земляне ж мчались деловито  
под пятерню большой сосны,  
под козырьки парадных мчались,  
как Ной, спешащий на ковчег,

и сталкивались, и ручались,  
что этаких дождей вовек  
никто не видел. Им спасенье  
давал навес от острых струй,  
но не спасал от потрясения, —  
и слава богу!.. Точно струг,  
плыл город. Копья струй сгибались,  
вонзаясь в звонкий грунт двора,  
и улыбались, улыбались  
и химики, и доктора,  
забыв, что это наводнение,

что ливень наш, счастливень наш —  
лишь мощное соединенье  
двух элементов — «О» и «Н»...  
А дождь из бешеной присядки  
так высоко взлетал порой...  
И вместе с тем он был — осадки,  
предсказанные нам бюро.  
Осадки пели!.. Но постой-ка,  
зачем ты путаешь меня?  
Ведь если дождь — вода и только,  
откуда столько в нем огня?!

## Алексей ЗАУРИХ

---

\* \* \*

Последняя неделя холодов,  
она идет тяжелыми шагами.  
Семь долгих ден как будто семь годов,  
с громадными, как зарево, снегами.

Сожмусь в комок — все будет нипочем,  
какие бы поземки ни свистели!  
Зароюсь в снег, а с мартовским лучом  
я встану из метели, как с постели.

Держусь. Ослабли руки — и готов!..  
У каждого была, и есть, и будет  
последняя неделя холодов,  
что, кажется, вовеки не убудет.

Зимой, а может, летом, холодна,  
придет, настигнет тайно или явно.

Нависнет, как вселенная, она —  
безбрежна, незнакома, своенравна.

Ее молить напрасно — не спасет!  
А ну схлестнемся — кто кого положит!  
Она меня, шальная, вознесет,  
но затоптать в снега меня не сможет.

Последняя неделя холодов,  
я от нее не спрячусь и не струшу.  
Светло, как несгибаемый Седов,  
гляжу в ее закованную душу.

Давно с прошедшим счеты сведены.  
Живу я стиснув зубы, на пределе.  
В рассветную галактику весны  
готовлюсь стартовать через неделю.

## Виктор ПАРФЕНТЬЕВ

---

### СЕРДЦЕ

Земля кружит нас, и ее круженье  
Меня выводит вдруг из притяженья,  
Как спутник, стартовавший от нее.  
Мне дали скорость русские селенья,  
Так пусть им светит, обрета горенье,  
Отныне сердце доброе мое.  
Я не боюсь, что сердце разорвется  
И над землю светом распахнетя,  
Я знаю, отчего оно сгорит,

Я знаю, для кого оно сгорит,  
Пока земля над головой сомкнется.  
В нем запах трав,  
В нем русских песен жизнь,  
В нем всё, чем жил я, не кривя душою,  
В нем чувства всех друзей моих сошлись,  
Поэтому оно теперь большое.  
Попробуйте его вы погасить,  
Дотронетесь — и руки обожжете.  
Оно само собой сгорит в полете,  
Согрев того, кто дал мне право жить.

# Михаил ТАНИЧ

---

## КОМЕНДАНТША

Комендантша пахнет хлоркой  
и горелым луком,  
занята кухонной склокой,  
мелочной и глупой.

Чья любовь и чья забота —  
люди треплют всяко,  
и ползет за ней, за бабой,  
сплетня из барака.

В комнатенке занавески —  
счастье кружевное.  
Довелось побыть невестой,  
не пришлось — женою.

Караулит бабью спальню  
мертвыми зрачками  
довоенный флотский парень  
с четырьмя значками.

И тому письму в комодке  
двадцать лет в июле.  
Так она одна и ходит  
у чужой кастрюли.

Теребит ключи в кармане  
от чужого счастья,  
несмываемого ВАНЮ  
носит на запястье.

Дела нет по-за годами  
никому нимало,  
что портрет над лебедями,  
было, и снимала.

У любой душа не камень,  
но висит в бараке  
снова флотский со значками  
в золоченой рамке.

Часом хмур, а часом — ласков,  
все как есть видавший,  
недосказанная сказка  
нашей комендантши.

## ОФИЦЕРШИ

Училище.  
Во всяком случае,  
На восьмерых — бачок борща,  
И под сержантом старослужащим  
Курсанты ходят трепеща.

Невесты улыбались сдержанно  
И миски расставляли ловко.  
Не зря дразнили офицершами  
Официанток пищеблока.

Они не дольше чем до выпуска  
Служили кухне полковой.  
А после — загговская выписка  
И номер почты полевой.

Любовный бред скамей насиженных,  
Глаза вокзальных этажей  
И письма лейтенантов стриженных,  
Так называемых мужей.

Училище.  
Пальба.  
Мишени.  
И офицерши в завитках,  
Как мимолетные виденья  
С пустыми мисками в руках.

## СОРОКОПАТКА

Острые готические шпильки  
Как скелеты рыцарских веков.  
Танки из-за ратуши лупили,  
Пулеметы били с чердаков.

В зелень бронебойную одета,  
Раскалив нарезы добела,  
Пушка от кювета до кювета  
На бурлацкой силушке плыла

Не дрожа, глядела смерти в очи  
И катилась дальше по стерне.  
Уходили в госпиталь наводчики,  
Пушка оставалась на войне.

Полковая сказка и былина,  
Что ж ты не продлилась до Берлина!  
Нависали тучи над покосами,  
Бурные от сполохов огня.  
Повалилась пушка вверх колесами,  
Солдатню броней заслоня.

Прощевай, родная батарея,  
Отходила пушка по земле,  
Чтобы жить в музее, не старея,  
С инвентарной биркой на стволе.

Заново покрашены станины,  
С подранной густматики колес  
Пыль дорог от Курска до Берлина  
Поотмыл рачительный завхоз.

# Нивита СУСЛОВИЧ

---

## ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

Миллиметровое стекло  
Ничейной полосой,  
Автобус дышит тяжело,  
Ползя сквозь дождь косой.

Он крепко джипами зажат  
На несколько часов.  
Их радиаторы дрожат,  
Как морды гончих псов.

Пускай не видно кулаков,  
Но взгляды бьют в висок.  
Мы тридцать русских моряков,  
Автобус — островок.

В глухом молчании сирен  
Он им как в горле кость,  
И напряжение антенн  
Вдруг всем передалось.

Нам мерять по земле шаги  
И плавать по воде,  
Но знать, что есть у нас враги,  
И точно помнить —  
где!

## БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА

Много разных стен на белом свете,  
И удел у каждой в жизни свой:  
У одной из них играют дети,  
Вдоль другой

шагает часовой.

Стены окружают нас на улице,  
Дома приучают к тишине.  
За стеной влюбленные целуются.  
И ведут расстреливать к стене.  
Стены,

не погибнув от пожаров,  
В новые вступают времена.  
Есть Стена

парижских коммунаров,

Поднялась

берлинская стена.

Встала душной августовской ночью  
На плиту плита,

как грудь на грудь,

Словно цепь разгневанных рабочих,  
Что фашистам преградили путь.

## «СУД ПАМЯТИ» ЕГОРА ИСАЕВА

Это — поэма о войне. И о мире. И о человеке. О том, который оказался жертвой фашистского преступления. И о том, который сегодня вместе с нами шагает по свету, работает, думает, любит, мечтает — живет! Русские, немцы, англичане, французы, американцы, поляки — люди всего мира персонажи поэмы.

Место действия — планета Земля. Вот мы стоим на одном из полигонов гитлеровской Германии, или вдруг оказываемся около фронтовых блиндажей у Великих Лук, или становимся свидетелями того, как по улицам западногерманского города печатают железный шаг боннские реваншисты.

Это — поэма о современности, в самом широком значении этого понятия. И о прошлом. И, пожалуй, более всего — о будущем.

Да, в наше время — время больших надежд и больших тревог — человечеству особенно необходима ясная, трезвая память!

Сегодня нужны не пацифистские сетования, не нагнетание страха перед атомной угрозой, а глубокое философско-историческое осмысление природы войн, социальных первопричин войны, пробуждение и воспитание в человеке чувства высокой ответственности за все происходящее вокруг. Вот почему едва ли не самое большое зло сегодня — это равнодушие. Равнодушные обыватели.

Своевременность, продуманная и точная целенаправленность поэмы Егора Исаева очевидны. Уже первые страницы ее вызывают большое доверие к автору. И чем дальше, тем все отчетливее ощущаешь силу голоса, широту дыхания, все более наполняешься искренней, подлинной взволнованностью поэта.

Отказавшись от прямого публицистического обличения виновников минувшей войны, поэт пришел к психологическому раскрытию и изобличению вчерашних убийц (а вместе с ними и сегодняшних подстрекателей атомной катастрофы), к выявлению глубоких корней совершенного преступления, к образному показу и той «первой кнопки», которая порождает начальный взрыв, и тех равнодушных, бездумных людей, которые способны по первому же окрику нажать ее, эту кнопку.

В печати нашей о поэме «Суд памяти» уже сказано много хорошего и правильного. Но трудно согласиться с теми, кто видит в ней лишь трех героев. В «Литературной газете», например, прямо так и сказано: «...три человеческих портрета рисует поэма. Герман Хорст, его сосед Курт и старик Ганс — живые памятники войны». Скажем прямо: не те памятники! Можно ли не заметить главного героя поэмы, глазами которого увидено все в ней происходящее, сознанием которого осмыслена трагическая опасность нового мирового взрыва, совестью, опытом, верой которого уличен и пристыжен безрассудный обыватель Хорст.

Истинный герой поэмы конечно же советский воин-победитель! Именно этот образ невольно возникает перед мысленным взором читателя. И уж если говорить о памятниках, — «памятник при жизни полагается» ему одному! Да он, собственно, уже и сооружен. Высится он, памятник этот, в берлинском Трептов-парке: советский боец держит в левой руке спасенное детство, а в правой меч правосудия, разрубивший спрутское сплетение свастики...

Недаром на литературных вечерах и читательских конференциях Егора Исаева обступают фронтовики. И не только фронтовики. Хочется привести здесь запомнившееся мне недавнее выступление московского рабочего-шлифовальщика Николая Смирнова на читательской конференции в Октябрьском зале Дома союзов.

«Первый раз я услышал поэму, — рассказывал он, — на Дне поэзии в Лужниках. Я не знал ее до этого времени. И вот когда Егор Исаев начал ее читать, я почувствовал, что меня будто кто-то в стул вжимает... Никогда ничего я не боялся и сейчас не боюсь, но в тот момент я испугался! Я шел домой с этого вечера пешком и все время думал об этой поэме. Сам я не воевал, но у меня не вернулся с войны брат... Я его, правда, тоже не знаю, — только по фотографии... Но почему-то перед этим портретом, который висит у меня на стене, я теперь, как никогда, почувствовал огромную ответственность.

Не так давно, — продолжал молодой рабочий, — перед выборами, ездили мы в подшефный колхоз. И там, вечером в клубе, я читал отрывок из поэмы. Прочел и — гробовое молчание. Я пошел со сцены, сделал, наверное, шагов восемь, и вот, когда я уже взялся за ручку двери, зал очень дружно, как будто там кто-то дирижировал, взорвался аплодисментами. Может быть, я читал плохо, но стихи не понять они не могли. Они просто на какое-то мгновение оцепенели: ведь там сидели люди, которые воевали, которые потеряли детей на фронте...»

Что может быть для поэта дороже такой оценки, такого отношения к его работе!

В том же номере «Октября» рядом с поэмой Егора Исаева опубликовано стихотворение Николая Асеева «Карнавал». В этой переключке поколений поэты выглядят ровесниками, настолько отчетливо их единомыслие, настолько они близки в восприятии сегодняшней действительности.

Радует в этой переключке и сознание того, что на смену старейшим мастерам русской советской поэзии приходят новые, молодые силы, достойно продолжающие ее славные традиции, несущие в сердца людей волнующее слово большой правды, большой поэзии.



## БЕСПОКОЙСТВО ПОЭТА

С моим земляком Сергеем Викуловым я впервые встретился в 1947 году. Приехал он тогда из Вологодского пединститута в Ленинград на совещание молодых авторов. В Вологде стояли крепкие морозы, улицы — под сугробами снега. Студент Викулов рассчитывал, что в Ленинграде должно быть так же, как и в Вологде, по-зимнему морозно, а потому он приехал в тяжелом тулупе и в подшитых валенках.

В Доме Маяковского, в котором должно было быть обсуждение стихов С. Викулова, это одеяние произвело, вероятно, на окружающих не лучшее впечатление. Но под стареньким пиджаком на выцветшей гимнастерке у Викулова два ордена Красной Звезды.

Прочитал. Его выслушали.

...Не то чтобы очень, и не очень чтобы то. Не исключена возможность, если автор будет работать над собой, усвоит технику стиха и т. д. и т. п. Примерно таков был смысл высказываний. Едва ли эти советы начинающему были вдохновительны.

Прошли годы...

Еще недавно С. Викулов вышел из звания «молодых», а между тем уже более пятнадцати лет он пишет и печатает стихи в журналах и отдельных сборниках.

К настоящему времени голос Сергея Викулова настолько окреп и возмужал, что он вправе с матерью-родиной Россией разговаривать клятвенно и на «ты».

Ты — вечная — моложе век от века!  
Тебе, моя великая страна,  
Ни позолота лести человека,  
Ни пудра фраз красивых не нужна!  
И ты, великодушная на диво,  
Казни меня забвеньем, коль солгу...  
И без меня ты можешь быть счастливой,  
Я без тебя, Россия, не могу!

Он пишет о том, что видит, что наверняка знает, что пережил душевно сам, о том, что волнует его беспокойное сердце. Но это не значит, что поэт фактографирует видимое. В его поэмах «Преодоление», «Трудное счастье», «По праву земляка» дано обобщение колхозной жизни, хорошо и всесторонне знакомой автору в условиях нашей русской северо-западной зоны.

В этих произведениях видны настоящие люди — борцы за процветание колхозов, но и есть такие, временщики, которые, прибыв в колхоз по путевке из города, испугавшись трудностей и не минаясь с деревенской скукой, спешают обратно в город, где «будут знать»,

...зевая сладко,  
Что не ему бежать с утра  
В бригады, где людей нехватка,  
В поля, где тонут трактора...

Конечно, невелика польза колхозу от такого слабого духом «посланца». Вернее, никакой пользы. Чуткий крестьянин-землероб сразу увидит и узнает «по полету», что эта птица не оживит колхоз.



Мне не раз приходилось бывать с Викуловым в поездках по родной Вологодчине, приходилось слышать его выступления и видеть, с какой горячей любовью принимают его на больших собраниях-встречах земляки, и как радуют поэта сдвиги в сторону улучшения в колхозной деревне, и как огорчают и вызывают справедливую досаду многие серьезные недостатки, требующие вмешательства.

Возвращаясь к прошлому, переживает поэт и за тех деревенских девчат, которые в годы войны, в певеселое время, ожидали парней из армии с победой. В ту пору:

Были болью, были мукой,  
Не стихавшей ни на миг,  
Эти песни о разлуке,  
Эти пляски «под язык».

Заметьте: «под язык», под собственные голоса, имитирующие гармошку.

Не скрывая теневых сторон деревенских трудностей и не прикрывая их, Викулов в основе своего творчества — оптимист и правдолюбец. С верой в светлое будущее колхозной деревни он не только взирает, но и борется за расцвет деревни, употребляя при этом все усилия поэтического дарования.

О Викулове еще скажут свое весомое слово критики и литературоведы. А пока в этих беглых штрихах мне хочется упомянуть еще об одном факте. Было это в Архангельске. Викулов приехал из военной части, из Вологды. На Двине — ледоход. Переход невозможен. Рисковать более чем опасно. Но дисциплина обязывает вернуться в срок. Конечно, никто не поставил бы капитану Викулову в вину опоздание по столь уважительной причине. И вдруг огромная льдина развернулась, наискось уперлась с правого в левый берег, почти в самый вокзал. Викулов, подогнув полы шинели, бросился бежать по льдине. С берегов смотрели без восторга и изумления. Одни кричали: «Вернись!», другие предвещали: «Погибнет».

И меня упрекнули:

— Зачем вы ему позволили? Кто он такой?

— Не погибнет, этот парень — белозер, рыбак. На Белом озере вырос...

А через полчаса, отдышавшись в вагоне, Викулов записывал в блокноте:

#### ЛЕДОХОД

Я дьявольски люблю его работу —  
Неукротимый ход воды и льда.  
Что мне напоминает он?  
Пехоту,  
Штурмующую крепости, когда  
Отваге тесно на широком поле,  
И цепи не рдеют — их все боле, —  
И наша сила верх таки берет!..

И в этой малой черточке сказывается натура целеустремленного к творческой победе поэта.

## СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ

### 1

Так просто, словно речь шла о бесспорном, очевидном для каждого, кто его слушал, летчик-космонавт рассказывал о своем полете.

Молодые и старые советские люди с гордостью, а кто и с веселой робостью, иностранные гости, друзья и те, что хотели казаться друзьями, смотрели на верткого, небольшого росточком, как сказали бы в деревне, русского парня, не ангела и не черта.

Человека, чье мужество и мастерство было началом необычайной новой земной профессии, слушали академики и домохозяйки, простые и не очень простые товарищи и граждане, и слушал его священник. Он одобрительно склонил голову, когда космонавт сказал, что земля — это песчинка в звездном океане, вместе с другими заплодировал, когда человек-ангел сказал, что он был там, где бог испытал бы головокружение от успехов; подозрительно щурился, поощрительно усмехался и, мудро любопытствуя, смотрел и смотрел на победителя небес...

И вспомнился мне поп, что в грязной вонючей тюремной камере приходил исповедовать Николая Кибальчича в ночь перед казнью.

Батюшка волновался, а Кибальчич — первый строитель звездолетов — оттолкнул протянутый ему крест.

Он был прост, храбр, и мы его не забудем.

### 2

— Видишь, Танька, — сказал я, — растет дерево, его называют — вяз.

— Ну и что? — сказала Танька.

— А то, что в нем нет ничего особенного: стоит, протягивает ветки к другим деревьям, вокруг него шныряют трясогузки, из дупла вылетела бабочка. Вяз как вяз, но это надо запомнить.

— А зачем? — сказала Танька.

— Когда ты будешь учительницей, а я летчиком, мы увидим такое, что сейчас и в голову не приходит. А зажмуримся — и сразу вспомним: был вяз, из дупла вылетела бабочка, ну и все такое прочее...

— И облачко над верхушкой, — сказала Танька.

— И облачко, и тропинку.

— Нет, — сказала Танька.

Странное дело. Помню, и даже очень хорошо, вяз, бабочку и все такое прочее... А Таньку, Таньку позабыл.

Нет, не забыл. Любил.



## Дмитрий ГОЛУБЦОВ

---

### РУССКАЯ ПРИРОДА

Когда на север хлынули славяне,  
От врага спасая свой очаг,  
Березовое млечное сиянье  
Дорогу освещало им в ночах.

Ока сверкала,  
Око обольщая,  
Оковывая дали серебром,  
И улыбалась Волга голубая,  
И звал Урал в свой заповедный дом,

И, чтоб сыны вовек не обнищали,  
Природа недра отдала свои,  
И жили с ней в согласие огнищане,  
Учась у ней упорству и любви.

Она дарила удаюю силой  
Осанистых своих богатырей,  
Морозами и грозами разила  
Она незваных и лихих гостей.

Она леса, как кудри, разметала,  
Как девушка влюбленная чиста,  
И, встретясь с ней, глазастый древний  
малый

Впервые молвил слово:  
«Красота...»

Она всегда — и древле, и поныне —  
Нам помогала, добрая краса,  
Таежной темью и небесной синью  
Всклень наливая русские глаза.

Подобная глубокому колодцу,  
Поила прадедов твоих она,  
И правнук твой  
живой воды напьется  
И, как твой пращур, не увидит дна.

И, озаряя блеском небосвода,  
Скупая и бесстрастная на вид,  
Прекрасная российская природа  
Его поймет,  
обнимет,  
защитит.

## Гарольд РЕГИСТАН

---

\* \* \*

Трещал мороз. Храпели кони.  
Луна металась впереди.  
Твои холодные ладони  
Я прятал на своей груди.

А сани пели. Хохотали.  
Неслись, полозьями звеня.  
То вдруг тебя ко мне бросали.  
То отрывали от меня.

Уже за первую осиною,  
Едва ворвались сани в лес,  
Гудящий век автомашинный  
Застрел в сугробах и исчез.

А мы неслись, как от погони,  
В заиндевелые леса.  
И стали теплыми ладони.  
И стали добрыми глаза.

# Виктор ПОЛТОРАЦКИЙ

---

## РЕКИ

### *Гусь*

В босое детство оглянусь,  
И сладко вспомнить мне,  
Что есть такая речка — Гусь  
В мещерской стороне.

Не глубока, не широка —  
Иных ручьев скромней,  
А для меня она —  
Река!  
Все отразилось в ней.

Сиянье трепетных берез  
И ржавчина раки,  
Зарницы юношеских грез  
И горький дым обид.

Была началом всех начал  
Она в судьбе моей.  
Я утро жизни с ней встречал,  
В дорогу вышел с ней.

Порой, сраженный наповал  
Нагрянувшей бедой,  
Я раны сердца врачевал  
Ее живой водой.

Я к ней  
Душой своей стремлюсь,  
И сладко вспомнить мне,  
Что у меня есть речка Гусь  
В мещерской стороне.

## *Судогда*

Коли хочешь знать,  
Есть ли чудо где,  
Я скажу тебе:  
Есть  
На Судогде.

Побывай весной  
На реке лесной, —  
Утро пахнет там  
Золотой сосной.

А еще,  
Чтоб вольготнее  
Нам дышать, —  
Под сосной колокольчики  
Ландыша...

Подойди к воде,  
Наклонись над ней, —  
Каждый камешек  
Разглядишь на дне.

А попробуешь,  
Как на вкус сладка, —  
Молодеть начнешь  
С одного глотка.

Серебро ковшом  
В нее звезды льют,  
Соловьи  
Ее перед песней пьют.



## ЗЕМНОЕ ЛЕТО ВАСИЛИЯ СУББОТИНА

Сборник открывается простодушным признанием:

Меня всегда необычайно трогал  
Внезапно загоревшийся пейзаж.

Тут немало стихов, знакомых по прежним книгам Субботина. Но это первая книга, куда поэт рискнул не включить того, что написано им о войне и на войне. Говорю «рискнул», ибо те стихи, «военные», как бы определяли облик поэта. Что остается без них? Пейзажная лирика? Да, именно она, если судить по внешним приметам.

Но читаешь «Земное лето» и вспоминаешь одного из гайдаровских героев. Того самого, кто считал солдатскими все хорошие песни, которые он пел своему сыну, приводя в оправдание поразительные доводы, из коих со всей неопровержимостью следовало, например, что «Горные вершины» — походная песня, сложенная в трудном пути к человеческому счастью и справедливости.

«Пейзажные» стихи Субботина — стихи солдата, который помнит, что «громыханием в небе тугом начинаются войны», помнит «тот неубранный хлеб, что горит на корню, на запруженной этой, пропахшей бензином дороге». Следуя герою Гайдара, нетрудно доказать, что лучшие стихи «Земного лета» — в сущности «солдатские песни». . . Стихи, где «дышит оттаявшею стужей земля». Где «ночной снежок ложится на пороге». Где течет лесная река, чья вода «окрашена корой сосновой». Где, «во тьме плавниками светясь, по дну пробираются окуни». Где разгулявшаяся зима «шубу кидает на шубу и шапку на шапку кладет». Где в «степи, просоленной и голой, перепелок тоскующе жалобный крик», и в той же степи «небо к вечеру замолкнет и уже — поет земля», и «спрятались какие-то в траншее маленькие очень деревца» («солдатский» образ!), предвестники новой красоты, новой жизни. Где со стихией моря как равные встречаются душа Пушкина («полдневный гул встающих волн всю жизнь его тревожил») и душа ребенка:

Своею волною зеленой  
Закрыло оно небосвод.  
Глядит удивленно ребенок  
И ладушки-ладушки бьет.

Опыт прошлого, ощущение настоящего, предчувствие будущего пронизывают «мирные» стихи Субботина. Им по-прежнему присуща солдатская собранность и юношеская жажда чистоты.



# Сергей ВАСИЛЬЕВ

---

## БЕКАСНИК

(С ФАМИЛИЯМИ И БЕЗ)

*Василию Ардаматскому,  
автору повести «Он сделал все, что мог»*

Его я, видит бог,  
судить не буду строго.  
Он сделал все, что мог,  
хоть сделал и немного.

*Андрею Вознесенскому,  
автору «Треугольной груши»*

Силен Вознесенский Андрюша,  
он нас повергает в испуг:  
на нем треугольная груша  
и — восьмигранный сюртук.

*Разные хотенья Евтушенко Евгенья*

Между этими и теми  
захочу — вьюном вильну.  
Захочу — на острой теме  
уникально спекульну.  
Захочу — под видом схватки  
с культом личности — свою  
личность в экстренном порядке  
из бумажных роз совью.  
Захочу — саморекламу  
разафишу — ой, лю-лю! —  
даже собственную маму  
в эту музыку втравлю.

*Робкий совет критику Ивану Чичерову*

Скажем прямо-откровенно,  
правду-истину любя:  
никакого Демосфена

не случилось из тебя.  
Видно, вздумалось фортуне  
ехать мимо колеи,  
коль остались снова втуне  
все филиппики твои.  
До признания далече,  
и ничтожны барыши.  
Брось ты, Ваня, грохать речи,  
а скорей садись пиши.

*Марш песенников-текстовиков*

*Ура! Мы ломим. Гнется Швеев (Яков)*

Мы не поэты, не писатели,  
нам это дело не с руки,  
мы в целом даже не читатели,  
мы толкачи-текстовики.  
На черта нам находки свежие!  
Хорей — пырей, кювет — сонет,  
клавир—пломбир, суфле—сольфеджино,  
четыре сбоку — ваших нет!  
Нам не нужны эти... эпитеты  
и эти... как их... образá.  
Мы производим текст копытами,  
добра хватает за глаза.  
Ведь как-никак почти безмолвствуют  
и Исаковский и Светлов,  
а композиторы проворствуют  
и задыхаются без слов.  
Вот и живем мы припеваючи,  
безбедно,  
лихо,  
мирово.  
Вчера, сегодня, завтра, давеча —  
до-ся-ля-соль-фа-ми-ре-до!



## Юрий СБИТНЕВ

---

### РАПНЕЕ УТРО

О деревенская побудка  
С высоким криком петуха,  
Твоя веселая погудка —  
Как строчка первая стиха.  
Я просыпаюсь до рассвета  
И слышу: бойко и легко  
Бежит в большие чаши лета  
Упругой стружкой молоко.  
И вся деревня, словно гусли,  
Так говорлива и звонка  
От этой чистой, безыскусной,  
От доброй песни молока...  
А в белых облаках халатов  
От гордых, царственных коров  
Несут колхозные девчата

Парные запахи лугов...  
Потом застенчиво и тонко  
Подает калитка голос свой,  
И выйдет с ведрами девчонка.  
Простоволосой и босой  
Она пройдет тропинкой волглой,  
Плечами знобко поведет,  
Уже совсем, совсем недолго  
До света. Зреет небосвод,  
И звезды падают в колодцы,  
А я еще минуту жду —  
Вот-вот девчонка засмеется,  
Ведерком зачерпнув звезду.  
О деревенская побудка  
С высоким криком петуха,  
Твоя веселая погудка —  
Как строчка первая стиха.

## Григорий ГЛАЗОВ

---

### ПОДЪЕЗДЫ

Подъезд, где гулкая походка,  
и тишина, и сквозняки.  
Шли сквозь него тайком на сходку  
подпольщики-большевики.

В подъезде углового дома,  
где правил всем бедняцкий быт,  
в распал махновского погрома  
мой дядька-шорник был убит.

А в этом, где перила-дуги,  
где воздух в зной прохладно чист,  
жил много лет кумир округи —  
наш знаменитый футболист.

Подъезд, где, воровски пируя,  
коты хвостами пол мели...

Здесь мы, мальчишки, озоруя,  
на стенах клинопись вели.

А здесь, где холодно-хрустелен  
широких лестниц лабрадор,  
был шеф гестапо пулей свален  
и на полу добит в упор.

Подъезд, где провод оборвался,  
где мелом пачкала стена!..  
Я в нем с девчонкой целовался,  
Кто знает, где теперь она.

А время трогается с места,  
я отстранен другой судьбой:  
мой сын выходит из подъезда  
и гонит мяч перед собой.



## ПОЭЗИЯ ЗЕМЛИ

«Просека» — так назвал свою первую книжку стихов молодой поэт из Иванова Геннадий Серебряков. Мы встретились с ним на 4-м Всесоюзном совещании молодых писателей.

Угловатый, порывистый, Геннадий чем-то похож на свои стихи. Циклы «Начало биографии», «Земля и небо» и лирическая поэма «Молодость века» составили его книгу, звонкоголосую, акварельно-ясную, с раздумьями, с сыновней любовью к полям, травам, облакам и людям.

Мне сегодня не спится,  
И не пишется мне,  
И звезда, как синица,  
Бьется в синем окне...

Внук палехского богомаза, Геннадий Серебряков словно бы унаследовал от деда пристрастие к яркой, буйной манере письма.

Но это буйство красок, удивительно сочетаясь с поэтической конкретностью, зримостью образов, не становится самоцелью, а рождает ту самую гармонию, которая и зовется поэзией.

Вот поэт любит озерами среднерусской полосы:

Как старые аэропланы,  
Над ними летят журавли...

Старое, полузабытое слово «аэропланы» неожиданно оживает и, казалось бы нерусское, становится старинно-русским, а банально летящие журавли смотрятся совсем по-новому, поэтически свежо.

Но не только природа родной земли, а и человеческие страсти, радости и трагедии живут в молодых стихах Геннадия Серебрякова.

Умирают поэты... Безвозвратно уходят.  
Их сердца, как планеты, над нами восходят.

Запахи земли — вот те два слова, которые рождаются в душе, когда залпом прочитаешь книгу Геннадия Серебрякова. И в этом смысле он родной брат таких разных по манере письма, но единых по духу поэтов, как Александр Романов из Вологды и Павел Халов из Хабаровска, Владимир Гордейчев из Воронежа и Виталий Коржииков из Владивостока, Дмитрий Блынский из Орла и Владислав Шошин из Ленинграда, чей талант глубоко национален и народен.



## Инна ЛИСНЯНСКАЯ

---

### СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ

Ты не зови ко мне врача!  
Ах, что ты знаешь,  
Что ты знаешь?  
Мне предлагалось два ключа —  
Бери который пожелаешь.

Один — железный, от казны,  
Для разных благ был уготован.  
Другой был поперек струны  
Обычной тушью нарисован.

Он был, как крендель, завитой,  
И точным был он, как наука.  
И я взяла тот ключ второй —  
Замысловатый символ звука.

Я отпирала им дожди,  
И птичью жизнь,  
И жизнь мотора,  
И стук ритмический в груди,  
Не отрицающий повтора.

Скрипичный ключ!  
И голоса  
Корней и звезд я рисовала,  
Я утверждала чудеса, —  
Насущным хлебом рисковала.

Мне мстил железный ключ.  
Чудак! —  
Он не забыл моей гордыни.  
И никаких житейских благ  
Я не имею и поныне.

И не зови ко мне врачей,  
Гипнотизеры — не пророки!  
Мне снова взять из двух ключей  
Тот самый тяжкий и высокий.

\* \* \*

Снега лениво таяли.  
И вдоль домов ручьи  
Гремели всеми тайнами  
Арктической ночи:  
Бутылками обычными  
У каждого окна,

Зеленым да коричневым  
Стеклом из-под вина  
Да белым из-под водочки.  
Где редко,  
Где всерьез  
Выбрасывали форточки  
Бутылки на мороз.  
В одном дому — по случаю,  
В ином — когда невмочь  
В полярную, тягучую,  
В стосуточную ночь.

Но веселы работники  
Суровой стороны.  
И справились субботники  
С болтливостью весны.

\* \* \*

Будто гладкая поляна  
Эта простыня...  
Все реально и полярно  
В жизни у меня:

Тяжелы пустые сети,  
Полные — легки,  
И в меня,  
Как в бочку сельди,  
Втиснуты стихи.

Сны мои непроходимы,  
Как тайга зимой.  
Эти сны необходимы  
Для меня самой.

Птичьи вопли,  
Волчьи игры,  
Снега полоса...  
Сквозь снега  
Проходят иглы,  
Целятся в глаза...

Я сквозь сосны продираюсь,  
Снег  
Стираю с век...  
Просыпаюсь,  
Улыбаюсь  
На нежданный свет.

# Александр ОЙСЛЕНДЕР

---

## ЖЕНЩИНА НА БЕРЕГУ

Раздетая,  
На влажном берегу  
Стояла молча женщина.  
Наверно,  
Жена или дочь  
Кого-нибудь из тех,  
Кто укреплял кренившуюся насыпь  
И шпалы почерневшие сменял.  
То было не купаньем, а зарядкой,  
А женщина скорей всего была  
Приезжею, быть может ленинградкой,  
Которую недавно занесла  
Судьба на стройку или на промысла.  
Катившаяся вспененною грядкой,  
Ее вода холодная не жгла  
И не пугала зябкой лихорадкой.  
Была еще по-летнему смугла  
Смотревшая вслед поезду украдкой.  
Но, легкое дыхание тепла  
Развев над строительной площадкой,  
Состав ворвался в сумрачный тоннель —  
И, как виденье, сразу все исчезло:

И женщина, и дымный горизонт,  
И море, что ворочалось устало,  
Перебирая гальку и шурша.  
Утраченное, все вернулось вскоре —  
И небо, и побережье, и вода,  
Лишь женщина, стоявшая у моря,  
Как легкий пар, исчезла навсегда.  
Я ощутил, что далеко не прежним  
Все возвратилось на свои места.  
И берега, и водное пространство,  
Лишенные присутствия ее,  
Вдруг стали неприступней и суровей,  
Как будто в север превратился юг.  
И лес шумел, густые сдвинув брови,  
И не было гармонии вокруг.  
Та женщина  
Была совсем чужою,  
С донныне неизвестной мне судьбой  
И с непонятной, может быть, душой, —  
Но так спешил к ногам ее прибой,  
Так море штормовое повторяло  
Цвет глаз ее, а мост — дугу бровей, —  
Что без нее все сущее теряло  
Как бы частицу прелести своей.

## Николай ГРАЧЕВ

---

### СРУБЫ РУБЯТ

Срубы рубят.  
Бревна ровно тешут —  
С смоляными цифрами концы.  
Срубы рубят — ровно душу тешат,  
Охая, на мох кладут, в венцы.

Бицепсы бугристы, спины потны,  
Цвет — ячменный кофе с молоком.  
Тяжело, а вроде беззаботно  
Срубы рубят —  
С волжским говорком.

Срубы рубят.  
Поднимают ровень

С кронами соседнего леса.  
И щепка легко слетает с бревен,  
Словно с губ подсолнухов лузга.

...Радиола где-то шпарит самбу,  
Вдалеке гармоники грустят.  
В конусе лучей электролампы  
Огурцами плотники хрустят.

А потом рядно в сарае стелют,  
Там, где пахнет сеном, —  
На покой...  
Ах, как сладко спать в такой постели,  
Прилепившись к ватнику щечкой!

## ТАЙШЕТСКИЕ СТИХИ

1

Гудят  
и шастают  
                                ветра  
над трассой вьюжной  
                                до утра.  
Мгла  
с пеной белой  
                                пополам.  
И ноют провода,  
                                и дрожью  
столбы пронизаны, —  
                                быть может,  
столбы  
завидуют  
                                стволам?  
Широким.  
                                Налитым.  
                                Над ними  
гуляют вьюги  
                                в млечном дыме...  
О, как просторен  
                                и ядерн  
дремучий дух  
                                и рокот крон!  
А может, средь кромешной мглы  
столбам  
                                завидуют  
                                стволы?  
Еще бы!  
Из чащоб и льдов  
столбы восходят  
                                над округой,  
железной связаны порукой, —  
повиты  
                                зыбью  
                                проводов.  
Они в веселые края  
бредут,  
                                расшвыривая тучи...  
И хмуро,  
                                яростно,  
                                тягуче  
рокочет  
                                хрипая хвоя.

2

То снег, то дождь —  
                                наперебой —  
над изыскательской тропой.  
Всю ночь  
                                слонялся дождь,  
                                шурша,  
по жидкой крыше шалаша.  
И где-то  
                                вешняя шуга  
шипела  
                                в белых берегах.  
И пела  
                                в буреломе прелом  
рысь, потрясенная апрелем.  
И плакал сыч.  
И кликал лось.  
И почему-то не спалось.  
Все вспоминалось,  
                                вспоминалось,  
чего-то все  
                                в ночи  
                                ждалось...  
И плакал сыч,  
и кликал лось,  
а утро все не начиналось.  
Ночь да туман, —  
когда все это кончится?  
Шуга шурует,  
                                мрак росу творит.  
Как хочется,  
                                о, черт возьми,  
                                как хочется,  
как хочется  
                                завещанной зари!  
И вдруг увидел я  
                                сквозь мглу:  
в углу,  
                                на торфяном полу,  
стряхая с почки  
                                иней  
                                синий,  
листок возник  
                                на хворостине;  
ее зимой  
                                сломал  
                                прохожий,  
сломал,  
                                забросил в снег,  
                                и все же  
она жива сейчас, —

она  
своим упрямством  
с нами схожа!..  
Лучи прошли бездорожье.  
Светает. В путь зовет весна.

з

Вломился  
в глухомань  
апрель.  
В распадках  
оживает  
прель.  
Капель блистает и шуршит.  
Осинник сизый  
в соках горьких.  
...Медведь  
залег зимой  
в глуши,  
а пробудился — на задворках.  
Ах, непонятно все  
и странно  
ему  
среди сырых лесов:  
ограды,  
хищный хобот крана,  
смятенный гомон  
голосов.  
И встал,  
как глыба,  
в зябкой мгле,  
и вздрогнул зверь  
голодным телом,  
под небом,  
от тумана белым,  
на черной  
от следов  
земле.

Он встал,  
косматый кряж,  
осколок  
дремучей воли,  
древней тьмы.  
И плеском канувшей зимы  
был полон мир.  
И был поселок  
окутан  
в громы и дымы.  
И крикнул зверь  
в лицо врагу,  
от ужаса изнемогая.  
Он прошлогоднюю тайгу  
на миг припомнил,  
убегая;  
была тайга  
совсем другая,  
в непотревоженном снегу.  
Он убегал,  
грозя и плача,  
в трущобы,  
в княжество хвои...  
А за спиною —  
вой собачий,  
огни,  
мазутные ручьи.  
А за спиной  
гудит сквозь снег  
век непреклонный,  
грозный век,  
тревожный век!  
И — не уйти...  
Легли по ярам и берлогам  
его  
нелегкие  
пути —  
его  
железная  
дорога!



## Олег ЗВЕРЕВ

---

### НЯНЕЧКЕ

Вдруг проснешься в зыбкой мгле палаты.  
И рукою шарить. Мгла тепла.  
Словно рядом только что была ты.  
И тайком ушла.

И опять встревожен я пропажей  
Близости, придуманной во сне.  
Значит, снова будет ночь бродяжьей.  
Значит, снова в путь пускаться мне...

Нянечка! Не будь ты слишком строгой.  
Ты дремли, ладонь прижав к щеке.

Мне идти заснеженной дорогой.  
В тапочках больничных. Налегке.

Я не простужусь. Не беспокойся.  
И не поскользнусь я на ходу.  
У меня хроническое свойство:  
Мне тепло, когда я к ней иду.

Спи, не будет утром канители...  
Нужно мне, покуда ночь черна,  
Посидеть на краешке постели,  
На которой тихо спит она.

## А. КОРОБОВ

---

### УТРО

Я поднимаюсь на рассвете,  
В тот час,  
Когда, замедлив взлет,  
Гудок фабричный  
По планете  
Вот-вот  
С размаху хлестанет.  
И тут уж нет ему спасенья,

Земля тверда,  
Земля крепка.  
Дробится мощное гуденье  
И брызжет в окна городка.  
Через минуту коренастые,  
И щуплые, и старики  
Идут,  
Ладонями грабастая  
Большие, вкусные зевки.



## В НОЧЬ ПОД ПЯТЬДЕСЯТ

За многие годы моего существования я выработал рецепт человеческого счастья: стань на место очень хорошего и обязательно очень талантливого человека — и никакого тебе больше счастья не надо. И вот я становлюсь на место очень любимого мною человека и поэта Александра Яшина. И я действительно счастлив. Потому что я забыл, что приближается моя ночь под шестьдесят. И сейчас я в образе Александра Яшина помолодел на десяток лет, а в моем возрасте это не так уж мало.

Большой, сложный и не всегда точный путь прошел этот хороший поэт. Но если бы этот его путь был асфальтированным, то на кой черт ему моя помощь.

Я произвожу впечатление весьма скромного человека. Но тот, кто обо мне так думает, глубоко ошибается. Эгоист я порядочный. И сегодняшний мой эгоизм заключается в том, что я от всей души, первый хочу поздравить Александра Яшина с его пятидесятилетием.

И еще мой эгоизм заключается в том, что я всегда хотел прикурить от божьей искры. В этом смысле я противоположен Александру Яшину. Его творчество напоминает мне хорошо натопленную печь, где с каждым годом все лучше и лучше выпекается свежий пахучий хлеб советской поэзии.

Мне очень много приходилось работать с молодыми поэтами. И очень, очень редко для меня их творчество было как открытие Ермаком Сибири. Я проезжал станции, давно отмеченные на географических картах. Иногда мне даже казалось, что эти станции существовали до изобретения паровоза.

А Сашу Яшина я знаю уже не первый год. И люблю я его не только потому, что мы ехали с ним в одном поезде, а потому, что мне удивительно нравится ходить с ним пешком по тому удивительному пути, который ведет к поэзии.

И вот, состоя с ним в одном Союзе советских писателей, я очень хочу, чтобы нам надолго, надолго хватило мускулатуры и энергии для нашего великого дела.

*1/IV-63*



# Борис СЛУЦКИЙ

---

9 МАЯ

Замполит батальона энского  
Капитан Моторов Гурьян  
От бифштекса сыт деревенского,  
От вина цимлянского — пьян.

Он сидит с расстегнутым воротом  
Над огромным и добрым городом,  
Над столицей своей, Москвой:  
Добрый, маленький и живой.

Рестораны не растеряли  
Довоенной своей красоты.  
Все салфетки порассталили,  
Вилки, ложки понанесли.

Хорошо на душе Моторову,  
Даже раны его не томят.  
Ловко, ладно, удобно, здорово:  
Ест салат, заказал томат.

Сколько лет не пробовал сока,  
Только с водки бывал он пьян.  
Хорошо он сидит, высоко.  
Высоко забрался Гурьян.

ЧУЖАЯ СТРОКА

С ног не сшибла. Черкнула пером,  
Словно ласточка, словно птица.  
И — не вырубишь топором.

Не забудешь и не простишь.  
И какое-то новое семя  
Осторожно в душе растишь.

\* \* \*

Сколько крови в жилах,  
Сбыченных как грузчик,  
В жилах-старожилах,  
Сорок лет живущих,  
Сорок лет струящих  
Кровь сорокалетнюю!  
Не сыграло в ящик  
Мое поколение.

Мы еще не так себе,  
Мы еще ничего себе.  
Мы еще не все судьбе —  
Можем и себе.  
Мы еще не все слова  
Высказали до конца.  
Есть у нас по одному, по два  
Заветнейших словца.

# Игорь ГРУДЕВ

---

\* \* \*

Спилили.  
Ветки под ногами  
Трещат.  
Нет клена моего...  
Лишь пень расходится кругами,  
Где утонула жизнь его.



## Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ

---

\* \* \*

На насыпь высокую влезу,  
И вот за протяжным гудком  
Бегу я по синему рельсу,  
По шпалам бегу босиком.

А шпалы легли на полследа,  
А рельсы летят напрямик...

Мне надо объехать полсвета,  
Я к миру еще не привык!

Мне надо догнать его, надо,  
Я, может, потом никогда,  
Я, может быть, так безоглядно  
Не буду любить поезда!..

## Вера ЗВЯГИНЦЕВА

---

### ПЕР-ЛАШЕЗ

Я стою у Стены коммунаров.  
Мне цветы возложить поручили.  
Может быть, привилегия старых?  
Что же, пусть хоть по этой причине.

Ну могла ль я девчонкой-бунтаркой  
Ждать, что здесь, перед этой Стеною,  
Солище ляжет полоской неяркой  
На цветы, принесенные мною!

Опустилась бы я на колени,  
Да сочтут меня сентиментальной...  
Вот уже от Стены в отдаленье  
Мы идем по дороге печальной.

Солнце дрогнуло, похолодело:  
Эти молча кричащие руки,  
Эта гневная боль без предела —  
Память страшная о Равенсбруке.

Ни вздыхать мы, ни плакать не будем,  
Омраченные прошлого тенью,  
Лишь напомним забывчивым людям,  
Что не все предается забвению.

### СПОКОЙСТВИЕ

Советуют порою сердобольно  
Сторонники спокойствия души:  
Уймись, побушевала — и довольно,  
Сиди, прохладой вечера дыши.

Прохладой надышусь в молчанье вечном,  
А на земле горит огонь земной.  
Всю жизнь я прожила в жару сердечном,  
Зачем же под конец мне быть иной!

Конечно, возраст... Понимаю, знаю,  
Но не могу поверить, хоть убей,  
Что с возрастом приходит жизнь иная,  
Снаружи — глаже, в глубине — грубей.

Любовные тревоги миновали,  
Но мало ли еще других тревог!  
И на последнем горном перевале  
Всегда вперед стремительный рывок.

Куда? Опять в любовь, хотя в другую —  
Ко всем и ко всему, чем жизнь светла.  
Конечно, быть спокойной не могу я,  
Когда такое на себя взяла.

Ну как любить людей и жизнь бесстрастно,  
Как совместить покой с кипеньем дня?  
Напрасно вы, друзья мои, напрасно  
Спокойствием прельщаете меня.

## Сергей ДРОФЕНКО

---

\* \* \*

Люблю я перечитывать стихи,  
рожденные военными поэтами,  
знакомыми со смертью и поэтому  
все лживое встречавшими в штыки.

Их чистоту, их ненависть и боль  
хранят неувядаемые строфы,  
напряжены, как парашютов стропы  
над полем, где десант вступает в бой.

А было на войне как на войне.  
Она являла всякие примеры.  
И выявила добрые приметы,  
расплачиваясь с низостью вдвойне.

Пускай давно окончилась война.  
Но тех солдат — соавторов победы,  
Чьи песни — как весенние побеги,  
Еще несет военная волна.

## Николай ТРЯПКИН

---

\* \* \*

Я вновь селькор. И путь мой скромн:  
Иду на склад, бреду жнивьем.  
Земля просторна. Мир огромен.  
А я вот тут — в углу родном.

Поля мои! Кому ж другому  
Свои здесь рейды совершать?  
И я пишу. И злак знакомый  
Ложится на мою тетрадь.

Земля просторна. Мир огромен.  
Здесь тоже — только успевай:

В бригаде ждет учетчик Демин,  
На ферме — конюх Николай.

Трехтонка вышла на дорогу,  
Ползет, шумит соломотряс...  
Работы тьма, уборки много,  
И всюду нужен глаз да глаз.

Поля мои! Кому ж другому?  
Друзья мои! Чего ж искать?  
И я пишу. И злак знакомый  
Ложится на мою тетрадь.

## Анатолий ГУСЕВ

---

\* \* \*

Когда помру, когда скончаюсь  
И буду тронут холодком,  
Я над землею закачаюсь  
Непокоренным стебельком.

Не в государстве — царстве неком —  
В моей России

на века  
Я прорасту, чтоб человеком  
Мне выйти в мир из стебелька!



ЗЕМЛЯ ЛЕОНИДА АГЕЕВА

Известно, что поэты — первооткрыватели. Тогда каждая первая книга — еще не изученная земля.

Земля, открытая Леонидом Агеевым, а вместе с ним и нами, придется по душе многим. Она населена сердечными людьми, она солнечна и добра:

С того крыльца под утро  
такая глубина,  
в которой лес  
  как будто  
новая страна:  
открыты все границы,  
доступны все углы,  
не страшно заблудиться  
в запахах смолы...

Земля. Не только в цветении и благоденствии видит ее поэт, он говорит о ней — об усталой, постаревшей, пережившей суровые испытания.

У Леонида Агеева острое зрение. Он наблюдателен как поэт и вдвойне — как геолог. Молодой литератор — геолог, и профессия его часто подсказывает неожиданные повороты тем, новые решения:

Мы копали канаву в поле,  
торопились, чтобы согреться,  
и вдруг,  
  словно вскрикнув от боли,  
под лопатой звякнуло сердце.

Память возвращает поэта к войне. И хотя в стихотворении нет плакатных призывов к миру, оно настолько сильно написано, что становится страшно при мысли: а ведь земля и вновь может разверзнуться и поглотить новые и новые сердца. Сердца тех, о ком с любовью пишет поэт, — тех, кто добывает алюминий, тех, кто охраняет границы страны, тех, кто трудно и честно живет.

Нет, этого не должно быть. Земля будет цвести и плодоносить, человек — хозяин земли — будет жить, будет строить новую жизнь. Об этом — вся книга Л. Агеева.

Если внимательно читать сборник, видны еле заметные, почти пунктирные линии противопоставлений, на которых в общем-то и строятся стихотворения Л. Агеева.

Диалектичность его поэзии зиждется на сталкивании и сопоставлении понятий: мир — война, жизнь — смерть.

Агеев знает и любит природу. И не удивительно поэтому, что дороже всего на свете земля, мирная, цветущая, дарующая жизнь. Природа оживает в его стихах — трава у него ложится к солнцу головой, лес «на задних лапах» от глаз укрывает всю страну, за лесом падает «солнца стынувший каравай»... Все живет на земле Леонида Агеева — живет, опровергая смерть, войну.

Увлеченно рассказывает поэт о неоднородности и огромности мира, он сам проходит по его дорогам и тропам, думает о людях, встреченных в пути.

В городе поэту труднее. Иногда он сгоречью говорит: там «все улицы составлены из окон, за окнами — не познанное мной». Порою кажется,

что в большинстве случаев поэту просто не о чем писать в городе. Город далек от него. И тогда в стихах появляется придуманность, вялость, то, чего совершенно нет там, где вслед за поэтом входим мы в лес, в сказочную русскую природу:

Лес направо и лес налево,  
сходится позади саней,  
а сверху исчеркано небо  
взмахом голых ветвей.

Герой стихотворений Агеева активен. И там, где он сам является участником событий, стихи ясны и отчетливы. Там же, где поэт как бы отходит в сторону, они получаются недопроявленными, будто фотография, сделанная новичком-любителем («Времена года», «Весна», «Дети»). Стихи эти напоминают похожие друг на друга любительские фотографии, которые с деланным интересом смотришь в пухлых альбомах мало-знакомых людей.

А рядом — яркие законченные стихи. И именно они убеждают: земля Леонида Агеева открыта нами, мы полюбили ее и всегда с интересом будем к ней возвращаться.

## **Н. СТЕЦАНОВ**

---

### **ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА**

Книга стихов А. Тарковского «Перед снегом» охватывает творчество поэта за четверть века, поэта, до сих пор известного узкому кругу читателей. Широкий читатель знает Тарковского преимущественно как переводчика каракалпакского эпоса «Сорок девушек» и мудрой поэзии Махмуд-Кули.

Стихи Тарковского прежде всего — душевная биография личности в ее отношении к эпохе. Это раздумья о пережитом, о родине, о войне, о времени, о судьбах человека и человечества. В них неизменно ощущается какая-то горечь страдания и вместе с тем нежная трогательность. Поэзия Тарковского подлинно лирична. Стихи поэта современны стремлением понять связь явлений, определить место человека в движении истории.

Большое место в его поэзии занимает Великая Отечественная война, участником которой он был. Стихи о войне у Тарковского также «свои» — не батальные, не громкие. Это лирическое преломление войны, передающее чувство своей общности с народом, с бойцами, высказанное не декларативно, а с какой-то застенчивой скромностью подлинного мужества. Это простые, «теплушечные» будни войны, заставляющие вспомнить «Балладу о солдате», это мучительная боль за родину, за ее разорение и муки, уверенность в победе.

В теме природы, «вечной теме» поэтов, в пристальном, взволнованном «открытии» ее красоты, ее благородного величия и сложной ясности обретает Тарковский строй поэтической мысли, лад своих тонко организованных, точных и в то же время своеобразных образов.

Лирика Тарковского — лирика мысли, но не философствующая лирика. Он стремится понять и показать явления и вещи в их глубокой исторической связи. Поэтому в его стихах столь важен внутренний «подтекст», своего рода исторический «наплыв», напоминающий о прошлых эпохах и цивилизациях, придающих масштабность образам и ассоциациям поэта. Это не стилизация истории, а углубление исторического восприятия современности, чувство той огромности масштаба явлений, которое в наш век покорения космоса и раскрытия тайн белка — жизни — так трепещуще близко человеку. В стихотворении «Я человек, я посредине мира» Тарковский с гордостью говорит о разуме человека, его победоносном шествии. И в то же время прекрасное — это «мотылек», который, как «золотого шелка лоскуток», пленяет поэта своей красотой, необъяснимой прелестью, сохраняя свое обаяние в царстве разума и науки:

Я человек, я посредине мира.  
За мною мириады инфузорий,  
Передо мною мириады звезд.  
Я между ними лег во весь свой рост —  
Два берега связующее море,  
Два космоса соединивший мост...

Хочется напомнить стихи Тарковского о поэте, написанные на смерть Заболоцкого. В них содержится утверждение поэзии и дела поэта, важного и нужного для людей, трудного, мучительного, требующего бескорыстной и самоотверженной отдачи всего себя творчеству, поэтическому горению.

Венков еловых птички лапки  
В снегу остались от живых.  
Твоя могила в белой шапке,  
Как царь, проходит мимо них,  
Туда, к распахнутым воротам,  
Где ты не прах, не человек,  
И в облаках за поворотом  
Восходит снежный твой ковчег.  
Не человек, а череп века,  
Его чело, язык и медь.  
Заката огненное веко  
Не может в небе догореть.

Такое понимание дела поэта присуще в первую очередь самому Тарковскому.



# Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ

## ВЫШЕЛ ЗАЙЧИК ПОГУЛЯТЬ...

(Пародии)

ОТ АВТОРА.

Я написал пародии на стихи моих товарищей-поэтов. Нет нужды говорить, что они дружеские. В словаре Даля слово «пародия» определяется так: «забавная переделка важного сочинения». В меру своих сил стараясь переделать «важные сочинения» своих товарищей забавно, я пытался схватить особенности интонации, словаря, техники стиха. Все пародии написаны на тему широко известной печальной истории о зайчике, который вышел погулять.

Полагаю, что в этом нет ничего обидного. Впрочем, я знал, на что иду.

**ЛЕОНИД МАРТЫНОВ**

### *Восьмое чудо*

Я с Музой  
Глубокою ночью  
Шел около «Националя».  
Там зайца —  
Я видел воочью —  
Уже начинать начинали.  
Вернее, едва начинали  
Опасное это занятие,  
Едва ли имея понятие,  
Кого они так начинали.  
В соседстве с дымящею печью,  
Где блики бегут по обличью,  
Владеющий зреньем и речью,  
Он не был обычною дичью.  
И я его видел идущим,  
На крыльях упругих летящим,  
Бегущим по грядкам грядущим,  
Сырую морковь едящим.  
Над кущами репы и лука,  
Над свеклами бурога цвета  
Он несся со скоростью звука,  
А также со скоростью света.  
Он кланялся пущам и рощам,  
И было сравнить его не с чем,  
И не был он нищим и тощим,  
А был он поющим и вещим.  
...Тут некто  
Высокого роста  
Воскликнул:  
— Но как это можно?  
Да, все это было бы просто,  
Когда б это не было сложно!

**ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ**

### *Строгая морковь*

Не в смысле каких деклараций,  
не пафоса ради, ей-ей,  
мне нравятся серые зайцы —  
те золушки наших полей.

Мне праздника лучшего нету,  
чем видеть опять и опять —  
по этому белому свету  
тот заяц идет погулять.

Ни шелка на нем, ни шевьота.  
Ни юбки на нем, ни рубах.  
Как красный колпак санкиюлота —  
морковка в суровых зубах.

Не плод экзотический юга,  
чья дряблая кожа пестра, —  
а скромная дочь огорода,  
больших удобрений сестра...

Но грозный, как тень трибунала,  
сидит на своем чердаке  
охотник в коротеньком платье,  
с кулацким обрезом в руке.

Он зайца в ловушку заманит,  
морковку его отберет —  
он с этою целью ложится  
и с этою целью встает.

Но вы понимаете сами —  
я зайца в обиду не дам.  
Высокую чашу питанья  
я с ним разделю пополам.

Я дам ему, может, рублевку  
из малой полочки моей —  
пусть купит другую морковку,  
какая еще покрупней.

Я буду доволен, по сути —  
была бы у зайца всегда  
в железной домашней посуде  
красивая эта еда!

### **ВЛАДИМИР СОЛОУХИН**

#### *Как съест зайца*

Чтоб зайца съест —  
идите на охоту.  
Возьмите дальнобойное ружье  
и, выждав миг,  
когда пойдет он погулять  
(о маленький комочек вещества,  
которое сто миллионов лет  
природа создавала кропотливо!),  
в него стреляйте.  
Я понимаю, этот способ груб  
(ни Исаак Ньютон, ни Бабель Исаак  
не пользовались им),  
но способ есть  
куда гуманней:  
в «Гастроном» идите  
и в том отделе, где торгуют дичью,  
скажите:  
— Ну-ка, свесьте мне того,  
да, этого, вот именно его!.. —  
Придя домой, включите радиолу  
(поставьте непременно фугу Баха!)  
и зайца на конфорке опалите.  
Потом ножом разрежьте аккуратно,  
чтоб ткань его не сильно повредить  
(ведь мозг в его красивой голове  
четырнадцать имеет миллиардов  
тончайших клеток,  
фосфор и другие элементы  
таблицы Менделеева,  
что очень ценно!),  
и начинайте жарить.  
А потом,  
зубами прокусивши мякоть  
и запрокинув голову  
(не заячью, конечно, а свою),  
вы чутким человеческим ртом  
глотаите, жуйте, чмокайте губами  
и переваривайте, наслаждаясь  
процессом переваривания.  
О, эти звуки в зыбкой тишине,  
ха-ха, их перекрыть уж невозможно,  
их усмирить не в силах даже пушки —  
такие эти звуки!

(Я в виду —  
вы поняли —  
имею фугу Баха!)  
Вот так!

### **АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ**

#### *Заячье отступление*

*из поэмы  
«Треугольные уши»*

Фиеста феерий!  
Фатальная зависть!  
Долой Рафаэля!  
Да здравствует заяц!

Жил огненно-рыжий охотник Мишель.  
Из зайца он сделал, мошенник,  
мишень.

Дабы добывать ежедневный пирог,  
он в зайца стрелял через задний порог.

А заяка, а заяка бежал по параболе.  
Его не убили, его не поранили.

Не делали пиф и не делали паф —  
он сам испугался, со стула упав.

А заяка, а заяка  
уже — боже мой!  
Он белый, как сайка.  
Он антиживой.

Распалась семья,  
в которой семь я,

а восьмой, мерцающий как неон,  
говорит, что и он — не он.

### **БОРИС СЛУЦКИЙ**

#### *Зайцы в водоеме*

Зайцы не умеют плавать  
и ни близко, и ни далеко...  
Одного из зайцев звали Клава —  
в это вам поверится легко.

Клава жил без мамы и без папы.  
Он имел имущества — всего —  
две и две — всего четыре — лапы,  
уши, хвост — и больше ничего.

Клава жил как лирик. На природе.  
Триста шестьдесят пять дней в году.  
Во саду ли, скажем, в огороде  
ел еду.



Две морковки. Три. Четыре за день.  
Вот и все меню.  
А охотник был до мяса жаден —  
ел семь раз на дню.

Был он физик. Не любил природу.  
Лирика ему — что острый нож.  
Жил одним: загнать бы зайца в воду!  
И загнал! А что ж!

Зайцы, как известно, слабы.  
Заяц потонул в воде.  
Где теперь его четыре лапы?  
Хвост, я спрашиваю, где?

...Что стрелку? Ни холодно ни жарко!  
Укокошил зайца — и забыл.  
Вот и все. А все же Клаву жалко.  
Добрый заяц был!

### **ЕВГЕНИЙ ВИНУКUROB**

#### *Глубина*

Не раз-два-три. Не три-четыре-пять.  
Не шесть-семь-восемь и не девять-десять.  
А просто вышел зайчик погулять.  
Боржому выпить.

Что ж его — повесить,  
как некогда Вийона?

Бытия  
пузырчатую знает он природу.  
Всея трепетною плотью воция,  
он пьет боржом. Он любит эту воду.  
Охотник — вот загадка для меня!  
Он пиво пьет! Он толст и неопрятен.  
Его живот — как шар. День ото дня  
тучнеет.

О безумец, непонятен  
ему боржом! У каждого ларька  
пьет пиво и ругается прескверно.  
Когда б он воспитал ученика,  
тот был бы матерщинником, наверно.  
Он водку пил бы! Бегал бы с ножом!  
Нагим ходил бы! Умер бы от пьянства!  
О это неуменье пить боржом —  
извечная предтеча вольтерьянства!..  
Люблю пиры. Обеденных меню

размах понятен мне,  
но, по большому  
считая счету,  
выше я ценю  
священную приверженность к боржому.  
О пузырьки! Лякуя и трубя,  
свободный углерод во мне играет.  
В раздумье наполняю им себя,  
пока моя любимая стирает.

### **БЕЛЛА АХМАДУЛИНА**

#### *Царевич*

О ряд от единицы до пяти!  
Во мне ты вновь сомнения заронишь.  
Мой мальчик, мой царевич, мой  
звереныш,  
не доверяйся этому пути!

Душа твоя звериная чиста.  
Она наивна и несовременна.  
Длина твоих ушей несоразмерна  
внезапной лаконичности хвоста.

О заюшка, ужасен жребий твой!  
Меня твоя доверчивость пугает.  
Зачем высокий лучник выбегает  
из будки с газированной водой?

Груба его неправая ладонь,  
несущая надменно сковородку.  
С ухмылкой, присущей скомороху,  
он говорит: — В огонь его, в огонь!

О, не ступай за грань сковороды,  
чтоб шкурка твоя добрая шипела,  
в печальных очертаниях Шопена  
приобретая видимость еды.

Скорей на дачу, к долгому труду,  
что отвергает праздность и забаву.  
Из хлопьев снега вылепим мы бабу  
и нарисуем домик и трубу.

Ты побежишь по белому двору,  
но я не упрекну тебя ни словом.  
Я буду говорить старинным слогом.  
Иди ко мне! Играй со мной в игру!

## Лев СМИРНОВ

---

### ДОЙКА КОРОВ

Таает лунная долька,  
Тянет мятой с лугов.  
Начинается дойка  
Заонежских коров.

Эта смена — из смеха,  
Из отчаянных рук.  
Эта пена — из снега,  
Из нечаянных вьюг.

Ходит тропами леса  
Далеко, далеко.  
Пахнет травами лета  
Молоко, молоко.

Эти буйные травы  
Чуть горчат, чуть горчат,

И молочные трассы  
О подойник стучат.

А пастух верил в ладу,  
В птичий щебет и гам.  
Эту белую влагу  
Он собирал по лугам.

Эти белые струны  
Он нашел под горой.  
Величавые руны  
С них слетают порой.

Полон звона подойник,  
Чистый-чистый, как снег...  
Мне рассветов подобных  
Не увидеть вовек!

## Егор ПОЛЯНСКИЙ

---

### РУСИЧИ

Стяги князя Игоря:  
Струги Стеньки Разина.  
Русь моя великая —  
мать голубоглазая!

Были громы пушечьи,  
голосили вдовушки:  
русичи вы, русичи,  
буйные головушки!

В поле жито-золото,  
колосится поле то,  
вашей кровью полито,  
вражьей кровью полито.

Вы в бою не трусили,  
да зазря не трогали.  
Русичи вы, русичи,  
первопутком тронули.

Ахали да эхали,  
по вселенной ехали,  
далеко вы, русичи,  
высоко заехали!

Высоко — за тучами,  
спутниками — здорово!  
Русичи вы, русичи,  
золотые головы.

## Михаил ДУДИН

---

### ПЕСНЯ НЕИЗВАННОМУ ДРУГУ, ИЗМЕНИВШЕМУ МНЕ

Стал уже круг.  
Стал уже круг.  
Мне изменил старинный друг.

Друг изменил.  
Друг изменил.  
И белый свет мне стал не мил.

В два русла  
Хлынула река.  
Спустились ниже облака.

Короче день.  
Длиннее ночь.  
И дружбе некому помочь.

С кем я сегодня поделюсь  
Тем, чем горжусь,  
Чего боюсь?

Кто нас рассудит,  
Кто поймет,  
Как ядом обернулся мед?

Мне изменил старинный друг.  
Он стал мне недругом  
Не вдруг.

Со мною вместе  
Он спешил  
К сиянью дальнему вершин.

Деля с ним  
Песни общий хлеб,  
Наверно, был я слишком слеп.

Не знал,  
Взойдя на перевал,  
Что с оборотнем пировал.

Что ж!  
Оставайся там внизу.  
Мне ветер высушил слезу.

Пусть на спине  
Удвоен груз.  
Есть предо мною мой Эльбрус.

Снесу свой груз  
Во весь свой дух  
Один за двух,  
Один за двух.

Мне изменил старинный друг.  
Стал уже круг,  
Стал крепче круг.

## Елизавета СТЮАРТ

---

\* \* \*

Умер сын у бабки деревенской.  
И не так чтобы хороший сын.  
Но в ее нелегкой доле женской  
Оставался он живым один.

Отписала кратко, издалече,  
Ей сноха ту горестную весть:  
Мол, теперь помочь, мамаша, нечем —  
Плачь не плачь, а так оно и есть...

Прочитала мать,  
запричитала,  
Вспомнила убитых сыновей,  
Как цыплят их всех пересчитала  
Одинокой осенью своей.

Вспомнила нечастые обновы,  
Добрые нечастые слова...  
Самый младший — самый непутевый,  
Мать про то забыла —  
и права.

Для нее сейчас он — ясный сокол.  
Сгинул сокол  
  и спокинул мать...  
Сердце как порезано осокой,  
Сын последний —  
  надо понимать.

Обещал приехать к ней когда-то,  
Да не сбылся, значит, тот приезд...  
Ей сулились и сыны-солдаты  
Возвернуться из далеких мест.

Но, выходит, обманули тоже...  
«Что ж ты крылья, сокол мой, сложил?  
Чем тебе старуха мать поможет?  
Мне бы смерть,  
  а ты бы жил да жил...»

Вышла в поле...  
  В поле — ночь и осень...  
Только звезды над простором нив,  
Да в колени тычутся колосья,  
Головы пред матерью склонив.

## **Иван ЕРОШИН**

---

### **ЛЕСНЫЕ ЧАЩИ**

Я вновь приду в твои лесные чащи,  
Родной Алтай! На берегу реки,  
Подобной небу, ласково журчащей,  
Где заводи и плесы глубоки,  
Зажгу костер. О вы, лесные чащи,  
На отмелях манящие пески,  
И ветерок, вершинами шумящий,  
И удочек живые поплавки!

## **Михаил ЗЕНКЕВИЧ**

---

### **В ГОСТИ К ЛУНЕ**

Проснулся ночью...  
  Было не до сна:  
Увидел я, как в переплет окна  
Ломилась с неба полная луна.  
О, как заманчиво она блестела  
И властно требовала и хотела,  
Чтоб я изведаль невесомость тела!  
Но все ж, доверясь встречному лучу,  
К ней в гости я с земли не полечу,  
Еще немного выждать я хочу.  
Пусть в космосе уляжется тревога  
И в небе установится дорога,  
Я подожду еще совсем немного.

### **НЕКОНЧЕННЫЙ РАЗГОВОР**

*М. Голодному*

В пылу неконченного спора,  
Найдя потерянную нить  
Запутанного разговора,  
Хочу тебе я пояснить...

Но ты в ответ молчишь упорно  
И, слушая земную тишь,  
Зеленым одеялом дерна  
Накрылся с головой и спишь.

## Осип КОЛЫЧЕВ

---

### УТРО

Каменный, широкоплечий,  
Ринулся мост в высоту.  
Утренним солнцем подсвечен  
Пар на Горбатом мосту.

Воздух морозом пронизан,  
Яростный слышится гуд.  
Белые с отсветом сизым —  
Рельсы в просторы бегут.

Искренность белого снега —  
В искрах бесчисленных звезд.  
Нет горизонта. Из неба  
В небо идет паровоз.

Как из кипящего куба,  
Рвутся, круглы и грубы,  
Пара скульптурные клубы  
Из паровой трубы.

Дали от инея мутны,  
К целям летят поезда.  
Встало над линией утро,  
Утро большого труда.

Часа чудеснее нету...  
Кажется, над головой  
Трудится  
даже и небо  
Честной своей синевой...

## Ирина СНЕГОВА

---

\* \* \*

Не надо приходить на пепелища,  
Не нужно ездить в прошлое, как я,  
Искать в пустой золе, как кошки ищут,  
Напрасный след сгоревшего жилья.  
Не надобно желать свиданья с теми,  
Кого любили мы давным-давно,  
Живое ощущение потери  
Из этих встреч нам вынести дано.  
Их час прошел. Они уже подобны  
Волшебнику, утратившему власть,  
Их проклинать смешно и неудобно,  
Бессмысленно им вслед поклоны класть...  
Не нужно приходить на пепелища

И так стоять, как я теперь стою.  
Над пустырем осенний ветер свищет  
И пыль метет на голову мою.

\* \* \*

Я пишу сочиненье о дружбе,  
Сочиняю трактат о любви, —  
Я смотрю, как прижались друг  
к дружке  
На тугих проводах воробы.  
Высоко. Только белым каленьем  
Провода проверяет мороз  
Да чернеют внизу в отдаленье  
Комья тех, что сидели поврозь.

## «НУЖНО РАДОВАТЬСЯ УМЕТЬ...»

*Заметки о двух сборниках*

### *Елена Николаевская — «краски»*

Что значит — «краски»? Это — краски жизни, природы — «берез желтеющих пряди» в стихах о Подмосковье, «зеленые чаши» Грузии, «синее небо, желтые скалы» (Армения), но прежде всего это — краски чувств, краски сердца.

Пусть же зовут они  
К югу и к северу  
Заревом осени,  
Маревом лета,  
Одолевая засилие  
Серого —  
Скучного,  
Душного,  
Пыльного цвета!

В книге Елены Николаевской выражена основная человеческая потребность в том, чтобы в «дороге», иначе говоря — в жизни, была рядом живая душа. «Хлеб твой будет пресным, и глоток воды невкусным, и костер дымящим, тусклым, — если поделиться не с кем». Поэтессе чуждо потребительское отношение к дружбе, к тому, чтобы принимать чужое тепло, ничего не отдавая взамен. В стихах об угличском лесосплаве она пишет: «Свое тепло мы отдавали, и этим согревались мы».

Равнодушие — не просто недостаток или дурное свойство: это — беда, самая страшная из болезней, поражающих человека. В одном из стихотворений Е. Николаевской есть такой вполне «добропорядочный» персонаж: «Не мог он «нет» сказать врагу и не имел врагов. Но что воистину беда, но что всего грустней, не мог сказать он другу «да» и потерял друзей».

Елена Николаевская оригинально решает проблему, которая так или иначе занимает всю нашу поэзию: проблему совести, нравственной чистоты, служения стране, людям. Но все это в ее стихах не риторика и не заунывные призывы к дружбе и доброте. Душевная щедрость обусловила щедрость поэтическую:

Я не таю своих пристрастий,  
Во всем их власть,  
На всем их след:  
Они рождают боль и счастье,  
Они бросают тень и свет.

Этими «пристрастиями» отмечены многие стихи в сборнике: «Неглинная улица», «Мальчик в школу идет...», «С годами мы становимся щедрей...», «Валико» — о грузинском мальчике, который «стоит, как витязь в шкуре тигровой, с котенком на плече». (Стихи о Кавказе «переросли» в отдельную, очень интересную книгу Е. Николаевской «Память о солнце», которая только что вышла в Грузии.)

Елена Николаевская обращается к своим читателям с призывом: «Нужно радоваться уметь...» Порадуемся за поэтессу, за ее книжку.

## **Вадим Сикорский — «Соты»**

Такие стихи принято называть миниатюрами — четыре строки, восемь строк. К миниатюрам иногда относятся настороженно, считают их осколками несостоявшихся стихотворений: на восьмой строке у автора кончается запал, он спешит поставить точку — получилась миниатюра, «этюдик»...

Вадим Сикорский назвал сборник своих стихов — «Соты». Почти все его миниатюры-соты наполнены медом поэзии.

Осенний полдень плыл в свои высоты.  
Над Волгой берег желт, неровен, крут —  
как будто круглой ложкой брали соты  
за богатырским чаепитьем тут.  
Повисли листья, словно капли меда,  
мед в реку стек песчаной косой.  
И с добрыми глазами пчеловода  
шло солнце над прибрежной полосой.

В «Сотах» Сикорского уместаются время и вечность, небо, озера, моря, звезды, птицы, огромная природа и — человек. Смысл философской лирики Вадима Сикорского — преодоление несоразмерности между «маленьким» человеком и необъятной природой. Человек — «часть земли», у него «одно с ней кровообращенье, одно дыханье и любовь одна», он видит «печать своей любви на море, на полях, на времени», его путь — «от лучины до атомных светил, до звезд».

В стихах Сикорского — реальное, почти физическое ощущение того, что выражено привычной формулой: «Человек — хозяин природы». Руки человека пронесут синеву утра сквозь дым войны, как «воду ключевую сквозь пустыни», вдова солдата «по каплям сыну копит море, по звездам собирает небеса».

Человек в природе — не песчинка, напротив, сама природа как бы становится принадлежностью человека, предметом его обихода. В стихах Сикорского земля спит, подстелив под себя снега, до той поры, пока «над самым ухом» не прозвенят будильники весны; озеро, увиденное с самолета, — «овал холста»; дождик «пишет сереньким петитом летопись на каменной стене».

Я сказал, что «Соты» Сикорского наполнены медом поэзии, но мед этот не приторен. Есть в стихах Сикорского горечь, острота, страсть. С некоторой иронией говорит поэт о самом себе, но это — драгоценное чувство недовольства собой, постоянный, тревожащий поэта вопрос: что сделано для того, чтобы собирать «для людей... капли солнца и света».

Вадим Сикорский успешно выступил в очень трудном жанре. Его четырех- и восьмистишия — не осколки, а законченные, полные глубокого смысла поэтические произведения.

Читая сборники Елены Николаевской и Вадима Сикорского, я «не таю своих пристрастий» и радуюсь тому, что оба они талантливы, что талантливы в данном случае добрые и честные люди, и тому, что эти люди — мои друзья.

Правда, я мог бы посетовать на то, что у других рецензентов пока что «не дошли руки» до этих книг. Но то, чего до сих пор не заметили критики, сразу же заметил читатель.

## Павел РАДИМОВ

---

### Ключ-родник

Петуший окрик, дым от печки,  
Разбросан на пару навоз,  
Жердинный мостик возле речки,  
Нагруженный снопами воз.

Всегдашних тружеников доля,  
Над ними небо в высоте,

По склонам нив гуляет воля,  
И осень вспыхнет в красоте.

Гремит заветный ключ-родник,  
И низкий сруб к нему приник;  
Струится тихо из оврага  
Прозрачная, как слезы, влага.

## Михаил ЛЬВОВ

---

### ПОДАРКИ

Строки братские перевозу,  
В перерыве пишу свое.  
Из республик тебе привожу  
Сувениры или шитье:  
Из Татарии — ичиги,  
Из Якутии — торбаза.  
Ах, носи их, спеши, беги,  
Торопи меня, тормоза.  
И от каждого от подарка  
Многоцветней твоя краса —  
Ты якутка теперь

и татарка,  
Хоть по-русски глядят глаза.

Я иду вдоль витрин Свердловска,  
Средь сияния их, средь лоска,

В магазин открываю дверь, —  
Я люблю тебя, и за это  
Я куплю тебе самоцветы,  
В самоцветах ходи теперь.

Разве плохо, товарищи милые,  
Если балуем милых мы?  
Чем «перцовки» тянуть и «тминные»,  
Покупайте любимым пимы!

Улетая на «ТУ»,  
на «ИЛаж»  
На переднем эпох рубеже,  
Ах, любите,  
ах, помните милых:  
Самоцветно от них на душе.

## Натан ЗЛОТНИКОВ

---

\* \* \*

Я застигнут  
стихией ожиданья  
На покато́й палубе —  
мостовой.  
Главного почтамта  
голубое здание

Накрывает меня с головой.  
Расстояний  
ощущаю горесть  
Пересохшими губами ходока.  
Дорогая,  
твой высокий голос  
Проплывает быстро,  
как облака.



Видеть землю  
я только начинаю.  
Ты идешь ко мне  
через лето  
наискосок.  
И луна, словно бабочка ночная,  
Ударяется о теплый твой висок.

Звезды  
осыпаются на рельсы,  
А мосты  
пустое небо стерегут.  
Дорогая,  
глаза мои, что реки,  
В твою северную сторону текут...

Город спит.  
Над ним склонились горы.  
Горы — в белом, как доктора,  
Мои  
телефонные разговоры  
Снятся городу  
до самого утра.

\* \* \*

Волны ходят гурьбой,  
словно девушки,  
монотонные песни поют.  
Свои головы  
светловолосые  
на прибрежные камни  
кладут.

Ты ведешь на скалу  
по тропе,  
по нетронутой синеве.  
Парусиновый  
легкий ветер  
поправляешь на голове.

А скала высока,  
будто облако,  
и недвижна,  
как вдовый взгляд.  
У меня  
стихи открываются  
и, как старые раны,  
болят.

Этот миг неизбежен,  
как правда.  
Я гляжу за Полярный круг.  
И хочу,  
чтоб скорее сомкнулся  
горизонт твоих медленных рук.

Этот миг неизбежен.  
На камне  
проступают слова,  
как роса.  
И тропа  
со скалы  
вдруг соскальзывает,  
как с плеча твоего  
коса.

## Сергей МАКАРОВ

---

### СУП

В походах суп то ешь, то варишь, —  
Закон дежурства всем знаком.  
С иглой и дратвой мой товарищ  
Сидит над рваным сапогом.

А я костер кормлю дровами,  
Варю на всех консервный суп,  
И в синь у нас над головами  
Впускают дым за клубом клуб...

Я знаю: в сонные рассветы  
Мы все пойдем когда-нибудь,  
Встречая день другой планеты,  
На почву сядем отдохнуть.

Вдохнув от спички запах серный,  
Раздув костер, глотая дым,  
Сварю я суп земной, консервный,  
Под синим солнцем неземным!



# Римма КАЗАКОВА

---

## СТИХИ ОБ ОТЦЕ

Под одною крышею со мной,  
на зеленой улице земной  
доживает годы в тишине  
человек,

убитый  
на войне.

С той войны прошло немало лет —  
ровно столько человека нет,  
хоть с постели утром он встает,  
бреется, гуляет, ест и пьет.

Он котлету тщательно жует.  
Он живет! — хотя и не живет.  
Говорят суровые врачи:  
все равно — лечи иль не лечи...

У него прозрачные глаза.  
У него как будто образа  
на сукне мундира — ордена —  
все, что мне оставила война.

А ведь ох и добрый был казак!  
Русская лукавинка в глазах.  
Твердая отцовская рука.  
Теплая отцовская щека.

Дорогой товарищ комиссар!  
Ты еще по возрасту не стар.  
Мы б с тобою наломали дров,  
мы б еще наделали делов!

Но на той, на горестной войне,  
на чужой далекой стороне,  
в тысячном каком-нибудь бою  
ты погиб за родину свою.

Кто меня утешит?! Все не то.  
Дай я застегну тебе пальто.  
Помогу по лестнице сойти  
и скамейку в садике найти.

Долгим взглядом за моей спиной  
мой отец прощается со мной...  
Знаю,  
что мне делать,  
как мне быть,  
что мне — ненавидеть,  
что — любить!

## Николай САВОСТИН

---

### НЕРОЖДЕННЫЕ ДЕТИ

Убитые лежат в земле спокойно.  
Но дети, не рожденные в те годы,  
Нет-нет да и напомним о себе:  
Когда пора пришла им сесть за парту,  
Тем, кто явиться должен был в войну,  
На полустанках закрывались школы,  
Редели классы в городах и селах,  
Впервые был излишек букварей.

Средь поколений, много потерявших,  
Они колонной ровною идут —  
Рожденные в минувшую войну.

Но те, кто не родился в эти годы,  
Они растут — для них костюмы, туфли  
И кепки вырастают вместе с ними,  
Им солнце светит... Их на свете нет.  
Им яблони плоды роняют, ветер  
Летит навстречу... Их на свете нет.  
Уже пора любить им наступила,  
Страдать, грустить, а их на свете нет!  
Все есть для них, лишь их на свете нет...

Людей, рожденных между сорок первым  
И сорок пятым, мало на земле.  
И тот, кто не родился в эти годы,  
Напоминает о себе, как рана,  
Зажившая почти, перед дождем.

## Алексей МАРКОВ

---

### ВЕРБЛЮД

*Берды Кербабееву*

Я видел — брел верблюд по дюнам  
Неторопливо, будто думал!  
Бурдюк с водою на спине —  
Не расплескать бы воду мне!  
Поникнут путники от жажды...

И был шажок осмыслен каждый.  
Плевать с верблюжьей высоты

На то, что не похвалишь ты  
Его разлапистую поступь.  
Он делает работу просто.

Хвала нужна для иноходца.  
Он  
без восторгов обойдется!  
И незатейлив шаг всегда,  
Как на его горбах вода!

## Леонид КРИВОЩЕКОВ

---

\* \* \*

Как хорошеют женщины весной!  
Впервые сбросив ботинки и шубы,  
Они идут под вешнюю листвою,  
Идут не узнаваемые мной, —  
Глаза чуть сужены  
И приоткрыты губы.

Их туфельки едва-едва  
Касаются земли, уже согретой,  
А платья плещутся под ветром,  
Как листва.  
И у меня кружится голова  
От женщин,  
И от солнца,  
И от ветра.

И я шепчу,  
Твержу, чтоб не забыть,  
Одну строку,  
Плохую, может быть,  
Но только что придуманную мной:  
Как хорошеют женщины весной!

### СЕСТРА

Немолодая женщина,  
Швея,  
Меня вином домашним угощает.  
По близорукости  
Она не замечает,  
Что от вина того  
Трезвею я.

И все смотрю,  
Молчание храня,  
На прядь волос ее,  
Еще волнистых,  
И на руки  
В веснушках золотистых,  
В таких же точно,  
Как и у меня...

Ах, как я редко прихожу сюда —  
В наш старый домик  
На углу Седова!  
И мне за то  
Сестра пеняет снова,  
И я оправдываюсь,  
Как всегда.

Все некогда,  
То служба, то стихи,  
А то командировка за стихами.  
Сестра прощает,  
А сама вздыхает,  
Она ведь знает все мои грехи.  
«Пришел ко мне,  
Так, знать, ему опять  
Не пишется,  
Не служится,  
Не пьется».  
Она нальет вина  
И улыбнется,  
И станет детство наше вспоминать.

— Ты, — спросит, — помнишь  
Наш сосновый бор,  
А в нем грибы  
И ягоды все лето?.. —  
И, не дождавшись моего ответа,  
Начнет другой  
Душевный разговор:  
— Ты к нам на фабрику  
Когда придешь?  
У нас теперь так чисто и красиво...  
Зарплату получаем без кассира.  
Все учатся.  
Все больше молодежь.

А я встаю,  
Забыв свою беду:  
— Спасибо за вино твое,  
За ласку.  
Ты только не тревожься понапрасну.  
И береги глаза.  
А я приду.

## Михаил СКУРАТОВ

---

### ОЮМЕ

Где твой голос, Оюмка, —  
Твой тувинский напев?  
По тебе моя думка,  
Сердце песней согрев.

В мыслях я, неустанный,  
Мчусь к тебе, Оюма, —  
За крутые Саяны.  
Ты —  
навстречу сама!

Прозвенит ли приветно  
Вновь волной Улуг-Хем?  
Или ты мне запретна,  
Оюма?..  
Где ты, с кем?

Отзовись в моем сердце...  
Далеко ты, увы!  
Дай хоть песней согреться  
Про тебя,  
дочь Тувы!

## ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

### *Стихи Анжелики Сафьяновой*

Весной 1918 года на прилавках книжных магазинов появилась новинка — «История и стихи Анжелики Сафьяновой». Книга эта давно уже стала библиографической редкостью — о ней знают лишь немногие старые библиофилы, да и то понаслышке.

Мне давно хотелось познакомиться с книгой Сафьяновой, тем более что в некоторых номерах «Сатирикона» и других дореволюционных журналов я часто встречал ее стихи.

Но книги Сафьяновой в библиотеках не оказалось.

Тогда мне пришла в голову мысль разыскать автора или хотя бы ее родственников.

Я решил справиться в Литфонде: не оказывает ли Литературный фонд материальной помощи поэтессе Анжелике Сафьяновой или ее близким?

Мне ответили:

— В списках Литфонда поэтесса Сафьянова никогда не значилась...

Мне ничего не оставалось делать, как примириться с неосуществленной мечтой и при случае наводить справки у литераторов старшего поколения.

..Недавно писатель Николай Павлович Стальский, которому я сообщил о своих безуспешных поисках, сказал:

— Почему бы вам не обратиться к Никулину?.. Он хорошо знает дореволюционную поэзию и мог бы принести вам большую пользу...

На следующий день я пришел к Льву Вениаминовичу Никулину. Писатель молча выслушал мой рассказ, улыбнулся и ничего не ответил. Он медленно поднялся из-за письменного стола и подошел к книжному шкафу. Он не спеша открыл шкаф, порылся в книгах и через несколько минут положил на стол светло-коричневую, в форме общей тетради, книгу.

Я взглянул на нее и — оторопел. На переплете было напечатано: «Л. Никулин. История и стихи Анжелики Сафьяновой».

— Что это значит? — спросил я, совершенно ошеломленный. — При чем тут ваша фамилия?..

Никулин рассмеялся:

— А при том, что я сам писал эти стихи... Никакой Анжелики Сафьяновой в природе не существовало, хотя в книге и напечатан ее портрет...

— Что же это такое?.. Литературная мистификация?..

— Совершенно верно...

Я попросил Льва Вениаминовича рассказать мне историю этой книги и вот что от него услышал:

— Начиная с тысячи девятьсот тринадцатого года я печатал в разных журналах свои стихи, которые подписывал псевдонимом: Анжелика Сафьянова. По существу, это были пародии на модные в то время сентиментально-интимные стихи о любви. К моему удивлению, редакции принимали стихи всерьез. Они считали их настоящими лирическими стихотворениями и твердо верили, что стихи понравятся читателям. Так и случилось. Узкому кругу читателей мои иронические и претенциозные стихи нравились, и читатели были убеждены, что действительно существует такая поэтесса — Анжелика Сафьянова.

— Но как же вам удалось издать эту книгу уже после революции?

— О, это очень забавная история, — ответил Никулин. — Однажды в знакомом «профессорском» доме мы играли в карты. Среди нас был художник-дилетант А. — очень состоятельный молодой человек. В этот вечер ему чертовски везло, хотя он абсолютно не нуждался в выигрыше.

Игра закончилась на рассвете. Художник, забрав со стола выигрыш, сказал:

«Надо бы употребить эти деньги на что-нибудь полезное или хотя бы занятное... О, послушайте, я знаю, что я сделаю! — после минутной паузы воскликнул художник. — Я издам на этот выигрыш стихи, которые мне давно нравятся, я их вырезаю и всегда удивляюсь, почему не издают?..»

«Чьи же это стихи?» — поинтересовался я.

«Стихи Анжелики Сафьяновой, — сказал он и рассмеялся. — Но гонорара, Никулин, вы не получите... Моего выигрыша на гонорар не хватит...»

...Было еще очень рано, когда мы с художником вышли на улицу. В высоком небе гасли последние звезды, и в прохладном воздухе разливалась весенняя свежесть. Улицы были безлюдны. Откуда-то издали доносились беспорядочные выстрелы — время было тревожное.

Мой «меценат» размышлял вслух:

«Гм... бумага и типография... за этим дело не станет... У меня есть друзья, они устроят... Еще существуют маленькие частные типографии...»

«Ну, а издательство? — робко спросил я. — Нужно же на титульном листе указать марку издательства...»

«Чепуха!» — решительно сказал он.

В этот момент мы проходили мимо афишной тумбы. На одной из афиш мы прочли название оперетты: «Зеленый остров».

«Вот! — воскликнул художник. — Так будет называться наше издательство — издательство «Зеленый остров»... Звучит?»

Так через месяц в мифическом издательстве «Зеленый остров» вышла книга, которая лежит перед вами. Конечно, мой «меценат» не мог отказать себе в удовольствии украсить книгу портретом своей жены — изображением никогда не существовавшей Анжелики Сафьяновой.

## Леонид ЛИХОДЕЕВ

---

### КАК Я БЫЛ ПОЭТОМ

Дело прошлое, дорогой читатель, но от биографии не отмахнешься. Биография откладывается в отделе кадров, как накипь на стенках бывшего чайника. Кипишь, исходишь паром, думаешь, что весь уже выкипел и ничего тебе не будет. Дудки. Нежные напластования растут на некогда сверкавшей новенькой стенке, затягивают ее, утолщают, и кипеть становится все труднее, и все больше требуется тепла для согрева.

А кипеть надо. Просто необходимо кипеть. И вовсе не потому, что это так увлекательно, а потому, что это естественное состояние, на которое обрекает себя лицо, неосторожно зарифмовавшее в юности пару строк и легкомысленно предавшее их гласности.

Конечно, легче всего кипеть под невысоким давлением. Ниже нормального. Для этого нужно попросить дядю покрыть тебя колпаком и откачать вокруг тебя воздух. И тогда ты будешь бурлить относительно искусственной атмосферы как вулкан. И дядя будет страшно радоваться, имея при себе такой булькающий ключ-самородок. Но стоит только атмосфере стать нормальной, как этот самый ключ превращается в тихую лужицу. И начинает злиться. Потому что кипеть надо, а сил не хватает.

У меня никогда не было дяди. Поэтому мне всегда было трудно. То есть писать — еще туда-сюда, но печататься — тяжело. Вообще-то печататься всегда труднее, чем писать. Это я понял, увидав третью книгу своих стихов.

Я смотрел на эту книгу и думал: «Когда же это все кончится? Неужели снова надо садиться за рифмы? Неужели снова надо ходить к машинистке, морочить ей голову, вычитывать рукопись, тащить ее в издательство и, меланхолично взирая на редактора, видеть, как он морщится, подбирая слова, коими будет отбиваться?»

Мне всегда было жаль редакторов. Особенно тех, которые редактируют стихи. Это великие мученики. Может быть, если бы судьба не приковала их к редакторскому креслу, им было бы легче жить, дышать и работать. Но судьба — это судьба. И бедный редактор страдальчески шевелит пальцами, морщит прекрасный лоб, иступленно прикрывает веки в поисках убедительного слова, способного вразумить заблудшего поэта. Проходят дни, недели и месяцы жутких страданий, пока лик редактора не начинает светлеть, предчувствуя рождение этого слова. И он произносит убедительную, вразумляющую фразу, которая открывает поэту глубочайшие тайны творческого бытия:

— Понимаешь, старик... Как тебе сказать?.. Это — не то...

— Как это не то, когда это то, — возражает поэт, еще не успевший осознать предлагаемой глубины.

— Не то, — шевелит пальцами редактор.

— То! — упорствует поэт.

И тогда редактор, решительно вздохнув, встает со своего стула и говорит:

— Сядь на мое место, старик!

— Не хочу!

— Сядь, не брезгуй...

И поэт нехотя садится на место редактора, и берет свою рукопись, и читает ее, и неожиданно для самого себя начинает морщить лоб, шевелить пальцами и прикрывать веки.

— Знаешь, старик, — говорит он редактору, — как тебе сказать... Это — не то!..

— Как это не то?! — пытается возразить редактор, но вовремя глотает язык.

А я всегда был альтруистом. А в середине недели даже филантропом. И мне было жаль редакторов. И боль за них переполняла мое бедное сердце. И я стал искать отдохновения у классиков.

«Поэт! — прочел я в одной толстой книге, — не дорожи любовью наро...» Что? С ума сошел! Ничего себе советик! А еще классик! Полистаем дальше... Так... «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые...» Вот это правильно! Поэт должен был любезен. Хорошо... Возьмем другую книгу... Вот, например... «О если б знал я, как бывает, когда пускался на дебют!» Надо было знать. Не маленький. Отложим эту книгу. Ничего в ней поучительного нет. Вот еще томик... Так... «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...» А кто он такой, этот Аполлон, чтобы требовать? Не требует, — значит, невелика цаца... Пошли дальше... «Но если насмех недругу и другу презрел советы автор и с наругой все дергает фальшивую струну, тогда нещадно с ним веди войну!»



Интересно! Это значит — печатать не будут? Не то, мол, и так далее... Тяжело... Тяжело быть поэтом...

И вдруг, уже совсем отчаявшись и не ведая, куда мне бежать от шагов моего божества (это я тоже цитирую), я открыл совершенно случайно книгу и увидел в ней черным по белому: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Иди ты! Так и сказано: «можешь ты не быть». Это значит, я могу не быть. Значит, не обязательно мне быть поэтом, понял? Насчет гражданина — это дело простое. Тут все понятно. Паспорт чтобы был в порядке, взносы платить аккуратно, на работу не опаздывать и другие мероприятия. Это как раз не трудно — быть гражданином. Это я — с удовольствием. Но то, что я могу не быть поэтом, меня просто обрадовало. Как подарок. Как гора с плеч. И даже жалко стало своих товарищей. Неужели они не читали этих строчек? Неужели так и будут маяться всю жизнь?

У меня недавно Яша Хелемский спрашивает:

— Ты что это? Стихов окончательно не пишешь?

— Нет, говорю, не пишу. Я, говорю, теперь гражданин — и все дела!

Мне, говорю, теперь значительно легче. Вот вы, говорю, спорите как маленькие — который ямб, который хорей, который, скажем, Кобзев, а который Вознесенский. А мне один хрен. Для меня, говорю, все это — сплошной амфибрахий. Я теперь — простой гражданин. Мне, говорю, из всего вашего брата один Миша Луконин ближе всех. Он мне фельетон заказал, как редактор «Дня поэзии». Напиши, говорит, фельетон, чтобы те, кто еще в поэтах ходят, призадумались: не пора ли кончать волюнку...

Так я и сказал Яше со всей присущей гражданственностью.

Вот, дорогой читатель, что значит вовремя прочитать хорошую строчку.

Разумную, добрую и, главным образом, вечную.

Спасибо за внимание.

## Леонид МАРТЫНОВ

---

### РЕЦЕНЗИКА

Кибернетика замечательная наука, имеющая славное настоящее и колоссальное будущее. Каждая новая книга, популяризирующая достижения науки и техники, — большая радость для читателя. Но, раскрыв рецензируемую книжку<sup>1</sup> на стр. 69-й, вдумчивый читатель не может не испытать чувства печали. Не за кибернетику! Хотя речь идет о ней. Черным по белому напечатано следующее:

«Какова перспектива применения машин для замены так называемого творческого труда (подчеркнуто нами, как и везде в дальнейшем. — Л. М.) — труда поэтов, писателей, композиторов, изобретателей, ученых? Имеется некоторый опыт по составлению машиной стихов, музыки, любовных писем. С письмами дело обстоит, мягко говоря, неважно, а стихи и музыку, сочиненные машиной, хотя они и не блещут мыслью и талантом, нелегко отличить от произведений, встречающихся

<sup>1</sup> И. С. Шадринцев. Что такое кибернетика. Научно-популярная библиотека Военного издательства. М., Военное издательство Министерства обороны СССР, 1963.

во многих журналах, сборниках и радиопередачах «Запомните песню». Так что подобное «творчество» вполне можно механизировать и сейчас. Эта возможность расширится, когда будут найдены способы выражать художественные приемы в литературе и музыке в виде таблиц и формул, которые в виде программ можно будет ввести в машину. Глубина и талантливость таких «машинных» произведений будет определяться объемом достижений науки о форме и содержании произведения, использованных при составлении программ для машины, то есть количеством введенных в машину формализованных художественных приемов, объемом словаря, то есть опять-таки качеством творческого труда человека, дающего задание машине.

Будут ли нужны такие произведения? Конечно! Это будут абсолютно грамотные произведения, без ошибок, без ляпсусов, без вывертов, что очень важно для развития культуры. Автомат не имеет излюбленных словечек и оборотов речи (вот оно — главное достоинство автомата! — Л. М.), при правильной программе он будет в должной пропорции использовать весь запас художественных приемов и весь словарный фонд (и соответствующий материал в музыке), который будет в него вложен, что также очень важно для изучения языка и музыки...»

«Конечно, наряду с такой «механической» музыкой и литературой, — глубокомысленно замечает далее автор, — будут развиваться и обычные музыка и литература, создаваемые человеком. Произведения человека будут, может быть, более хорошими, внутренне теплыми, оригинальными. Но это будут главным образом любительские произведения, выполненные в часы отдыха от основной работы, а не профессиональные. Профессионалы же будут управлять машинами. Конечно, в настоящее время поэты и композиторы будут в один голос это отрицать. Но если бы извозчикам в старой Москве сказали о том, что будет метро, они поступили бы точно так же».

Что остается добавить ко всему этому? Книгу писал не робот. Автомат, «не имеющий излюбленных словечек и оборотов речи», исправный робот, «работающий по правильной программе» и вооруженный, так сказать, всем богатством человеческого разума, интеллекта, — исправный робот таких откровений не выдаст! Эти откровения тем более странны в свете заключительных страниц той же самой книги, где все же говорится, что «духовные и культурные взгляды, запросы и познания человека будут значительно шире, чем у машины, так что в этом отношении она будет туповата, ограничена». Вот тут и пойми, какую роль пророчит Шадринцев тем будущим профессионалам, которые будут управлять машинами, — поэтам и композиторам? Не суляться ли будущим читателям и любителям музыки произведения, отмеченные тупостью и ограниченностью?



## Александр МЕЖИРОВ

---

### МАСТЕРА

Мастера — особая  
Поросль. Мастера!  
Мастером попробую  
Сделаться. Пора!

Стану от усталости  
Напиваться в дым.  
И до самой старости  
Буду молодым.

Вот мой Ряд Серебряный,  
Козырек-навес,  
Мой дарек, залепленный  
Взглядами невест.

Мы такое видели,  
Поняли, прошли, —  
Пусть молчат любители,  
Выжиги, врали.

Пусть молчат мошенники,  
Трутни, сорняки,  
Околокожевники,  
Возлесырняки.

Да пребудут в целости,  
Хмуры и усталы,  
Делатели ценности —  
Профессионалы.

\* \* \*

Не обладаю правом  
впасть в обиду.  
Мой долг... Но я, ей-богу, не в долгу.  
По лестнице сбегу. На площадь выйду.  
Проталины увижу на снегу.

Тебя не вправе упрекнуть в измене,  
По всем счетам я заплатил сполна —  
И праздную свое освобожденье, —  
А на снегу проталины. Весна.

## Игнатий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

---

### ОСТРОВК ИГНАТИЯ

Пурги угомонилась шатия,  
Растратив за ночь весь свой пыл,  
И месяц островок Игнатия  
Мне по-приятельски открыл.

Вокруг снегов сиянье жесткое,  
И каждый мускул начеку.  
И я горжусь хороши́м тезкою,  
Чье имя дали островку.

Кто он, — ей-богу, я не ведаю.  
И рассуждаю сам с собой,  
И с тезкой мысленно беседую:  
Иль штурман ты, иль зверобой.

Какими ветрами сердитыми  
Тебя на север занесло?..  
Свисают звезды сталактитами,  
И льды вздыхают тяжело.

Какими шел сюда ты курсами,  
Одолевая снеговой,  
Кудрями бредил светло-русскими  
Любимой женщины своей.

А может, ты могилу раннюю  
Нашел здесь, выбившись из сил,  
И по полярному сиянию  
Перед кончиною проплыл.

И вот зелеными приливами  
Оно идет, бурля огнем...  
И я под крохотными ивами  
О тезке думаю своим.

Тебе б не пожалел объятий я  
В сверканье северной зимы.  
Немного в мире нас, Игнатиев,  
Но все же что-то значим мы.

## ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА

Пять лет назад в Смоленске, на Всероссийском семинаре молодых поэтов, я познакомился со стихами молодого калининца Андрея Дементьева. Каюсь, тогда мы (а в нашем семинаре руководителями были и критик Семен Трегуб, и горьковский поэт Михаил Шестериков) здорово поругали Дементьева. Так здорово, что я даже подумал: «А не переборщили ли я? Ведь парень он все же талантливый...»

Так я познакомился с Андреем Дементьевым, а потом и подружился с ним. Не скрою, мне понравилось, как он отнесся тогда, в Смоленске, к критике своих стихов. Без гонора. Спокойно, по крайней мере внешне. И по-деловому: взял и перешерстил заново свою книгу, которая вот-вот должна была появиться в Калининe. Это было «Родное» — вторая книга молодого поэта. И ее и следующую книгу Дементьева — поэму «Дорога в завтра» — заметили в Ленинграде и в Москве. «Дорогу в завтра» переиздала «Молодая гвардия».

В конце прошлого года в Калининe вышла четвертая книга Андрея Дементьева — «Глазами любви». Не буду цитировать ни одной строчки из этой книги, тем более что это не рецензия на нее, а просто заметка. Скажу только, что книга «Глазами любви» порадовала меня и, я уверен, порадует всех, кто возьмет ее в руки. Глубокий лиризм и высокая гражданственность как бы воедино сливаются в лучших стихах поэта; они определяют лицо книги. Какие стихи здесь назвать? Можно назвать многие. Но я упомяну такие: «Я поражаюсь мастерству природы...», «Поэзия», «Совесть», «Продается романтика...», «Горько так, когда люди старятся...».

«Глазами любви», без сомнения, лучшая и самая сильная книга Андрея Дементьева. Но добавлю — пока. Пусть лучшие книги у него будут впереди!



# Владимир СОЛОВУХИН

---

## СОСЕД

Я ремонтировал дом, и все уже было готово,  
Как вдруг приходит сосед:  
— А красить снаружи?  
— А разукрасить наличники?  
— Как, вы не будете красить наличники?  
— Невозможно!  
— Значит, я каждый день буду глядеть из окна  
На ваш некрасивый, неразукрашенный дом? —  
Он начал меня уговаривать то настойчиво, то осторожно,  
Видя, что я задумался, но поддаюсь с трудом.

Он заставил меня пойти в магазин  
И купить зеленой и белой краски  
(Голубая и вишневая у меня уж была).  
Он принес малярную кисть и высокую лестницу.  
Кисть в ведро окунул и провел по стене без опаски.  
По свежему тесу голубизна поплыла.  
Три дня по утрам (до колхозной работы)  
Занимался он творчеством, как таковым.  
Немного покрасит,  
Отойдет на пятнадцать шагов,  
Потом отойдет на другую сторонку села,  
Все заметит, прикинет и снова покрасит —  
Готово!  
Вишневая краска горела. Голубая краска сияла.  
Белая краска цвела.  
Зеленая просто ложилась, как трава по земле,  
Как основа.  
Значит, все эти дни, в то время как наши соседи  
Просто, скажем, копали картошку,  
Просто спали и ели  
И глядели на небо — не будет ли нынче дождя, —  
Он один создавал красоту.  
Каждый день по утрам (до колхозной работы)  
Он дышал красотой, выводя завитульки любовно  
(Хоть была и корысть — заработать пятнадцать рублей).  
Дом стоит на земле украшением улицы,  
Словно  
Только этого дома всегда не хватало  
На ней.  
Все пятнадцать рублей мой сосед, безусловно, истратил,  
Но еще и теперь он гораздо богаче других,  
Просто спящих и просто из окон глядящих —  
Соберется ли дождь или снова не будет дождя.  
Каждый день он глядит на мои разноцветные окна,  
Словно что-то забыл он в моем разноцветном дому.  
Выйдет утром — посмотрит.  
На работу пойдет — обернется.  
Ненароком вокруг обойдет — улыбнется...  
Позавидуем, люди, ему.

## Сергей МАРКОВ

---

\* \* \*

Словно альпийский цветок полая,  
Ты уходила прочь.  
Была на душе у меня глухая,  
Высокогорная ночь.

Сначала я думал, что все это — небыль,  
Детище горных вьюг,  
А утром увидел сломанный стебель,  
Как я, смотревший на юг.

\* \* \*

Было два снегопада  
В брэнной жизни моей,  
Гнетом стала отрада  
Ослепительных дней.

Поднимая столетний  
Каменеющий прах,  
Разразится последний  
Смерч в Небесных горах.

Не надеясь на кровлю,  
Что меня сохранит,  
Сердце к снегу готовлю —  
Облекаю в гранит.

### ДОРОГА В УЛАЛУ

Я шел на Улалу,  
Мне встретилась скала,  
И я спросил скалу:  
«Далеко Улала?»

Ответ гранитных уст  
Я слышал в первой мгле:  
«Спроси терновый куст,  
Он ближе к Улале».

Терновник, нем и глух,  
У каменной тропы  
Ронял древесный пух  
И старые шипы.

Вдруг кто-то мне сказал:  
«Со мною не шути,  
Опасен перевал  
Полночного пути!»

То женщина была, —  
В кораллах, как в огне, —  
Жила, как Улала,  
В моем желанном сне.

И обошла скалу,  
Чтоб задержать рассвет.  
Дорога в Улалу?  
Ее на картах нет.

## Евгений ХРАМОВ

---

### ЖУРНАЛ 40-го ГОДА

Вот журнал довоенный.  
Я его прочитал,  
самый обыкновенный  
предвоенный журнал.  
Тридцать две в нем страницы,  
фотографии, цвет,  
а про то, что случится, —  
ничего нет.

Там над полем вороны  
не кружат, не кружат.  
Там нарком обороны  
принимает парад.  
Ордена на мундире,  
и ладонь у виска.  
Словно море при штиле,  
неподвижны войска.  
А за рамками фото  
закипает волна,

отступает пехота,  
происходит война.  
И сквозь воздух гудящий  
детский слышится крик.  
По Европе горящей  
марширует блицкриг.  
Над золою Варшавы  
ветер смерти трубит.  
Но начальник заставы,

он еще не убит!  
И с журнальной страницы  
улыбаясь глядят  
молодецкие лица  
с ним погибших ребят.  
Ни единой воронки  
на родимой земле.  
Ни одной похоронки  
на дощатом столе.

## Анатолий КУДРЕЙКО

---

\* \* \*

Мне давно знакомы городки,  
где дома

тесней к плавильням лепятся, —  
это не оплошность и нелепица,  
а иначе просто не с руки.

Городку плавильня

что очаг  
для жилого каждого строения:  
это жизнь сама —

огней роение,  
а иначе б он в горах зачах!

Ведь еще никто от тех земель  
не знавал прибытка столь заметного,  
кроме, скажем, залеганья медного,  
там, где чуть не в камень входит ель.

Я и сам плавильням этим рад,  
к мастерам исполнен уважения...  
Как ярится медь в часы рождения,  
лишь возьмут в работу концентрат!

Сколько городку минуло лет,  
столько лет своим он делом славится,  
столько лет металл в плавильных  
плавится,  
на его судьбу бросая свет.

В этом свете вижу городок  
даже в хмарь, когда и небо серое,  
и еще сильнее пахнет серою,  
и нигде не вьется голубок,

и маячат редкие стволы  
рыжих сосен за его домами,  
где узкоколейка, словно в яме,  
откликается рожком из мглы...

## Дмитрий НАГАЕВ

---

\* \* \*

Это было: текли не скоро  
Месяца без зимы и лета,  
Нам навстречу пустым простором  
Поворачивалась планета.

Это было: стирая звезды,  
Поднималось в молчании пламя  
И, зловецким огнем захлестнут,  
Полыхал небосвод над нами.

Это было: вода вставала —  
Не до клотиков, а до неба —

И, грозя громовым обвалом,  
Шла на нас тяжело и слепо.

Это было, это не бредни:  
И пурга, и в тумане мины,  
И тоска, и табак последний,  
И последний фунт солонины...

Но глаза раскрывались жадно  
И душа никогда не стыла —  
В этом мире невероятном  
Вдоволь, досыта жизни было!

# МАРК ЛИСЯНСКИЙ

---

\* \* \*

Вчерашний день,  
Минувший год  
Не умирает в человеке.  
Прошедший век —  
Он в нашем веке  
Еще звенит,  
Еще поет.

Живут высокие веленья  
Ума и сердца прежних лет.  
Давно угасшие волненья  
Еще отбрасывают свет.

И фотография в альбоме,  
И куст сирени под окном,  
И тишина в отцовском доме  
Твердят о времени ином.

Всего сильнее чувство это  
Живет в далеком далеке,  
В соседстве с детством,  
Рядом где-то,  
В провинциальном городке.

Давно утихшие тревоги  
Нет-нет и снова оживут,  
Давно забытые дороги  
Опять в дорогу позовут.

И друг уедет неразлучный  
За много верст,  
На много лет,  
И колокольчик однозвучный,  
Которого в помине нет,  
Вдруг прозвенит ему вослед.

# Булат ОКУДЖАВА

---

## ВРЕМЯ

Кот бережет минуту,  
пес бережет года,  
бронзовый лев в карауле  
бодрствует всегда.  
Звери даже мгновений  
не отдадут никому...  
Только мы изменяем  
времени своему.

Ловкие транжиры  
с палочками в руках!  
Время для нас — что деньги  
в чужих  
кошельках.  
Время для нас — что звезды,  
падающие  
по ночам...

Стоит ли волноваться,  
друг мой,  
по мелочам?

Но время все же уходит.  
Я спрашиваю у вас:  
куда уходит минута?  
Куда уходит час?  
Куда уходят сутки?  
Куда уходят дни?  
За каким

поворотом  
скрываются вдруг они?  
Куда, наконец, уходит  
каждый прожитый год?  
И неужели ни разу  
снова к нам не зайдет,  
ну для того хотя бы,  
чтоб, помешав нам спать,  
о том, что мы позабыли,  
строго напомнить опять?





## ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

На шумной улице весеннего города среди людской разноголосицы и бесконечного грохота машин Владимир Фирсов читал мне стихи о верности. О верности маленькой речушке Соложе, затерявшейся «в зеленых сетях тростника» на древней земле Смоленского края. Я слушал стихи о незнакомой мне Соложе, бегущей в красавицу Десну, а видел мой деревенский ручей без имени, без прозвища, который с тысячами таких же ручьев и речек образует могучий Дон...

Нельзя не быть навсегда верным тем неприметным речкам и ручьям, которые вспоили тебя и теперь в своих неторопливых водах отражают небо огромной родины, то безоблачное и голубое, то тяжелое от нависших туч, отражают землю с тихой плакучей ивой над водой или с березкой, туго натянутой ветром. И недаром поэт говорит о том, что

Вечно будет с тобой  
Земля, на которой ты вырос...  
Земля, что весной оживает,  
Поднимает легко  
Над собой голоса жаворонков,  
Земля, где на вербе  
Ликует весенний скворечник  
И губастый теленок  
Глядит на него обалдело.

Потому жаворонок весело поет в небе, что он наклевался на земле, — исстари повторяли у нас на Руси, вкладывая в это присловье глубокий смысл привязанности к земле, «на которой ты вырос».

Один поэт, благодарный родительнице-земле, признается: «В горах мое сердце», другой не без гордости заявляет: «Я сын степей», третий влюблен в срединную Россию... И все они через свою маленькую, порой ничем не приметную землю видят и любят землю большую с ее солнцем и грозами, с улыбками и слезами.

Книжка «Память», выпущенная библиотекой «Огонька», в основном посвящена родной для Фирсова Смоленщине, где слушает широкие напевные песни старого ямщика Глинка, где в трудное время военных лет «в запорошенной снегом землянке дорогие братишки мои», где

Идет весна!  
И, душу веселя,  
Зеркальными играет лемехами.  
И весело вращается Земля  
С девчатами,  
С ручьями,  
С петухами!

Но, читая строфу за строфой, я вижу не одну Смоленщину, — я словно шагаю по моим орловским перелескам, пробираюсь сквозь заросли рязанской Мещеры или стою на тихом Куликовом поле... а перед глазами — они, люди большой судьбы: то это всадник, погибший, «чтобы правда жила», то космонавт, которому так дороги «раскаты грома, снега гречих и молодая рожь», то девушка на сенокосе, взгрустнувшая о трактористе, уехавшем в Москву, «косит празднично и чисто за него и за себя».

Книжка недаром названа «Память». Многие ее стихи («Глинка в дороге», «Смоленск», «Концерт», «За советскую власть», «Память о вой-

не», поэма «Память») посвящены прошлому. Но такому прошлому, которое рождало и отстаивало настоящее и будущее и потому не подлежит забвению.

Поэт не умалчивает о тех невзгодах и утратах, пережитых народом, которому принадлежит «величие Серпа и Молота». Но одну ли тоску и горе слышат люди в суровом напеве?

Песня, песня!.. Сквозь клубы пыли  
Над просторами всей земли  
Увидали рассвет слепые  
И глухие слух обрели.

Стихи Владимира Фирсова, простые и конкретные, за которыми, как правило, стоит реальное событие, человек или природа, при общей лирической окраске очень разнообразны по своей тематике. Рядом со стихами о незабываемых днях военных бурь, в которых «гудит набат веков, набат побед и горьких потрясений», в книжке помещены стихи, полные раздумий о большой человеческой любви.

Эпилогом книжки, очень собранной и цельной, стоит поэма «Память», как бы вобравшая в себя и обобщившая лучшие думы и мысли автора о русском человеке, о земле отцов и дедов, о любви и природе. Скупыми, выразительными штрихами Владимир Фирсов рисует путь России от тех стародавних времен, когда она

... столько лет  
Могла терпеть Батю  
И верных продолжателей его,

до России, которая «жива высоким днем» пылающих огней на Волге и Енисее, днем, когда

... стрелой,  
Сразившею Батю,  
Летит ракета в высоту.

О чем бы ни писал Вл. Фирсов, стихи его всегда конкретны, всегда связаны глубокими корнями с отчей землей.



## Лев ОЗЕРОВ

---

\* \* \*

Зерно прорастает вселенной,  
Зерном прорастает звезда,  
И следует смена за сменой  
В испытанном ритме труда.

А труд — голова и основа  
Всему, что не сгинет в огне.  
И старое сызнова ново,  
И новое льнет к старине.

И годы проходят, открыто  
Из будущего света.  
И выведен я на орбиту,  
Сурового века дитя.

\* \* \*

Я иду по ступеням горы  
И вокруг открываю миры.

Облака, что прошли надо мной,  
Вниз по склону сползают, клубясь.  
Неожиданностью и новизной  
Закрепляется в памяти связь  
Соответствий, явлений, примет.  
Облака. Крутизна. Резкий свет.  
Как меняется быстро пейзаж!  
Кряж незримо ложится на кряж,  
И окраска меняет их суть.  
По камням к вершине мой путь.

Вот с Кавказа я вижу Сибирь,  
Океанскую слышу волну...

Высота открывает мне ширь,  
Широта мне дает глубину.

\* \* \*

Огромна работа поэта.  
А чем она все же богата?  
В ней первая ласка рассвета,  
Последняя краска заката,  
И сердца глубокая мета,  
И времени резкая дата.

\* \* \*

Новизна — это Тютчев,  
Приходящий к зырянам.  
Это грамотный чукча  
Перед телеэкраном.

Новизна — это вера,  
И полет, и просторы,  
И отряд пионеров  
У старейшин «Авроры».

Это ветка сирени  
На странице суровой  
И улыбка смущенья  
На губах Терешковой.

## Николай НОВОСЕЛОВ

---

\* \* \*

Из ада крошечного,  
Из огня  
Как меня вынесло —  
Сам не знаю...  
Наземь соскакиваю с коня,  
Ноги затекшие разминаю.

Минута — чтоб срочный отдать пакет.  
Для встречи с тобой — четыре минуты.

Ввалился, как в сон,  
Как в мечту,  
Как в бред,  
В забытую теплоту уюта.

Свечки огарок найти во мгле.  
Вспугнутой птицей метнется пламя.  
Палатка штабная.  
Цветы на столе.  
Наган  
И наивный блокнот со стихами,

Пропитанный ржавчиною болот,  
Не бритый неделю —  
Я вновь с тобою.  
По-детски, чуть приоткрывши рот,  
Ты спишь в десяти верстах от боя.

Ты спишь.  
И в теплом дыму волос  
Запутался запах ромашки тонкий.  
Я тоже ромашек тебе принес,  
Расцветших вчера на краю воронки.

...Но вот уже слышно:  
Сквозь дождь и грязь,

По зыбкой гати, через болото,  
Спросонья вполголоса матерясь,  
Скачут всадники разведроты.

Вот и свиданью конец. Пора,  
Какая проклятая в теле усталость!  
Спи, моя девочка.  
До утра  
Много хороших снов осталось.

Спи, моя девочка.  
Завтра впрямь  
Много тебе предстоит работы —  
Писать извещения матерям  
Парней невернувшейся разведроты.

Спи, моя девочка. Жди меня,  
Свет не сошелся на смерти клином.  
Слышишь?  
Ромашки, твой сон храня,  
Пахнут горячим, кровавым дымом.

## Юрий ТРИФОНОВ

---

### ДЕВЧОНКИ

Ах, девчонки — будто бы точеные —  
с пропусками важными в руках!  
Узенькие, модные юбочки,  
туфельки на тонких каблуках.

Утром на трамвайную приступку  
юбочка подняться не дает.  
Шагом

безответственно некрупным  
через город мчатся на завод.

С видом независимым подходят  
к широко открытой проходной,  
будто время их не на исходе,  
будто у девчонок выходной.

На запястьях чешские браслеты,  
в сто целковых — новыми! — часы.  
«Ишь ты как стрекозы разодеты!» —  
хмыкают охранники в усы.

И, беря со строгостью понятной  
пропуска у тоненьких девчат,  
трижды с фотографией квадратной  
личность предъявителя сличат.

А девчонки с гордостью проходят,  
оттесняя плечиком ребят,  
о своих делах и новых модах  
громче,  
чем обычно,  
говорят.

## «АВГУСТ»

В моих руках новый сборник Ирины Снеговой — «Август». Солнечные жаркие дни, время сбора плодов, первая осенняя прохлада по вечерам, первые желтые листья в еще сильной, веселой зелени лесов. Вот что такое август. Так же и в жизни человека. Так же и в сердце поэта. Пора, когда рядом с неистребимой детской беспечностью, с мечтательностью и дерзостью юности все громче, все уверенней начинает звучать ясный голос зрелости.

Я люблю стихи Ирины Снеговой, мне они дороги тем, что я ценю в поэзии превыше всяческого блеска, — ощущением подлинности. Я не хочу сказать, что в сборнике все стихи таковы. Есть в нем и такие (даже хорошие!), которые поэт мог не написать. Но не о них сейчас речь, а о тех, которые не могла не написать Ирина Снегова, оттого что они — ее существование и как дыхание естественны и неизбежны.

Август. Первые черты увядания. Еле слышный сеется дождик, а лес молчит и ждет осени. А женщина просто стоит и думает:

Август, мой август, нет, я не горюю,  
Слушая шепот пустынного дня, —  
Просто стою я, просто смотрю я,  
Как на земле без меня.

Ничего лишнего в этих предельно простых, щемящих строчках. И сколько в них правды, сколько спокойствия, ясности, мужества.

А вот другое стихотворение, с названием прямым и прозаическим — «Воспаление легких»:

... Я не сплю. Я сижу.  
Я рассвет караулю.  
Я мечтаю, чтоб утром зима началась.  
Чтобы ночь эта,  
Словно свистящая пуля,  
Мимо нас  
Пронеслась.

Читаю эти строки и думаю: какой тревогой, какой болью отзовутся они в сердцах тысяч матерей, не спавших ночами у постели больного ребенка, и в сердцах дочерей, встречавших рассвет у изголовья умирающей матери, в сердцах всех, кто когда-нибудь всем напряжением души старался защитить любимое существо от грозящей гибели. Пишет ли Снегова о цветах, которые слишком поздно дарят людям, или о нежности — таком необходимом для счастья и так безжалостно преследуемом некоторыми «зверьке», или о снеге, который валит, валит, все замечает, делает землю похожей на белую страницу, когда можно все начинать сначала, — она находит слова живые и теплые. Читаешь и радуешься: так! так! так! Повторяю — это не рецензия на сборник, это не статья о творчестве И. Снеговой, — это то, что я хотела сказать об одной черте ее творчества, особенно для меня близкой и дорогой в поэзии вообще. Я верю, что за этой книгой придет следующая, где еще больше будет стихов, остающихся в сердце людском, от которых даже одиноким людям кажется, что они не одиноки.

Все это будет. Только бы не давали покоя поэту «песни неспетые».

# Сергей МИХАЛКОВ

---

## ЧУВСТВО МЕРЫ

Я не люблю абстрактное искусство,  
Но чувство меры — это тоже чувство!

---

Застав с карандашом трехлетнего малютку,  
Что портил на полу бумажный белый лист,  
Встревожился отец — и не на шутку:  
Ребенок — абстракционист!..  
— Кого нарисовал ты?

— Маму!  
— Маму?!

А это что?

— Трамвай! — сказал малыш.  
— О боже мой! Ведь это, скажем прямо,  
Сплошной модерн! Венеция! Париж! —  
И молодой отец, дрожащими руками  
Из рук ребенка выхватив «мазню»,  
Велел немедленно предать ее огню...

---

Кто может подсказать, что делать  
с дураками?

## ТУНЕЯДЦЫ

Клопы собрата хоронили.  
В причине горького конца  
Они, как судьи, обвинили  
На койке спавшего жильца.

Над прахом говорились речи.  
Жилец ворочался во сне.  
Напившись крови человеческой,  
Клопы грустили на стене.

## ЗАЗНАЛИСЬ ГОЛУБИ!..

Зазнались голуби!  
Их белокрылый брат  
Стал символом борьбы за дело мира:  
О нем везде поют,  
повсюду говорят,  
Его прославили резец,  
и кисть,  
и лира.

Зазнались голуби!  
У них надменный вид,  
На даровых хлебах разъелись, словно куры.  
Их представительство  
наглядно говорит  
О разновидностях  
и формах конъюнктуры...



**ПАМЯТЬ**





## 3. ПАПЕРНЫЙ

---

### СТРОКОЮ ВОТ ЭТОЮ...

Когда погружаешься в записные книжки В. Маяковского, видишь: работа над словом — своеобразное «прицеливание» словом. Поэт стремится так его «навести», чтобы оно точно поражало цель.

Последняя строфа вступления в поэму «Во весь голос» в записной книжке набрасывалась так:

Явившись в Це Ка Ка идущих светлых лет,  
Среди лирических рвачей, пройдох и выжиг...

Но «среди» звучит как-то нейтрально, слишком миролюбиво — как будто он, поэт Октября, приходит в завтра вместе с «рвачами, пройдохами и выжигами».

Второй вариант:

Поверх лирических рвачей, пройдох и выжиг.

Но и это кажется поэту недостаточно активным — он вписывает третий вариант — окончательный:

Над бандой поэтических рвачей и выжиг.

Можно ли сказать, что это только работа «над формой»? Как отделить ее от смысла, существа, пафоса поэзии?

Маяковский пишет статью «Как делать стихи?». И — он же смеется над «маленькими задачками чистого стиходелания». В этом нет противоречия. Поэзия холоднокровная для него не поэзия. Это всегда — горячее производство, связанное с высокими температурами. Из всех видов производства, мне кажется, Маяковскому ближе всего огненное литье. Не случайно у него «доменные» ассоциации: «Если для делания стиха пошел старый словесный лом, он должен быть в строгом соответствии с количеством нового материала. От количества и качества этого нового будет зависеть, годен ли будет такой сплав в употребление».

Неологизмы Маяковского, к которым некоторые исследователи до сих пор относятся настороженно («А не слишком ли? К чему крайности?»), — именно выплавленные слова. Холодной обработкой их не изготовишь.

Маяковский требует внимательного отношения к слову, к изучению его как материала с таким-то «сопротивлением», подлежащего такой-то обработке.

И он же провозглашает: надо закрыть «двери самодовлеющей лаборатории слова». В этом тоже нет противоречия.

Делами,  
кровью,  
строкою вот этою...

Именно потому, что за словом стоит судьба поэта, его «дела» и «кровь», — он не безразличен к словам, не может легко заменять слова другими.

Иногда говорят: незаменимых нет. Не знаю, справедливо ли это к работникам, — думаю, что нет (если только не подходить к ним делячески).





Смешно тут становиться в позу арбитра и с глубокомысленным видом решать, кто из них прав.

Каждый настоящий поэт ищет свое неизменно-единственное слово. Но пути к этому слову — разные.

Николай Тихонов сказал:

«Вы читаете стихи Маяковского — и будто входите на праздник слова; все гремит, сверкает, оглушает, предстает в многообразии, которому, кажется, нет границ».

Да, это праздник, торжество слова, потому что слова здесь созданы не для пустяков, а для дела — большого и славного. И каждое слово трудится честно и весело, как добрый работник, которому нет замены.

## Всеволод МЕЙЕРХОЛЬД

---

В 1933 году Мейерхольд выступил в газете «Советское искусство» с большой статьей «Слово о Маяковском», а 22 мая 1936 года в Ленинградском Доме кино сделал доклад о Маяковском. Отрывки стенограммы этого доклада впервые публикуются ниже.

*Публикация М. Ситковецкой*

### **О МАЯКОВСКОМ**

*(Из доклада В. Э. Мейерхольда  
в Ленинградском Доме кино  
22 мая 1936 года)*

... Не скрою, я очень волновался перед этим докладом, я ни разу не выступал с докладом о Маяковском, несмотря на то, что я был связан с ним очень большой дружбой. Я всегда при встречах с Маяковским очень сильно волновался. Я его считал очень крупным человеком, не только крупным поэтом, но вообще крупным человеком, который своим величием подавлял. Он был настолько замечателен, настолько остроумен, настолько умен, что всегда при нем, даже у такого бывалого в боях человека, как я, возникало состояние некоторой стеснительности. Только в 1936 году я решился немножко сказать о нем, причем я очень рад, что мне приходится говорить о нем именно перед работниками кинематографии...

... Только что вышел однотомник Маяковского, и на самом торжественном месте в качестве передовицы к этому однотомнику стоит его статья «Как делать стихи?». Когда я прочел эту статью несколько раз и посмотрел на нее уже новыми глазами, по-новому, я получил новые ощущения, новые мысли. Маяковский дает здесь некоторые советы о том, как делать стихи, но, прочтя эту статью, я, работающий в области театра, прочел ее так — как надо делать театр. Если прочтет эту статью работник кинематографии, он поймет, как надо делать фильмы, — так написана эта статья...

После того как прошла дискуссия, когда воздух уже очистился, когда мы попали в новую атмосферу, в атмосферу новых боев, потому что партия и правительство эту дискуссию допустили при обязательном условии,

что мы будем работать гораздо лучше, — ни партия, ни правительство не успокоятся, если мы начнем держаться такой средненькой линии. Поэтому мне хочется вместе с вами прогуляться по этому замечательному документу Маяковского.

Что меня больше всего поражает в этом документе? Прежде всего то, что он по-новому ставит вопрос о новизне. Он ставит вопрос о новизне в поэтическом произведении как о чем-то обязательном. Понятно, что я вас приглашаю посмотреть на то искусство, которое вы строите, и вы поймете, что без новизны никуда не денешься. Когда Маяковский спрашивает, какие данные необходимы для начала поэтической работы, то, сказав сначала о социальном заказе, потом о целевой установке, он тотчас же касается весьма важного вопроса о материале, о словах. И вот какое указание дает Маяковский, — указание, которое, с моей точки зрения, должно быть начертано золотыми буквами на стене каждого работающего в области искусства: постоянное пополнение хранилищ, сараев вашего черепа нужным, выразительным, редким, изобретенным, обновленным, произведенным. Это уже громадная программа. Без обязательных элементов этой программы очень трудно работать в области искусств...

...Маяковский рассматривает новизну, спрашивает себя и тотчас же отвечает — какая новизна делает вещь нужной, поэтической, типовой? Сейчас же отвечает.

Вот что он говорит. Во-первых, социальное задание. А что это такое? Вы помните этот знаменитый, этот крылатый термин «социальный заказ». Сколько написано по поводу этих слов. Сколько сказано по поводу, но спросите любого из нас, мы не знаем, о чем же говорили, о каком социальном заказе, что это такое.

Маяковский говорит об этом просто, в трех строчках. Он приводит пример, он говорит: слова для песен красноармейцам, которые идут на питерский фронт. Дает слова.

Что такое целевая установка? Какова целевая установка у поэта? Он отвечает: «Разбить Юденича».

...Дальше идет материал. Материал — солдатский лексикон. Тоже задача.

«Прием — рифмованная частушка». Видите, программа громадная. Дается образец:

Милкой мне в подарок бурка  
И носки подарены.  
Мчит Юденич с Петербурга,  
Как наскипидаренный.

Новизна этого четверостишия, как заявляет сам Маяковский, в рифме «носки подарены» — «наскипидаренный».

А затем, по Маяковскому, «для действия частушки необходим прием неожиданной рифмовки при полном несоответствии первого двухстрочья со вторым». Первое двухстрочье Маяковский называет вспомогательным.

Теперь я остановлюсь на минутку и сделаю маленький экскурс в область открытия целого ряда положений, обязательных для нас, которые эту статью «Как делать стихи?» прочитали.

Когда он говорит, что «для действия частушки необходим прием неожиданной рифмовки при полном несоответствии первого двухстрочья со вторым», это еще больше укрепляет меня в той заявке, которую я сделал еще в 1929 году в отношении Маяковского. Я не хвастаю перед вами, а говорю об этом потому, что это вопрос, который до меня никто не затрагивал. Он мною затронут очень легко и очень поверхностно, поскольку это не моя специальность, но этот вопрос надлежит очень тщательно проработать, потому что он оказывается открытием и для театралов и будет открытием для вас — работников кинематографии. Подтверждением этому служит не только мой личный опыт, потому что я хоть и заявил об этом,

но в лаборатории я все-таки проверяю, насколько я это верно нащупал, а вновь показанная картина Чарли Чаплина «Новые времена».

Речь идет о следующем. Есть статья, написанная Лессингом, совершенно забытая, и только в Германии, в годы между 1910 и 1912, театральный критик Юлиус Баб в книге, названия которой я сейчас не помню, очень подробно останавливается на необходимости для каждого драматурга овладеть этим эпиграмматическим даром, приемом, которым должен владеть строящий эпиграммы. Тогда я не думал, что это начало Лессинга. Мне казалось, что это просто талантливый критик художественный, который высказал такую парадоксальную, как мне тогда казалось, мысль. Как это технически претворить в жизнь, использовать — я не знал.

Затем я стал прощупывать, что это такое за техника писания эпиграмм, которой нужно овладеть, особенно драматургу, а следовательно, и режиссеру, и актеру, и всякому работающему в области театра. Лессинг определил эпиграмму как стихотворение, в котором внимание и любопытство наше обращаются на известный предмет и потом несколько задерживаются, чтобы затем сразу получить удовлетворение. Перевод я делал не сам, но чувствую по переводу, который сделан в одном из энциклопедических словарей, что сделано это довольно коряво, но мысль мне прощупать удалось дальше, когда я читал у лица, которое на эту тему кое-что смогло нам рассказать.

Имеются две существеннейшие части эпиграммы, без которых эпиграмма не стоит крепко на ногах, — это ожидание и разрешение. В первой части ожидание возбуждается объективным изображением предмета, а разрешение дается неожиданным остроумным заключением.

Это очень простая для усвоения формула, с которой я, придя на просмотр фильма «Новые времена», увидел сразу, как эта вещь сделана. Я сразу расшифровал ее, только с той точки зрения, что я приклеил Чаплину этот ярлык человека, обладающего эпиграмматическим даром. Когда я с этой точки зрения стал рассматривать Маяковского, то я, взяв один из отрывков «Бани», увидел, что сила драматурга Маяковского именно в том, что он этим эпиграмматическим даром и владеет, то есть он умеет в каждом куске создать в объективном изображении атмосферу большого ожидания и, когда он эту атмосферу сильно разогревает, он ее в заключение разрешает концовкой, пропитанной необычайным остроумием.

Отсюда и понятно, почему у Маяковского при перечислениях — рифмы, размеры, аллитерации, образы и т. д. — стоит на довольно почетном месте термин «концовка». Человек, обладающий эпиграмматическим даром, знает, что такое концовка. Этим искусством необычайно владеет и Чарли Чаплин. Если его фильм рассмотреть с этой точки зрения, вы увидите, что весь фильм распадается на ряд эпизодов, каждый из которых являет собою это построение — ожидание и разрешение. Это две существенных части эпиграммы.

Беру этот кусок из «Бани» и попробую вам быстро прочесть. Художник Бельведонский является к Победоносикову и приносит ему в кабинет образцы мебели. «Извольте, товарищ, взглянуть на вашу будущую мебель...» (*Читает.*)

Кусок распадается на три части, и в каждой из этих трех частей имеется своя великолепная концовка, которая так и просится в эпиграмму. В сущности говоря, это ряд опрозаизированных эпиграмм. Здесь дано ожидание, как игра на любопытстве зрителя, и затем непременно очень эффектная, остроумнейшая концовка, завершающая каждую часть...

...Интересные указания дает нам Маяковский о заготовках. Хорошую вещь, поэтическую, говорит Маяковский, можно сделать к сроку, только имея большой запас предварительных поэтических заготовок: «Только присутствие тщательно обдуманых заготовок дает мне возмож-

ность попевать с вещью, так как нормы моей выработки при настоящей работе — это 8—10 строк в день».

Ведь это же страшно подумать! Человек, который написал для своих годов довольно много, он для себя устанавливает норму выработки: 8—10 строк в день...

...В другом месте он говорит, что он иногда работает в сутки по 18 часов. Сделав 8—10 строк в день, он на заготовки тратил иногда 18 часов. Это значит, что он только то и делал, что жил в творческом напряжении, для него жизнь — это и было его творчество. Он не говорит так, как некоторые художники: сегодня искусство, а завтра я отдыхаю, — он не говорит: теперь я в полосе работы, — а так бывает, и не только у театралов, а очевидно, и в кинематографии и в поэзии есть такая порода людей, которые малое количество времени отдают для своего искусства. А такой, как Маяковский, он все время работает непрерывно, и именно оттого он может непрерывно работать, что для него это жизнь.

Есть у него в заготовках очень любопытная вещь:

«Работа над этими заготовками проходит у меня в таком напряжении, что я в девяносто из ста случаев знаю даже место, где на протяжении моей пятнадцатилетней работы пришли и получили окончательное оформление те или иные рифмы, аллитерации, образы и т. д.

Улица.

Лица у... (Трамвай от Сухаревой башни до Срет. ворот, 13 г.)

Угрюмый дождь скосил глаза —

А за... (Страстной монастырь, 12 г.)

Гладьте сухих и черных кошек. (Дуб в Кунцеве, 14 г.)

Леевой.

Левой. (Извозчик на Набережной, 17 г.)

Суклин сын Дантес. (В поезде около Мытищ, 24 г.)

И т. д., и т. д. ...»

Это необходимо запомнить, потому что Маяковский, шагающий по Кузнецкому мосту, — это случай, который надо регистрировать. Поэт Маяковский сидит за письменным столом, как сидели Золя и Тургенев? Собственно, у него не было письменного стола — могло не быть, эти 8—10 строк в день, которые он запишет, он, может быть, их просто в записной книжке замахнет.

То обстоятельство, что он все время жил, для него было главным, это действительность. Для него главным было присутствие на собрании рабочих, когда они заслушивают тот или другой доклад, посещение планетария, Зоологического сада, для него было главным очутиться то на Кузнецком мосту, то в Кунцеве, протрястись на автобусе. Он пишет об одном очень трудном куске ритма, который ему удался только благодаря тому, что он попал в очень тряский автобус, и он прямо ставит это в заслугу автобусу. Не будь тряского автобуса, он не победил бы этот трудный ритм, это вроде Гоголя, который пишет: «Я благодарю судьбу, что прислали Вы ко мне кучера, который принес записку, и я благословляю эту дорогу, по которой этот кучер шел, неся ко мне записку». Он тоже восхвалял какие-то места, которые принесли ему какое-то интересное послание. Так Маяковский преклонялся перед автобусом.

У Чехова в «Чайке» Тригорин рассказывает о своем творчестве. Разговаривая с Ниной Заречной, он рассказывает, как ему приходят образы в голову. Он описывает и свою систему мышления образами и говорит о голове своей, о черепе своем как о такой кладовой, куда попадают целые элементы заготовок, когда он смотрит на небо, находится в природе. «Плыло облако, похожее на рояль» и прочие вещи.

Треплев, завидуя Тригорину, как ему легко дается писание и как он ловко умеет строить образы, фразы, метафоры, Треплев говорит: «Ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки... вот и



лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля...» и т. д.

Для того чтобы описать лунную ночь, такую муру записывает Трелев, а у Тригорина блестит горлышко разбитой бутылки — и лунная ночь готова. Эта способность была у Маяковского, которому удавалось в стихах описать горлышко разбитой бутылки на плотине, чтобы дать лунную ночь, потому что этому предшествовала колоссальная работа над материалом, работа со словом.

У него есть указание о строчке «Для веселия планета наша мало оборудована», о том, сколько — пока он добрался до двенадцатой редакции этой строчки — ему пришлось написать, и он перечисляет одиннадцать строчек: «Наши дни к веселью мало оборудованы...» (*Читает.*)

Вот какими настойчивыми и, в сущности говоря, еле уловимыми маленькими операциями он приходит к одной строчке.

Теперь о заготовках, — это вопрос колоссальной важности. Я работаю совершенно так же, как Маяковский, у которого записной книжкой являлся его череп. Записные книжки, которые остались после Маяковского, составляют, может быть, одну тысячную того, что он скапливал в своей голове...

...Сейчас нужно говорить о нашем ремесле. Советский художник отличается от художника капиталистического мира именно этим свойством работать так, как работал Маяковский и как я работаю. Я позволяю себе несколько похвастать, но я дожил до такого возраста, когда это дозволено, нам, старикам, дозволено хвастать. (*Смех.*)

Дело в том, что советский художник, конечно, не имеет права (потому что иначе мы работать и не должны), не имеет права отделять жизнь от своего искусства и искусство от своей жизни. Вот в конце своей статьи грохает Маяковский: «Надо разбить вдребезги сказку об аполитичном искусстве».

Мы это слышали миллионы раз, и это не звучало бы по-новому, если бы не стояло в конце статьи его «Как делать стихи?». Дело в том, что «надо разбить вдребезги сказку об аполитичном искусстве» — этот лозунг не будет забанален, затрафаретен, если мы скажем, что современный советский художник не может отделять себя от той работы, которую ведет сегодня хроникер.

Это его знаменитое описание, как должен обращаться грамотный редактор с поэтом, который приносит ему банальнейшие стихи. Он советует редактору говорить с поэтом так: «Ваши стихи очень правильны, они составлены по третьему изданию руководства по стихосложению...» (*Читает.*)

И Маяковский дает предпочтение хроникеру, «у которого хотя бы новые происшествия имеются на его три рубля за заметку. Ведь хроникер штаны рвет по скандалам и пожарам, а такой поэт только слюни расходует на перелистывания страниц». (*Смех.*) Это желание, чтобы поэт рвал штаны, врывался в жизнь, садился на гвозди, так сказать; поэт, который умеет сбросить с себя чистенький пиджачишко, проникнуть в такие места, где он может действительно обогатить свой опыт, — такой поэт и имеет право сидеть у нашего стола. Он будет искать рифмы, он будет пользоваться своим материалом, купаясь в этом житейском океане. Он должен чувствовать, как на его чистый пиджак садится копоть от труб. Он должен быть обрызгиваем грязью, которая срывается от быстро мчащегося автомобиля, то есть он должен быть не как представитель умственного труда, а должен жить той же самой жизнью, какой живет рабочий. Он не должен ничем отличаться от этого рабочего, тогда только он и найдет нужные слова, нужные рифмы, нужные ритмы.

Таким был Маяковский. Его кладовая является всегда густо заполненной, потому что он делает заполнения, для него этот процесс заполнения идет автоматически. Он являет собою своеобразный сейсмограф, ко-

торый всегда на себе ощущает всякие землетрясения. Поэт является таким же сейсмографом, то есть на него летят события, и его хорошо натренированный мозг воспринимает впечатления...

...Чехов, с которым я был хорошо знаком, который меня тоже кое-чему учил, говорил: если у вас есть какой-нибудь сюжет, то прежде всего его нельзя рассказывать. Тогда вы его не напишете, потому что то, что рассказано, как бы уже получает некое оформление, плохое или хорошее, но развитию этому будут поставлены шлюзы. Если же вы сюжет не рассказываете, то он вас беспокоит, все время терзает своей незаконченностью. Тогда вы его можете в течение десяти лет вынашивать, поворачивать так и этак, и он у вас выльется в хорошую законченную форму, появится в свет и будет рассказан либо через печать, либо через экран, либо появится через мизансцену в театре.

Эта система заготовок тем-то и прекрасна. Это забивание своего черепа целым рядом кусков, которые должны войти в какую-нибудь большую работу, не есть способность, данная от природы, для этого нужно себя тренировать. Некоторые думают так, что мы, художники, отличаемся от простых смертных тем, что мы сразу рождаемся художниками. Мейерхольд в первый день рождения уже знал, как делать мизансцены. Ничего подобного. Мы себя делаем художниками. Мы работаем над тем, чтобы стать тем, чем мы хотим стать.

...Нужно вытренировать способность иметь острый глаз. Ни один художник не может стать хорошим художником, если у него не будет этого острого глаза, наблюдательности. Но наблюдательность рождается только в постоянном наблюдении жизни. Если вы будете сидеть в кабинете и только перелистывать хорошие книги, конечно, вы не станете художником. Вам нужно обязательно много купаться в жизни.

## Александр ЖАРОВ

---

### С МАЯКОВСКИМ НА ТРИБУНЕ

Буржуазные декаденты считали поэзию искусством для немногих, мы считаем ее искусством для всех. Искусство принадлежит народу, говорил Ленин.

Владимир Владимирович Маяковский очень ясно понимал это и свое понимание настойчиво внушал нам, своим младшим соратникам, комсомольским поэтам.

Я — один из них.

Мне, деревенскому пареньку, приехавшему в начале 20-х годов в Москву по комсомольским делам, интересно было посмотреть на столичных поэтов. Я заходил иногда в поэтическое кафе, которое называлось «Домино». Находилась оно на нынешней улице Горького.

Там можно было с разрешения дежурного поэта выйти на эстраду и прочитать стихи. Я рискнул сделать это. Читаю и вижу: в кафе вошел Маяковский. После моего выступления он подошел ко мне:

— Зачем вы, товарищ комсомолец, сюда ходите?

Я смутился. Ответил, что редко бываю тут. Бываю, чтоб поглядеть на настоящих поэтов.

— Тут настоящие поэты почти не бывают...  
— А как же вы, Владимир Владимирович?  
— А я случайно зашел... Выпить чашку кофе.  
Маяковского, конечно, просили прочитать что-нибудь. Он решительно отказался...

Через год я обосновался в Москве. Стал печататься. Маяковский, как видно, следил за первыми шагами таких, как я.

Это я понял весной 1922 года и летом 1929 года, когда в моей маленькой комнатухе у Бутырской заставы раздался телефонный звонок.

В трубке густой бас:

— Это вы, Жаров?

— Это я.

— Говорит Маяковский... Собирайтесь! Поедем в гости к красноармейцам в Октябрьские лагеря...

— Зачем?

— Я же сказал: в гости! Будем стихи читать бойцам...

— Владимир Владимирович! Но я не могу... Сегодня воскресенье, я один дома сижу... Вернее, вдвоем с сыном.

— Сколько сыну лет?

— Пять!

— Ну, такого гиганта можно с собой взять! Собирайтесь! Сейчас за вами армейская машина ваедет! Давайте! Нас ждут...

Я вспоминаю об этом, глядя на фотографию, хранящуюся у меня. Красноармеец-фотолюбитель запечатлел тогда в военном лагере возле Всехсвятского Маяковского и его бригаду, в которую входили поэты: Семен Кирсанов, Джек Алтаузен, Иван Молчанов, я и мой сын, которого Владимир Владимирович тоже счел нужным представить собравшимся, взяв его на руки... Маяковский выступал с большим подъемом.

Он заявил о том, что гордится, выступая перед такой уважаемой аудиторией... «Красная армия — красный еж, верная наша защита!»

— Вот где выступать надо! — потихоньку сказал он мне, подойдя к столу президиума.

А громко:

— Мы — поэты революции. Наши стихи рассчитаны на громкое прозношение! Мы пишем для народа! Выступаем с трибун как поэтические агитаторы и пропагандисты партии! Учимся выступать перед любой большой аудиторией, а красноармейская аудитория для нас — самая любимая!..

Бурно и сердечно приветствовали Маяковского взволнованные слушатели. Впечатляющей была эта встреча, о которой двенадцать лет спустя, в первый год войны, довелось мне рассказывать другим нашим бойцам на фронте — в блиндажах и землянках, в кают-компаниях боевых кораблей действующих флотов.

Тогда и сложились у меня стихи о Маяковском, голос которого, звучавший в начале великого нашего времени, звучал и в грозные годы военных испытаний, звучит и ныне — в боевую пору развернутого марша народа, созидającego коммунизм.

Раскаты голоса громового,  
Врываясь в гул военной были,  
Полней и несколько по-новому  
Нам Маяковского открыли.

И все, что было рядом, около,  
Привычная любая малость  
Его поэзией высокою  
Вновь озаренной оказалась.

Воспетая им стройка города,  
Над сельским клубом струйка дыма —  
Все становилось дважды дорого  
И больше прежнего любимо!

И сразу в голосе повышенном  
И в слове грубовато-гневном  
Мы нежность скрытую слышали,  
Согретую огнем душевным...

Бессмертный стих, не зная устали,  
Шагал по всем путям военным.  
Он всюду был, бойцов напутствуя  
Своим призывом вдохновенным.

Певец, гражданской страсти отданный,  
Всегда — с героями похода,  
Как сын страны, как верноподданный  
Непобедимого народа.

## Алексей ПРЯМКОВ

---

### ПЕВЕЦ РЕВОЛЮЦИИ

*(О переписке В. И. Ленина с Демьяном Бедным)*

Вспоминая о начале своего творческого пути, Демьян Бедный говорил: «Писать я стал на двадцать седьмом году. Но настоящим писателем я сделался тогда, когда стакнулся с большевиками. Меня наша партия в полном смысле этого слова сделала писателем. Я как-то сразу обрел язык...»

В 1912 году в Петербурге, в условиях подполья, Демьян Бедный вступил в ряды большевистской партии, и с тех пор вся его жизнь, все творчество были направлены на борьбу за интересы партии и народа. Творчество Демьяна Бедного развивалось и крепло под направляющим влиянием Коммунистической партии и ее вождя В. И. Ленина.

При помощи большевистской «Правды» в 1913 году был издан первый сборник Демьяна Бедного «Басни».

«Видали ли «Басни» Демьяна Бедного? — спрашивал В. И. Ленин А. М. Горького. — Вышлю, если не видали. А если видали, черкните, как находите» (т. 35, стр. 66, 1950 г.).

Вскоре после этого, в статье «К вопросу о политике министерства народного просвещения» (июнь 1913 года) В. И. Ленин назвал это министерство министерством народного затемнения, используя выражение знаменитого русского писателя-сатирика Салтыкова-Щедрина. Рассказав о том, как невежественная вдова гвардейского генерала была назначена начальницей самарской женской учительской семинарии, В. И. Ленин писал: «Не подумайте, господа, что этот факт взят мной из сборника басен Демьяна Бедного, из такой басни, за которую «Просвещение» оштрафовали, а редактора его засадили в тюрьму. Нет» (т. 19, стр. 120). Тем самым В. И. Ленин подчеркивал революционное значение сатирического

произведения — басни Демьяна Бедного, его роль в борьбе против царского самодержавия.

Вспоминая свою работу в дореволюционные годы, Демьян Бедный гордился тем, что его басенное творчество ценил В. И. Ленин:

И можно ли забыть, чьим гением она  
Была тогда оценена?  
Чтоб я не бил по дичи мелкой,  
А бил по зубрам бы, бродившим по лесам,  
И по свирепым царским псам,  
Моею басенной пристрелкой  
Руководил нередко Ленин сам.

(т. 4, стр. 283—284, 1954 г.)

Редакция «Правды» нередко отправляла басни Демьяна Бедного на предварительное рассмотрение за границу В. И. Ленину. В письме редактору «Донской жизни» П. П. Мирецкому Демьян Бедный писал:

«Посылаю для «Донской жизни» басню «Честь». Да не смущается сердце ваше. После появления у вас «Честь» пойдет здесь в расширенном варианте: будет до скандала ясно, о каком политике идет речь. Скандал предвидится такой, что басня редакцией «Правды» послана на окончательное суждение за границу Ленину».

Во многих произведениях Демьяна Бедного была видна направляющая рука В. И. Ленина. В своей тематике поэт исходил из актуальных вопросов жизни и борьбы народа, деятельности большевистской партии. В баснях и стихотворных фельетонах бичевались и высмеивались царское правительство, его мероприятия, законодательство, разоблачались представители правящих классов — царские министры и чиновники, банкиры и помещики, капиталисты и кулаки. Поэт воспевал организаторскую роль партии, союз рабочего класса и крестьянства, высмеивал либералов, меньшевиков и прочих противников партии и трудящихся.

В прошлом году было опубликовано начало переписки В. И. Ленина и Демьяна Бедного. Найдено несколько еще не публиковавшихся писем поэта к В. И. Ленину. Эти материалы позволяют подробнее осветить роль В. И. Ленина в формировании и развитии партийной, политической поэзии Демьяна Бедного.

Известно, что царская охранка, напуганная ростом влияния и популярности «Правды», сумела заслать в редакцию весной 1913 года своего сотрудника Мирона Черномазова. До этого времени М. Черномазов числился эмигрантом, жил в Париже и работал при редакции «Социал-демократа». Несмотря на то что члены ЦК его не знали, Л. Каменев счел возможным рекомендовать его для работы в «Правде». Возвращаясь из Парижа, М. Черномазов побывал в Кракове. «Нам Черномазов не понравился, — вспоминала Н. К. Крупская, — и я даже ночевку ему не стала устраивать, пришлось ему ночь погулять по Кракову» («Воспоминания о Ленине», стр. 210). Прибыв в Петербург, Черномазов начал работать рядовым сотрудником, как позднее рассказывал М. Ольминский (14 марта 1917 года), был зачислен «на второстепенную должность, но после новых арестов пришлось ему дать и редакторскую работу». После предупреждения В. И. Ленина и заграничного бюро ЦК партии за Черномазовым был установлен строгий контроль, а к 1914 году он был окончательно изгнан из «Правды».

Черномазов не раз подводил легальную газету под репрессии: редакция штрафовалась, номера газеты конфисковывались. Кроме того, он ловко спровоцировал несколько мелких конфликтов внутри редакционного коллектива, в результате которых Демьян Бедный был фактически отстранен от работы в «Правде». Поэт переживал это как большое и общественное и личное горе. Жандармы внимательно следили за каждым шагом поэта, сыщики царской охраны ходили за ним буквально по пятам.

В эти-то тягостные дни, 15 ноября 1912 года, и написал Д. Бедный первое письмо В. И. Ленину. Он использовал самые осторожные выражения и пока ничего не рассказывал ни о своем трудном положении, ни о делах в редакции «Правды»:

«Демьян Бедный шлет сердечный привет. Хочу непосредственно списаться с Вами. Жду ответа с указанием этого или иного надежного адреса. Адресуйте: С.-Петербург, Надеждинская, 33, кв. 5. Редакция журнала «Современный мир», Демьяну Бедному. — Но вместе с тем прошу подтверждения через редакцию «Правды», что действительно Вы получили сие письмо и Вы ответили на него. — Пишу Вам первый раз и потому осторожен. Буду рад, если Вы на это письмо ответите более непринужденно, чем поневоле — пишу Вам я.

Примите уверение в величайшем уважении.

Д. Бедный».

Очень быстро, уже 5 декабря 1912 года, Владимир Ильич ответил поэту. Он писал:

«Демьяну Бедному.

Уважаемый товарищ! Спешу уведомить Вас, что письмо Ваше от 15 ноября 1912 г. получил. Адрес, очевидно, действует хорошо — писать можно и впредь так же. Мы были очень огорчены Вашим временным уходом из «Правды» и очень обрадованы возвратом. Переписка с сотрудниками «Правды» у нас в последнее время, после печальных происшествий последних дней особенно, совсем плоха. Это тяжело. Были бы очень рады, если бы Вы теперь, проверив адрес, т. е. убедившись, что Ваше письмо дошло, написали бы поподробнее и о себе, и о теперешней редакции «Правды», и о ведении самой «Правды», и о ее противниках, и о «Луче», и т. д.

Зачем еще подтверждение через редакцию «Правды»? Не понимаю.

Жму руку и шлю привет и за себя и за коллегу.

В. Ильин».

Из дальнейшей переписки наглядно видно, какое большое внимание уделял В. И. Ленин воспитанию большевистской направленности молодого поэта. В письме от 12 февраля 1913 года Демьян Бедный, отвечая на вопросы В. И. Ленина, пишет:

«Ежели отвечать по пунктам, так получится диссертация: 1. Как я отношусь к Богданову и махистам? 2. ...к «впередовцам»? 3. ...к меньшевикам «Луча»? 4. ...к «Просвещенцам»? 5. Что такое «Михальчи»? 6. Полетаев? Ольминский? 7. Мои планы? и т. д. и т. д. и т. д.

Я — Демьян Бедный. Чего Вы от меня хотите? Мой «символ веры» — в моих баснях. Будут еще и не басни, но все же только писательство. К той реорганизаторской работе, которую Вы мне предлагаете, я не приспособлен».

Несколько ниже Демьян Бедный отмечает:

«Вы мне пишете о «коллегиально-марксистских способах действия». Можно предположить, что в данном случае речь идет о слаженной, коллективной работе, в первую очередь в редакции «Правды», о высокой партийности ведения и дальнейшего налаживания газеты...»

...Относительно «Просвещения» напишу в другой раз. Надо бы журнальчик поставить на ноги. Пусть бы он явился для нас хоть некоторым подобием той великолепной отдушины, какой была «Звезда». Я очень любил «Звезду». Даже страшно: отдавал ей больше симпатии, чем «Правде», даже тогда, когда в «Правде» работал. Хорошая была газета. Вот бы такую опять поставить! Много глупостей было сделано, доконавших «Звезду». А она могла бы иметь 40—50-тысячный тираж».

Демьян Бедный — начинающий литератор партийной печати, молодой, еще не закаленный член большевистской партии, он не все правильно понимает в сложившейся обстановке, кое-что оценивает излишне нервно и поспешно. В. И. Ленин сообщил, что от него прибудет к Д. Бедному человек для специального разговора.

«Ваш друг» будет иметь со мной свидание? Что свидание даст? Ничего, — говорится в письме Д. Бедного. — Я отвечаю только за себя и располагать могу только собою. Роль моя — простая. Теоретик я — отчаянный. С хозяйством не знаком. «Новичок» безусловный и безнадежный, пожалуй. . . У меня на очереди три, даже четыре больших работы (литературных), из коих дай бог половину сделать к осени, так как у меня убивается масса времени на грошовые уроки, которыми и поддерживаю свое (семейное!) существование. Да еще долгу 300 рублей за книгу. Обернись тут. Было мне сделано месяц назад предложение от газеты «День». Отказался. Скверно пахнет газета. Но веду переговоры с «Киевской мыслью». Три или четыре дня назад некий ликвидатор, узнав о сем, деликатно мне сказать изволил: «Для Вас еще не закрыт путь в «Луч!»» Буквально. И т. к. сие было сказано в виде желанья смягчить всем очевидную мою тоску от бездействия, то мне пришлось отказ редактировать в мягкой форме. . .

Вот в каком положении найдет меня «ваш друг». . .»

Пожалуй, наиболее точно Демьян Бедный охарактеризовал свое состояние в письме В. И. Ленину такими словами: «Нехорошо у меня на душе. Пришиблен морально и материально». Очевидно, не без влияния М. Черномазова, некоторые сотрудники редакции, настроенные против Демьяна Бедного и его творчества, стали под разными предлогами откладывать и всячески задерживать публикацию басен и фельетонов поэта; одновременно с этим резко, почти наполовину, была снижена заработная плата Демьяна Бедного как сотрудника «Правды».

Он пишет:

«Слово «хищение» — не даром мелькнуло в Вашем письме. Оно есть. И не хищение, а расхищение. И кто к сему «делу» прилепился, того, как клеща, не оторвать. Я уже писал Вам, что у меня полная уверенность в невозможности заменить нынешнюю публику другой. Другую переарестуют. Тут что-то неладное. «Кто-то мешает», как Вы подчеркиваете.

Мне на-днях пришлось убедиться в удивительной осведомленности охранников по части моей особы. Раз это так, т. е. осведомленность чертовская, то чем же объяснить ту шпиговую охоту за мной, какую я наблюдаю третий месяц? Наблюдаю со смехом, т. к. действительно смешно видеть шпиговское бессилие перед непререкаемой очевидностью моей — в настоящее время — неуязвимости. Однако лезут в квартиру. Кому-то неприятно мое присутствие бок-о-бок с «Правдой». Это ясно».

Демьян Бедный пишет, что он не может участвовать в перестройке газеты — «в реорганизации», потому что «все равно меня моментально реорганизовали бы отсюда». «Буду ждать лучших дней, вот и все. Отрясаю прах. Вернусь — по первому Вашему зову. Адреса Вашего в «Правде» я узнать не мог. . . Если есть лучший адрес, дайте лучший. Видеть меня Ваш друг может хотя бы в редакции «Просвещения». Вы предварительно напишите мне день и час свидания».

В конце письма Демьян Бедный снова и снова возвращается к письму В. И. Ленина — настолько велико и незабываемо впечатление от него, проникнутого великой революционной верой в победу народного дела:

«Милый, хороший Ильич! Перечитал я еще раз Ваше письмо: сколько горячности, бодрости, рвения! Разные мы люди с Вами, я уже люблю Вас, как свою противоположность. И мне так грустно: в ответ на Ваш фейерверк я посылаю такую холодную жижицу. Вы взяли у меня слово «горсть» — раз, два, три! — и вот уже в Ваших мечтах эта «горсть» — рать какая-то неодолимая, или по крайней мере — «могучая кучка». А я и

всего-то думал о двух-трех лицах. Конечно, в налаженном деле и от двух-трех польза большая может быть. Но налаживать новое дело... мало «горсти»...»

В следующем письме, 25 февраля 1913 года, в нарочито шутливом тоне Демьян Бедный сообщает В. И. Ленину о своем аресте и об арестах сотрудников «Правды»:

«Пишу Вам, как влюбленный; каждый раз прилагаю «патрет». Ах, дядя! В сем виде я был на днях ввержен в узилище. Вам, вероятно, уже писали об этом...

...Все теперь на бобах, я в частности. Мы уже стали было толковать о реорганизации в том смысле, в каком и я понимаю, и назначили день для детального обсуждения, но... день отодвинулся, и я опять не знаю, что будет.

Ради бога, не сердитесь на меня никогда за раздражительные слова в письмах. Я перед Вами — как перед собою. Мне было очень приятно узнать... что Вы относитесь ко мне любовно. Будем искренни — и больше ничего нам не надо. Это я сгоряча писал о неприемлемости для меня «корректуры». Нужно будет, и за корректуру сяду. Но ведь положение создается, вернее остается то же самое. Кто-то мешает. Ума не приложу: кто? Положение прямо прескверное. Ведь, при всем желании, с меня «молоко» — только литературное. Больше я ничего не могу сделать. Я могу работать только при налаженных уже отношениях. А наладить-то некому. А очистить авгиевы конюшни почти невозможно... У меня такое чувство, что я скачу по тропинке бедствий, как и всякий другой, кто будет способствовать обновлению редакции. «Кто-то» мешает и «кто-то» сидит крепко».

Демьян Бедный был арестован на улице в Петербурге 13 февраля 1913 года, на другой день после письма В. И. Ленину. Когда обыскивали поэта, в его кармане вдруг затрещал будильник. Шпикам показалось, что это бомба, которая вот-вот должна взорваться. Будильник отобрали. Этот эпизод ярко описан поэтом в стихотворном фельетоне «Будильник».

7 марта 1913 года Демьян Бедный снова пишет письмо В. И. Ленину. Поэт тяготится вынужденной невозможностью плодотворно работать, писать для народа. Материальное положение его остается тяжелым.

«Милый В. И.! Должен же я, помимо всего прочего, иметь хоть каплю уважения к себе? И к своей работе? Я же не птица беззаботная? Вот Вы, вероятно, уже прочли мою басню «Свеча»? Слушайте, кто теперь дает такую басню? И сам я могу ли ежедневно писать такие басни? Басня ли это, наконец? Я же знаю, как ее стали все читать! Как призыв. Прочтите в мартовской книжке «Совр. мира» басню «Ослы» (если не испугаются поместить). Стоит она чего-нибудь? Разве такие вещи не вынашиваются? И должен я иметь благоприятные условия для вынашивания.

Одно из двух — или я пишу черт знает что, — и — к черту меня из рабочей прессы, — или я делаю важное дело, делаю, как никто в данное время, — по-своему, и мне надо помогать, а не тормозить меня?

Мог ли я не быть благодарным Полетаеву, который поддерживал меня 150-рублевым жалованием, лишь бы я мог свободно работать, ибо знал, что работаю не за страх, а за совесть?..

...Я в данное время, находясь накануне второго выселения из квартиры (привлечение к мирошке) (вызов в суд. — А. П.), — как по Вашему могу я спокойно рассуждать, видя себя вынужденно безработным в то время, как мог бы и должен бы работать?..

...Остается, стало быть, одно: опять вплотную впрячься в репетирование и забыть почти всякое писательство. А тем временем мошкара, злорадствуя, будет распускать слухи: Дем. Бед[ный] ушел от пролетариата. Льнет, знаете, туда, к этим самым...»



Демьян Бедный просит у В. И. Ленина поддержки в его просьбе на право работать в подлинно рабочей печати, служить пером писателя трудовому народу. Рассказывает он В. И. Ленину, естественно, и о своих писательских делах.

Мы читаем суровую и трогательную прозу поэта — его взволнованные письма, видим и понимаем его легкоранимую, поэтическую, воспламеняющуюся душу, его сердце, встревоженное разными, подчас мелочными обидами. Прошла зима 1913 года, приближается май, а поэт все еще не устроен. И он снова и снова берется за перо, чтобы излить свою душу Владимиру Ильичу:

«Дорогой В. И.! Как и надо было ожидать, я жалею, что послал Вам позавчерашнее несуразное письмо. Выбросьте его к черту!»

Дальше Демьян Бедный сообщает о своей работе над баснями «Лубок» и «Ослы». «Меня расстроила невозможность пустить б. «Ослы» целиком. Пугливый народ пошел». В письме рассказывается о проведении юбилея «Правды»: исполнился год со времени выхода первого номера газеты.

Демьян Бедный считает, что хроника рабочей и крестьянской жизни в «Правде» иногда неудовлетворительно обрабатывается. В письме приводятся выдержки из двух материалов, вклеены вырезки из отдела «Рабочее движение». Особенно плохо освещается крестьянская жизнь.

«И вообще с этой «Жизнью» в «Пр[авде]» из рук вон плохо. Говорю, как крестьянин, который только 3 дня назад получ[ил] письмо от голодающей в деревне матери о том, что ее поколотил урядник и выбил стекла в избе.

К слову сказать, немало тоски наводят на меня эти письма. Что делается теперь в деревне, до какой степени взяло дикую волю всякое «начальство», так это уму непостижимо. При мне, помню, 15 лет назад, ничего подобного не было.

Если извернусь как-либо в том, дьявольском положении, в каком нахожусь сейчас, первым делом поеду в деревню, где не был давным-давно...

...Голова что-то туго варит. Напишите мне два тепл[ых] слова «о себе». А мне легче станет. Пришлите мне свой «патрет»...

...Ильич! Говорят, Вы — «хороший мужик». Это очень хорошо: мужик. И я вот — мужик. И чертовски хотелось бы Вас повидать. Наверное, Вы простой, сердечный, общительный. И я не покажусь Вам тяжелым, грубым. Правда, Вы не икона? Ваш Д. Б.»

Примерно в середине мая 1913 года В. И. Ленин послал в редакцию «Правды» письмо, в котором писал:

«Насчет Демьяна Бедного продолжаю быть за. Не придирайтесь, друзья, к человеческим слабостям! Талант — редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать. Грех будет на вашей душе, большой грех (во сто раз больше «грехов» личных разных, буде есть таковые...) перед рабочей демократией, если вы талантливого сотрудника не притянете, не поможете ему. Конфликты были мелкие, а дело серьезное. Подумайте об этом!» (Сборник «Ленин и «Правда», стр. 182. Изд. «Правда», 1962)

С июня 1913 года произведения Демьяна Бедного вновь после почти пятимесячного перерыва стали регулярно публиковаться в «Правде».

Письма Демьяна Бедного В. И. Ленину имеют свое значение для изучения биографии поэта, которая, к сожалению, исследована далеко не достаточно. Особенно начальный период его поэтической деятельности — работа в «Правде», в условиях жесточайшего преследования со стороны царской цензуры, в сложной обстановке травли поэта охранкой и ее агентурой.

После разгрома царизмом «Правды» Демьян Бедный занимался разной литературной работой. Во время войны (1914—1915 гг.) служил фельдшером в старой армии на Юго-Западном фронте. Здесь он задумал и начал уже делать отдельные наброски, накапливать материалы для большой поэмы-повести о народной жизни «Про землю, про волю, про рабочую долю».

Как известно, в апреле 1917 года В. И. Ленин вернулся из-за границы в Петроград. Здесь состоялось его личное знакомство с Демьяном Бедным.

В конце августа того же года был опубликован короткий стихотворный фельетон Демьяна Бедного «Либердан», ставший поистине знаменитым. Либердан — это контаминация имен двух меньшевистских вожakov — Либера и Дана, которые ратовали за коалицию с буржуазией. После появления фельетона всех меньшевиков и их прихвостней стали называть «Либерданами».

Это стихотворение Д. Бедного было широко использовано В. И. Лениным. В известном «Письме к товарищам» он писал: «Либо переход к Либерданами и открытый отказ от лозунга «Вся власть Советам», либо восстание. Середины нет». И дальше: «Вся суть политики Либерданов и Черновых, а также «левых» среди эсеров и меньшевиков состоит в колебаниях» (т. 26, стр. 171, 175). В письме от 19 октября 1917 года, адресованном Центральному Комитету РСДРП, В. И. Ленин писал: «Зиновьевы верят Либерданами...» (т. 26, стр. 195). В. И. Ленин бичует Либерданов в статьях «О героях подлога и об ошибках большевиков», «Из дневника публициста», «Кризис назрел» и в других. В статьях В. И. Ленина «Либерданами» упоминаются около двадцати раз.

В статье «Удержат ли большевики государственную власть?» В. И. Ленин использовал стихотворение Демьяна Бедного «Страдания следователя по корниловскому (только ли?) делу» — «корнилится и керится». Слова образованы от фамилий Керенского и Корнилова, пытавшихся задушить революцию. В. И. Ленин писал: «Государство есть орган господства класса. Какого? Если буржуазии, то это и есть кадетски-корниловски-«керенская» государственность, от которой рабочему народу в России «корнилится и керится» вот уже больше полугода» (т. 26, стр. 81).

Своим поэтическим творчеством Демьян Бедный под руководством партии, В. И. Ленина активно и преданно участвовал в мобилизации масс для революции, в подготовке и проведении Великого Октября. Один из старейших деятелей большевистской печати Вл. Бонч-Бруевич в своих воспоминаниях рассказывал:

«Владимир Ильич и ранее, до революции, весьма хорошо и очень внимательно относился к творениям Демьяна Бедного и еще из-за границы не раз писал поощрительные и хвалебные письма по его адресу. И вот, когда появились эти новые революционные произведения поэта, Владимир Ильич сразу понял значение Демьяна Бедного в предстоящей борьбе и, когда опять зашла речь о привлечении его к административной работе, сказал мне:

— Оставьте его... Ему не хочется... А пишет он хорошо... Нам это нужно... Пускай пишет, это будет его революционной работой».

Вл. Бонч-Бруевич писал, что В. И. Ленин «замечательно чутко, близко и любовно... относился к могучей музе Демьяна Бедного... Он характеризовал его произведения как весьма остроумные, прекрасно написанные, меткие, бьющие в цель... Он неизменно относился самым внимательным образом к творчеству Демьяна Бедного».

Вместе с Советским правительством Демьян Бедный переехал из Петрограда в Москву и продолжил свою работу в «Правде». Чуть ли не ежедневно появлялись на страницах газеты его поэтические произведения.

В одном из стихотворений, «Мир», еще в конце 1917 года поэт прославлял долгожданный мир:

Умолкли злобные проклятья,  
Кровавый кончен пир.  
И близок, близок, сестры, братья,  
Мир, долгожданный мир!

Поэт слагает «гимн победный освобожденному труду». Он высказывает заветную мечту В. И. Ленина — в мирной жизни строить новое, социалистическое государство. Но вместо этого враги трудового народа — свергнутые классы — начали ожесточенную гражданскую войну. С первых дней великой битвы Демьян Бедный на фронтах. Здесь им была написана ставшая популярнейшей песня «Проводы» («Как родная мать меня провожала...»), в которой, по выражению Н. С. Хрущева, «запечатлены думы народные».

Демьян Бедный рассказывает, что еще в 1918 году в одной из бесед с В. И. Лениным возник вопрос о настроениях солдат и В. И. Ленин заинтересовался книгой Е. В. Барсова «Причитания северного края», где были собраны «плачи завоенные, рекрутские и солдатские».

«Надо было видеть, как живо заинтересовался Владимир Ильич книгой Барсова. Взяв ее у меня, долго он ее мне не возвращал. А потом, при встрече сказал: «Это противовоенное, слезливое, неохотное настроение надо и можно, я думаю, преодолеть. Старой песне противопоставить новую песню. В привычной своей, народной форме новое содержание. Вам следует в своих агитационных обращениях постоянно, упорно, систематически, не боясь повторений, указывать на то, что вот прежде была, дескать, «распроклятая злодейка служба царская», а теперь служба рабоче-крестьянскому, советскому государству, — раньше из-под кнута, из-под палки, а теперь сознательно, выполняя революционно-народный долг, — прежде шли воевать за черт знает что, а теперь за свое и т. д.»

Вот какую идейную базу имела моя фронтовая агитация».

Еще при жизни В. И. Ленина, в 1923 году, Демьян Бедный был награжден Советским правительством орденом Красного Знамени. Это была первая награда писателю за его революционное творчество, посвященное народу. Говоря о награждении поэта, А. В. Луначарский особо подчеркивал: «ВЦИК этим отметил всю важность ясного и общепонятного искусства. И это должен зарубить себе каждый. Поощрять мы можем только такое искусство, которое ясно и всякому понятно» («Искусство и революция», 1924, стр. 70).

Верный сын Коммунистической партии, боевой соратник В. И. Ленина, поэт-агитатор, поэт-правдист — вот кто такой Демьян Бедный.

«Поэт был в боевом строю борцов за революцию и отдал весь свой огромный талант служению великому делу освобождения трудящихся от ига эксплуататоров», — сказал Н. С. Хрущев. Ликвидируя последствия культа личности, наша партия восстановила ленинское отношение к творчеству Демьяна Бедного. В словах товарища Н. С. Хрущева выражено всенародное признание выдающихся заслуг поэта Демьяна Бедного.



## НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПИСЬМО В. Я. БРЮСОВА

В Государственном Историческом музее, в отделе письменных источников, хранится фонд русского поэта Константина Константиновича Случевского.

На квартире поэта с 1899 года проходили литературные «пятницы», где собирались молодые поэты, писатели, читали и обсуждали свои первые произведения. Часто здесь бывал В. Я. Брюсов. Разгоравшийся на «пятницах» литературный спор он иногда продолжал в своих интересных письмах К. К. Случевскому.

Здесь мы публикуем одно из таких писем, отразившее мысли В. Я. Брюсова о форме стиха, об истоках русской поэзии.

*«27 мая 99.*

Глубокоуважаемый Константин Константинович!

Такую судьбу своих стихов я более или менее предвидел. А относительно «фактуры стиха» скажу вот что.

Мне всегда казалось невозможным никакое принуждение извне к той или иной форме в поэзии. Мне было безусловно ясным, что размерам нельзя учиться из учебника словесности, но что их надо постигнуть душой.

Поэтому я мало обращаю внимания, можно ли мой стих размерить ямбами и дактилями, мне довольно, если они хорошо звучат. Это первое.

Затем второе. Изучая нашу народную поэзию, я пришел к убеждению, что немецкий тонический стих не свойственен русскому языку, или по крайней мере не более свойственен, чем польско-французский, силлабический.

Народные песни сложены без утомительного и однообразного чередования ударений с равными промежутками неударяемых слогов. Нам дорог тонический стих, ибо им писал Пушкин, Баратынский, Тютчев, но он чужой, заимствованный. И это чувствуется. Мы гораздо более робко обходимся с тоническими стихами, гораздо мелочнее соблюдаем правила, чем немцы и англичане, для которых это стих родной. Что до меня, я желал бы сблизить мой стих с истинно русским, с тем, который нашел народ, в течение веков раздумывая, как бы поскладнее сложить песню.

С глубоким уважением

Валерий Брюсов».

*· Публикация научного сотрудника г. Мазур*



## ПОЭЗИЯ БЫЛА ДЛЯ НЕГО ВСЕМ

*(Из воспоминаний)*

...Из глубины прошлого, сквозь ветви акаций светится «зеленая лампа», зажженная в предреволюционные годы молодыми одесскими поэтами в подражание «Зеленой лампе» времен Пушкина.

В одесское поэтическое содружество входили: Багрицкий, Катаев, Олеша (в то время это были поэты), Адалис, Зинаида Шишова, Борис Бобович, Анатолий Фиолетов, очевидно, еще другие, имен которых я потом не встречала или не запомнила.

Что касается меня, то я была от «ламп» далека. Возможно, здесь играл роль возраст.

«Десять лет разницы — это пустяки», — писал впоследствии Эдуард Багрицкий в «Разговоре с комсомольцем Н. Дементьевым». Но это не так. Десять лет разницы — не пустяки. Особенно в те годы, когда остры еще углы характеров, когда намечаются различные жизненные пути, складываются вкусы и оценки. А именно десять лет и отделяли меня от «зеленоламповцев»... К тому времени у меня вышло уже два поэтических сборника: «Печальное вино» и «Горькая услада». Я считала себя законченной творческой индивидуальностью. Меня похвалил Бальмонт и покритиковал Сергей Городецкий. Я была замужем. Провела два года в Париже.

Нет. Десять лет разницы не были пустяками...

В 1922 году я навсегда рассталась с родным городом, с его своеобразным говором, прямыми белыми улицами, акациями, Приморским бульваром, с его знаменитой лестницей, которую впоследствии на всех киноэкранах мира прославил Эйзенштейн.

Я переехала в Москву. И, уже выходя из вагона, ощутила совсем другой воздух: сыроватый, луговой и лесной. Была весна: май.

Встречаясь, мы сообщали друг другу: «Еще такой-то приехал. И этот. И еще вон тот». А Эдуарда Багрицкого все не было.

Наконец в 1925 году появился и он и поселился в Кунцево.

В морозный день 1925 года Сельвинский, Зелинский и я — мы приехали в Кунцево в гости к Эдуарду.

Небольшой бревенчатый дом тонул в снегу: к крыльцу вела протоптанная дорожка. Багрицкий встретил нас в маленькой комнате, где у одной стены было жарко от печи, а у другой — холодно от окошка.

Лицо Эдуарда показалось мне бледным: может быть, это были отблески снега. А возможно, и давнишняя болезнь — бронхиальная астма, обострившаяся на севере.

Теплая Одесса и ее море были далеко. Но Багрицкий обладал даром всюду вносить с собой родственную ему южноморскую атмосферу. И, сидя в кунцевской комнате, трудно было отделаться от мысли, что там, за снежной пеленой, —

...Море

Опрокинулось над пустынным бульваром.

Пароходы хрипят, утопая.

Дачи

Заколочены, —

как писал Багрицкий в поэме «Февраль».

Внезапно в комнату вбежал мальчик, румяный от мороза, с шапкой-ушанкой в руках. За ним следовал продрогший охотничий пес. Теплая птица сочувственно поглядывала из клетки на вошедших.

Мальчик торопливо снял что-то с полки и исчез. Собака — за ним.

Это был Сева Багрицкий. Он был еще мал: лет четырех-пяти. Его «лодка-кроватька» стояла, видимо, где-то в соседней комнате.

«Вставай же, Всеволод, и всем володай!» — обращается к сыну Багрицкий в стихотворении «Папиросный коробок». Отцовское напутствие не осуществилось.

«Ты встал на пороге веселых времен!» Нет, «веселые времена» были еще далеко. Молодой Всеволод не дожил до них. Одаренный, унаследовавший от отца любовь к поэзии, сам писавший уже стихи, даже по внешности напоминавший Эдуарда, Сева Багрицкий пал на одном из фронтов Отечественной войны.

В 1930 году Багрицкий покинул Кунцево и переселился в Москву, в только что отстроенный писательский дом в проезде Художественного театра, который всего лишь за пять лет до этого, в 1925 году, именовался Камергерским переулком.

Название это исчезло не сразу. Оно было настолько живо в памяти, что в 30-х годах извозчики (тогда еще были извозчики) на указание ехать в проезд МХАТа переспрашивали: «Это в Камергерский?»

...В этот дом (наискосок от театра) съехались писатели из разных мест. Из молодежных общежитий — Михаил Голодный и Михаил Светлов. (Впоследствии, когда начались различные творческие размежевания и яростные споры, с ними связанные, оба старика отца обоих Михайлов, сидя во дворе на каких-то неиспользованных трубах, толковали о формализме, который отравляет жизнь.)

В наш дом съезжались из подмосковных поселков, как Эдуард Багрицкий, из реквизированных или уплотненных квартир, как я, из других областей страны, из Сибири, как Иосиф Уткин, уже писавший к тому времени своего «Рыжего Мотеле», и даже из других стран, как Бела Иллеш. Здесь жили и те, чьи судьбы позднее завершились трагически. Это были жертвы 1937 года: Бруно Ясенский, Правдухин, Селивановский. Иные погибли на фронтах двух войн: финской кампании и Великой Отечественной — черноглазый Джек Алтаузен, Марк Серебрянский с его обаятельной, умной улыбкой.

Жили в этом доме Борис Агапов и Корнелий Зелинский, с которыми я встречаюсь по сей день.

Оба подъезда нашего дома отличались один от другого. В каждом была своя «композиция», свое развитие квартирного сюжета...

Известные строки Блока о Доме писателей в Ленинграде:

Здесь жили поэты. И каждый встречал  
Другого надменной улыбкой, —

эти строки у нас не подтверждались. Может быть, и потому, что в нашем доме жили не только поэты.

Большую квартиру делили между собой Агапов и Зелинский. Эдуард Багрицкий соседствовал с Марком Колосовым.

Не успел еще Багрицкий по-настоящему обосноваться в новом жилище, не успели еще его щеглы и овсянки просвистать несколько маленьких гимнов в честь новоселья, не успели его редкостные рыбки (некоторые из них, казалось, состояли только из глаз и нежного веющего хвоста), не успели еще эти причудливые создания с их замедленными рефлексами осознать новизну обстановки, не успел еще юный Сева Багрицкий начать новую серию школьных шалостей, — как в эту квартиру на шестом этаже потянулись поэты со всех концов Москвы.

Они звонили положенное и неположенное число раз, деликатно постукивали в дверь косточкой согнутого пальца, бесцеремонно стучали (по-

рой даже в стену) ребром руки, окликали хозяина в замочную скважину... Все шли и шли.

Те, кому удавалось прорваться в неурочное время к Эдуарду, в его комнату, обставленную преимущественно аквариумами, те видели хозяина, сидевшего на диване в излюбленной позе, подогнув под себя ноги.

Грузный, преждевременно потучневший от плохой работы сердца и от вынужденного сидения, в просторной блузе цвета полыни, с широкой прядью волос, косо падающей на лоб, со своеобразным выражением пронизательности, смущения и озорства в глазах, Эдуард Багрицкий несколько напоминал баснописца Крылова, каким изобразил его Брюллов.

Хорошо, но страшновато было читать свои стихи такому слушателю. Он глядел на вас участливо, сочувственно. Слушал ласково, охотно, но мог сразить одним словом.

Часто я задавала себе вопрос: в чем была сила Багрицкого? Чем он так привлекал к себе сердца самых разных поэтов, особенно молодых? Ни к кому так часто не ходили, как к нему. Почему?

Волей обстоятельств Багрицкий стал домоседом. Это тоже имело значение. Он никуда не спешил. Его не ждали на заседаниях, на конференциях, на обсуждениях. Редко-редко можно было увидеть фигуру Багрицкого в президиуме. Он выходил из дому все реже. Астма крепко забрала его в свои душевные лапы. Но все это было «второй план».

Мало ли кто был домоседом. Мало ли кто не спешил на заседания (впрочем, таких было действительно мало). Но всего этого было недостаточно. Дело было в том, что «магнитное поле» Багрицкого было велико. Оно притягивало сильно.

Прежде всего, он был превосходным, сильным поэтом. Его стих был мускулист и отчетлив. Багрицкий знал, чего он хочет (в то время не все пишущие знали это), и умел добиваться желаемого. В частности, он любил белый стих: тот самый, которым теперь начали увлекаться многие наши поэты, но который не всем удается. Он заманивает мнимой легкостью, а потом внезапно может бросить своего творца среди хаоса строк.

Я не устаю перечитывать поэму Багрицкого «Трактир». С какой кинематографической наглядностью передано там сначала нисхождение посланца небес к голодному певцу, а затем их совместное восхождение по крутой лестнице в заоблачный трактир «Спокойствие сердец». К этому описанию привлечены все пять чувств читателя.

Сначала вниз:

По лестнице бежит гонец послушный,  
Распугивая голубей земных,  
Заснувших под застрехами собора.  
И грузный разговор колоколов  
Гонец впивает слухом непривычным...  
Все ниже, ниже в царство чердаков,  
В мир черных лестниц, средь строил гниющих,  
Бежит гонец и в паутине пыльной  
Легко мелькает ясная одежда  
И крылья распростерты его...

Но ангел, конечно, не настолько наивен, чтобы предстать перед жителем земли в своем небесном обличье. Нет. Он принимает облик рассыльного из трактира.

И певец  
Глядит на бойкое его лицо,  
На руки красные, как сок морковный,  
На ясные лукавые глаза,  
Сияющие светом неземным.

А потом начинается трудное движение вверх по лестнице.

Все выше и выше к низким облакам,  
Сырым и рыхлым, сквозь дождливый сумрак.

И наконец:

Свет  
От фонаря, повисшего над дверью,  
Слепящей пылью дунул им в глаза,  
И вывеску огромную певец  
Разглядывает с жадным любопытством:  
Там кисть широкая намалевала  
Оранжевую сельдь на блюде синем,  
Малиновую колбасу и чашки  
Зеленые с разводом золотым.  
И надпись неуклюжая гласит:  
«Заезжий двор — Спокойствие сердец».

Я умышленно цитирую не такие всем известные и справедливо прославленные произведения, как «Дума про Опанаса» или «Смерть пионерки». Я пишу о вещи, менее взысканной вниманием критиков и, быть может, и читателей: о «Трактире» в его первоначальной редакции.

Багрицкий возвращался к «Трактиру» не один раз. Окончательный вариант этой поэмы представляется мне наименее удачным. Превратив небесный трактир в символ нэпа, произведя несколько «расшифровок» четырех букв МСПО, введя в действие хор не то «ангелов, не то беспризорных», Багрицкий не только не приблизил поэму к современности, как предполагал, но лишил свое творение его первоначальной стройности.

Вместо закономерной, органической концовки, когда обвешанный небесными яствами певец жаждет вернуться на землю со всеми ее невзгодами, вместо знаменательного напутствия «божественного» голоса:

Чорт с тобой!  
Довольно! Уходи! Катись на землю! —

вместо всего этого мы видим певца, навсегда погруженного в обжорство, помышляющего только о «жратве»:

Бери  
Любую чашку, режь любой кусок...  
Вот самая прекрасная награда —  
Других наград тебе, певец, не надо!

Даже с поправкой на иронию — такая концовка огорчительна. Это тот редкий случай, когда Эдуард Багрицкий переоценивал свои возможности, допустил просчет. Не приблизился к современности, как думал, а, наоборот, погрешил против нее.

Но повторяю: это случай редкий, быть может даже единственный.

Как правило, вкус Багрицкого был безошибочен. Любовь к поэзии беззаветна. Это-то и притягивало к Эдуарду поэтов всех возрастов.

Багрицкий был не только отличным редактором чужих стихов, что в конечном итоге не так уж трудно. Он был таким строгим редактором собственных произведений, что редакторам последующим оставалось мало работы. Случай с «Трактиром» был единственным...

Живя в Москве в одном доме с Багрицким, я и здесь виделась с ним не очень часто: боялась помешать его работе. Побаивалась, что на мой предварительный телефонный звонок Эдуард ответит женским голосом: «Ушли. А когда вернутся — неизвестно».

Но, может быть, именно потому, что встречи были редки, я хорошо запомнила их. И ощущение «магнитного поля» тоже запомнила.

Как-то раз зашел у нас с Багрицким разговор о собаках, которых он любил, а я продолжаю любить до сих пор.

Но мне нравились довольно изысканные, почти, я бы сказала, формалистические четвероногие в виде бульдогов и такс, а Багрицкий предпочитал охотничьих, серьезных псов, с которыми он не допускал фамильярностей. И когда я начала расписывать, как я воспитываю своих двух собак, бульдога и таксу, как я прививаю им «культурные навыки», Эдуард Григорьевич улыбнулся довольно пренебрежительно.



А на прощанье сказал: «Хотите, я вам спаньеля достану? (Эти собаки в то время были редкостью.) Знаете спаньелей, низкие, с густой шерстью, уши длинные. А какой глубокий ум! Философский ум!»

Той весной Багрицкий чувствовал себя особенно плохо. Он задыхался. Больные бронхи страдали от резкого воздуха сырой северной весны. Все чаще приходилось прибегать к курению астматоло, порошку из абиссинской ромашки.

Запах этого курева — совершенно особый, надолго запоминающийся.

Все труднее становилось Багрицкому покидать свою комнату.

Но все же иногда, перемогаясь, он спускался вниз, останавливался где-нибудь перед домом или во дворе, который не был тогда таким шумным, как сейчас.

В один из весенних дней я увидела Эдуарда, сидящего на низеньком каменном парапете, окружавшем полосу газона во дворе. У ног Багрицкого текли снежные ручьи. И он щепочкой прокладывал одному такому ручью более удобное русло.

Моя собака такса, по имени Бенья Крик, залаяла на сидящего.

— Шмаровоз, — ласково-презрительно произнес Багрицкий специфически одесское, почти непере译имое словцо, — Шмаровоз, на кого ты кидаешься? Вообще таксы... Вот погодите, — обратился Эдуард ко мне, — я вам достану...

Он не договорил. Приступ кашля настиг его. И, кашляя, он показал рукой, какого роста от земли будет спаньель. Потом постучал себя по лбу: глубокий, мол, философский ум.

Обе мои смежные комнатки были полным-полны. Тесно прижавшись друг к другу, сидели не только на диване и на стульях, но и на кухонных табуретках. Опоздавшие толпились в дверях. Кто-то тщетно пытался усесться на узком подоконнике, но вынужден был уместиться на ножной скамеечке.

Тесная, как шкаф, прихожая была завалена верхней одеждой. Телефонная трубка — снята. Собаки заперты на кухне. Оттуда временами доносился тихий ноющий протест Бени Крика.

Эдуард Багрицкий сидел за обеденным столом. Висячая лампа освещала его крупную голову и сутулую спину. Он готов был приступить к чтению. И вот он начал читать только что написанные песни часовых из оперного либретто «Думы про Опанаса». Опера эта не была поставлена. Но как литературное произведение она живет.

#### Первый часовой

В зеленом садочке,  
У Буга на взгорье,  
Цвети, моя вишня, цвети.  
На тихие воды,  
На ясные зори  
Лети, мое сердце, лети!

#### Второй часовой

Звезда полевая  
Над брошенной хатой,  
Дождями размыты пути.  
На пламя пожара,  
На дым языкатый  
Лети, мое сердце, лети! —

пригнув голову, слегка задыхаясь, читал Багрицкий. Читал так, как читает поэт только что написанное им.

Он волновался тогда.

А я сейчас не могу без волнения слышать эти строки...

## РАБОЧЕЕ СЕРДЦЕ

(О Николае Кузнецове)

Каждый раз, когда я встречаю в жизни что-нибудь новое — проспект, станцию метро, стадион, бассейн, новое здание клуба или Дворца культуры, вижу в небе снежный след зазвукового самолета, когда гляжу на экран телевизора или слышу по радио позывные космических кораблей, — всегда с доброй грустью вспоминаю о тех, кто стремился мечтой в наше будущее, боролся за приближение этого будущего и не дожид до него.

Я знал их — ученых, пилотов, поэтов, им хотелось обогнать и самое время, чтобы своими глазами увидеть то, что видим сегодня мы.

Таким мечтателем был и молодой поэт Николай Кузнецов. Он умер слишком рано, когда ему не было еще и девятнадцати лет. Вот строчки из его стихотворения «Рабочим поэтам»:

Написали мы великую поэму,  
Но пока лишь кровью на полях...

Кузнецов страстно мечтал о будущем.

Встань, Коля, дай руку, власть поэзии разрешает нам воскрешать друзей! Ты был хорошим другом. Пройдем с тобой по улицам Москвы, ты ведь любил бродить вечерами по городу и его окраинам.

Вот оно пришло, то будущее, о котором так страстно мечтали мы в далекие годы нашей боевой комсомольской юности, в годы гражданской войны, когда с вишневыми звездами на шлемах мчались в тачанках по степям Кубани и Дона, уносясь мечтою к звездам небесным.

С каким удивлением оглядываешься ты вокруг!

Да, да, здесь была глухая окраина. На том берегу мы не раз купались с тобой. Теперь на бывшем пустыре величественное здание стадиона. Дворец спорта. Плавательный бассейн. Бульвары. А там, взгляни — огни университета!

Мне запомнились твои стихи о городской окраине. Ты закалял себя: в трескучий мороз ходил по-комсомольски в расстегнутой кожанке, с открытой грудью. И вот ты шагаешь по улице. Навстречу, в синих сумерках, «электроцветы с проводов срывая», с грохотом мчится трамвай. А мороз все крепчает и крепчает. И ты не выдерживаешь — бежишь по переулку и у самых ворот, зажав ладонью обмороженное ухо, «отдаешь морозу честь».

Как это поэтично и точно нарисовано, с какой улыбкой!

Белесый паренек, привезенный из деревни в город, ты глядел на мир чистыми любопытными глазами. Ни матери, ни отца. Тебя растили ткачихи.

День уйдет, утихнет город,  
Улыбнется месяц за окном.  
Каждый раз в такую пору  
Я сию задумчив за столом.

Все чаще и чаще одолевает желание писать стихи. Но как?

Месяц, месяц, ты любимец ночи,  
Будь хорошим, подскажи,  
Как в стихов размеренные строчки  
Сердце мне свое вложить.

Постепенно крепнут твои крылья. Ты уже печатаешься в газетах и журналах. Запомнилась встреча на собрании «Молодой гвардии». Мы стоим на полутемной лестнице, и ты читаешь вступление к своей новой поэме «Гармонь»:

В синий вечер у дальней заставы,  
Когда вспыхивал в окнах огонь,  
Молодых собирая и старых,  
Зазвенела, запела гармонь.

И гармонь-то, как видно, из старых,  
Облупились лады и бока,  
Знать, у многих молодчиков бравых  
Побывала она в руках.

Подошел я и сел послушать  
Средь веселых девчат и парней.  
Льются в сердце мое и душат  
Грусть и радость минувших дней.

Хозяин гармонии — Ваня-гармонист, оставив деревню, уходит в город. Он становится рабочим. Его берут в солдаты. Окопы. Большевистские прокламации. Вместе с солдатами Ваня-гармонист уходит на фронт гражданской войны и погибает в бою за народное счастье. Хозяин гармонии погиб, а песни его продолжают жить и помогать жить людям.

В сущности, ты рассказал историю твоего таланта.

Небольшая книжка «Рабочее сердце». Она издана уже без тебя. О твоих темах говорят заглавия: «В клубе», «О матери», «Я люблю грустить», «Ленинец», «Стальные птицы», «Рабочим поэтам», «Ой, силен бой под Краснодаром», «Радиобашня», «Печаль работницы», «Проездом по Украине», «Первый снег», «На рабочей окраине».

Ты так мечтал о будущем! И вот твои стихи пришли в это будущее.

Небольшая книжка, а рядом — беглый карандашный силуэт, случайно сохранившийся на обрывке старой газеты: это я набросал в тот вечер, когда, вернувшись с Кавказа, ты в последний раз читал на собрании «Рабочей весны» свои стихи...

## Николай КУЗНЕЦОВ

---

### РАДИОБАШНЯ

В синеву на полтора метра метров,  
Откуда видно далекие пашни,  
До туч, гоняемых ветром,  
Выросла радиобашня.

Сжималось кольцо блокады,  
Когда наши рабочие плечи  
Поднимали эту громаду,  
Над Замоскворечьем.

Не беда, что она немного  
Эйфелевой башни ниже.  
Все же тучи, воздушной дорогой  
Пробегая, ей голову лижут.

Нашей работы упорной  
Что может быть бесшабашней!  
Когда нас душили за горло,  
Мы строили радиобашни.

# Михаил КУЛЬЧИЦКИЙ

---

## БЕССМЕРТИЕ

*(Из незавершенной поэмы)*

.. Я взял себе большое счастье  
Работать до дрожанья рук.  
Я к первой приступаю части —  
И за последней я умру.  
. . . . .

Военный год стучится в двери  
Моей страны. Он входит в дверь.  
Какие беды и потери  
Несет в зубах косматый зверь?  
Какие люди возметнутся  
Из поражений и побед?  
Второй любовью Революции  
Какой подыметса поэт?

Уже давно предупрежденья  
По фитилю скользят вперед,  
И годом моего рожденья  
Готов любой взорваться год.  
Вдруг, как в предгрозье, город пыльный  
На миг накроет чернотой  
КВЖД, Хасан иль Вильно.  
. . . . .

А туча виснет. Слава ей  
Не будет синим ртом пропета.  
Бывает даже у коней  
В бою предчувствие победы.

Приходит бой с началом жатвы.  
И гаснут молнии в цветах.

Но молнии пружиной сжаты  
В затворах, в тучах и в сердцах.  
. . . . .

Здесь проползут стадами танки —  
По небосводу виден путь.

Тяжелые, как черепахи,  
Встают над ямой на дыбы:  
Фуражки, каски и папахи  
Мелькают в щелке их судьбы.  
Все — против всех. Любой солдат  
Союзником имел лишь ад,  
Дорогой адскою шагая,  
Чтоб наконец достигнуть рая.

Граненый танк, шатаясь, едет  
По черепам чужих бойцов.  
Не видят ничего на свете  
Глаза, заткнутые свинцом.  
Но он идет к тоннелям пушек,  
Но он на ощупь танком рушит  
В кулак зажатой цифрой тонн  
Скелет железный сквозь бетон.  
И поколение поднималось  
Меж двух военных сапогов.  
Еще в зените — мчится в хаос —  
Тяжелый маятник часов.  
Наперевес с железом сизым  
И я на проволоку пойду,  
И коммунизм опять так близок,  
Как в девятнадцатом году!

1939



## ВИВИАН ИТИН

Аэроплан разбился, летчик погиб, остались только

Исковерканный штурвал,  
Изогнутых частей немая горка...

Но

Почему-то в памяти вставал  
Знак бесконечности: упавшая восьмерка.

Может быть, я цитирую неточно, ибо цитирую по памяти, даже не с печатного текста, а как помнится; читал мне эти стихи лет сорок назад автор этого жизнеутверждающего реквиема — Вивиан Итин. Но отчетливо помнится мне этот возникший из обломков «знак бесконечности: упавшая восьмерка».

Помню стихи об Арктике, о Северном морском пути:

Нансен... Норвежцы... Норильские горы...  
Мы не разбойники-конквистадоры —  
Мы моряки с парохода «Ленин».

И дальше:

...моторы работали,  
Ветер наваливался, как медведь,  
Снова, как в дни Себастьяна Кабота,  
Можно воскреснуть и умереть.

Я вспомнил прекрасные эти строки и думаю, что час воскрешения Вивиана Итина, этого жестоко и бессмысленно погубленного в годы массовых репрессий поэта, настал. Пора по-настоящему воздать должное этому большому художнику слова.

Нельзя сказать, что это не делается. Нельзя сказать о Вивиане Итине, что это незаслуженно забытый поэт. Для меня лично, да полагаю, что и не только для меня, а и для многих, это, наоборот, заслуженно не забытый поэт. Но есть товарищи, которые считают, что Вивиан Итин был хорошим прозаиком, беллетристом и публицистом, а «вместо поэзии читатель получал от него ребусы» и что «стихи он писал до конца своей литературной работы, но, несмотря на известную популярность поэта, читатель оставался к ним равнодушным». Такого мнения держатся новосибирские переиздатели повести В. Итина «Каан-Кередэ» (Новосибирское книжное издательство, 1961), но я с ними не согласен, я считаю, что даже скупо процитированные мною отрывки из стихов Вивиана говорят сами за себя, считаю, что Вивиан Итин прежде всего поэт и даже вся его проза — это проза талантливого поэта, будь это даже полемические статьи по вопросам художественного творчества или по вопросам кораблевождения в полярных морях или первый рассказ, написанный Итиным, тогда еще петроградским студентом, — «Страна Гонгури».

«Страна Гонгури! — сказал врач. — Я прочел это в твоей тетрадке, Гелий. Здесь, кажется, больше поэзии, чем географии».

Так беседуют в белогвардейской тюрьме герои рассказа Итина. И действительно, во всех произведениях Вивиана Азарьевича поэзии, во всяком случае, не меньше, чем географии, этнографии и чего бы то ни

было, — писал ли он о своих полетах на агитационном самолете Осоавиахима над Алтаем, или о трагическом полете дирижабля Нобиле к Северному полюсу, или о воображаемом путешествии в иные миры, в страну Гонгури.

Полет поэта кончился трагически. Но осталась не горка праха, а книги, в том числе и ставшее библиографической редкостью первое издание «Страны Гонгури», напечатанное где-то в Канске в 1922 году бледным шрифтом, на оберточной бумаге, в обложке из синей бумаги, в которую упаковывали сахарные головы; осталась и маленькая книжка стихов «Солнце сердца» и книжка побольше «Высокий Путь» — повесть, изданные в Ленинграде в 1927 году, и ряд книг о путешествиях в Арктику, и, кроме того, статьи, корреспонденции и стихи, рассыпанные по разным изданиям. . . И все это полно страсти, полно мысли. И хочется заключить этот краткий рассказ о Вивиане Итине горьким афоризмом, вложенным им в уста одного из своих героев:

«Мысль не поэма, не пропадет!»

## Павел АНТОКОЛЬСКИЙ

---

### ПАМЯТИ НИКОЛАЯ АСЕЕВА

16 июля сего года умер Николай Асеев. Это невознаградимая утрата для всей нашей духовной культуры. С душевной печалью и признательностью об Асееве вспоминают и собратья его, многим обязанные ему своим искусством и мастерством, и тысячи и тысячи тех читателей, для которых поэзия — не пустой звук. Но значение Асеева шире и выше непосредственных ощущений современников. Уйдя из жизни, он сразу оказался в одном избранном ряду с самыми прославленными именами в русской поэзии. Весь его путь стал обозрим, как будто он вычерчен на карте. И мы видим неизбежность такого пути для поэта, цельность его личности.

Цельность эта прежде всего — в сопровождавшей Асеева с юных лет неистовой любви к родному языку. Конечно, такая любовь сильно отличается от любви лингвиста, но в то же время у Асеева она явственно соприкасалась с точной наукой. Как это бывает у всякого самобытного художника, в Асееве поэт дружески уживался с исследователем. Ему слишком был дорог его рабочий инструмент, слишком дорога стихия слова, чтобы не всматриваться в нее пристально и пристрастно, как в глаза и в улыбку любимой женщины.

Николай Николаевич не однажды признавался в этом, вспоминал о том, как еще в отрочестве зародился его интерес к корням русского языка, к его глубинным истокам. Он черпал свои догадки в народной речи, особенно в родной ему курской, в песнях и поговорках, в «Слове о полку Игореве». Вот где было его хозяйство, его богато разросшийся сад. Об этом увлекательно рассказано в написанной им в 1958—1959 годах автобиографич. «Моя жизнь». О том же говорит он в недавно напечатанных «Воспоминаниях о Маяковском»: с понятной гордостью останавливается Асеев на том, как, случалось, допытывался у него Маяковский объяснений областных слов и речений.

В самую насущную и горячую современность, в те стихи, которые злободневно ее отражали и выражали, Асеев, как никто из современников, вкладывал благоговейное уважение к родному языку. Отсюда — острота его гнева, когда законы языка бывали кем-нибудь нарушены, его непримиримый, всегда молодой задор в полемике, постоянство его литературной позиции.

Он был превосходный спорщик — и совсем не потому, что всегда был прав: «счастье» правоты выпадало ему, слава богу, не так уж часто! Зато он умел бросаться в бой смело и очертя голову. И это украшало его как деятеля и борца культуры гораздо больше, чем любая безошибочность. Так было до самых преклонных лет. Двигатель внутреннего сгорания работал у этого замечательного старика на редкость безотказно. Легкие были слабые, сердце с возрастом сдавало, несмотря на спортивный закал, а двигатель внутреннего сгорания продолжал на славу действовать и помогал человеку догонять и перегонять время.

Случалось, он досадовал на молодых товарищей, на самых молодых из них. Но не старческая брюзгливость звучала в этом раздражении, — нет, это была все та же честная, хозяйская забота о судьбах нашей поэзии. Асеев твердо знал о своем праве на всяческую неумолимость. Он сознательно пренебрегал не только личностями, но и своим личным отношением к тому или другому из стоящих рядом. Он вел себя как сторож и хранитель народного клада, доверенного лично ему вместе с ключом от клада. Какое прекрасное качество!

Из сказанного могут сделать вывод, что я рисую Асеева каким-то традиционалистом в академическом духе, хранителем «заветов прошлого», чуть ли не классиком. Да нет же! Поучительное своеобразие этой личности как раз в том, что Асеев один из самых смелых новаторов. Он всю жизнь экспериментировал, ставил на голову любую традицию. Двойное сальто-мортале было для него сущий пустяк.

Что же ему помогало? Тут центральный узел его поэтической дороги.

Как речное течение несет и удесятерит силу тренированного и смелого пловца, так Асеева несла крутая волна ритма. Чувство ритма было у него безошибочное, изощренное, вечно бодрствующее. Оно больше, чем музыкальный слух, — потому что старше слуха. В сущности, уже одним ритмом знаменитой «Конницы Буденного» Асеев как бы задал будущему композитору мелодию этой песни, — случай редкостный! Горе многих наших поэтов-песенников в том, что они пишут слова на заданную им композитором мелодию. Что и скучнее и легче.

Раскройте наугад, на любой странице любую из асеевских книг — и сразу вас обдадут своей свежестью брызги его лиризма, иначе не скажешь, как первозданного. И он вплотную притерт, припаян, приживлен к ритму, к ритмической, впервые найденной фразировке.

Здесь я собирался было без конца цитировать, но, право же, это безрассудное и просто грешное дело — произвольно вырывать отрывки из вещей, по сей день полных током высокого напряжения, — из таких, как «Черный принц», «Синие гусары», «Лирическое отступление», «Партизанская лезгинка»! Сами эти названия звучат для читателя как цитаты.

Незачем гадать, какие именно из вещей Николая Асеева будут жить еще и еще много лет. Жить — это значит каждый раз оживать заново — в школе и в студенческой аудитории, на трибуне и в концертном зале, в цехах завода и в библиотеке, а то и просто на московском бульваре или где-нибудь на восьмом этаже только что отстроенного светлого дома в Юго-Западном районе. Так будет жить Николай Асеев.

## К ПОРТРЕТУ ПАЗЫМА ХИКМЕТА

«Лицом к лицу — лица не увидеть...» Многое, что связано с ним, носившим это короткое звучное имя, с его колоссальным литературным наследием, должно еще отстояться, прочувствоваться и осмыслиться. Очень сложной и, как все сложное, противоречивой была могучая эта натура. Необычайно счастливой и в то же время глубоко трагичной была эта судьба.

И вместе с тем о иных чертах назымовского облика с годами и десятилетиями писать будет труднее и труднее. Их хочется запечатлеть сейчас, пока на облик этот, еще живой и по-земному осязаемый, не наведен «хрестоматийный глянец».

Быть может, не стоит упоминать здесь о том, что был он по-настоящему красив, высок, широкоплеч, с голубыми глазами и рыжиной во вьющихся волосах, — об этом уже писалось. Всем, кто видел его живого, известно и то, что даже после шестидесяти у него была осанка спортсмена, а морщин на лице меньше, чем у иного сорокалетнего. И об этом говорить здесь, быть может, не надо. Хотя без этих внешних штрихов и немудрено целостный его образ...

Все было очень своеобразно в нем. Многое — очень заметно, крупно, броско. И прежде всего — его совершенно необыкновенная энергия чувств. У разных людей эта энергия бывает различной. Мысля модными сейчас категориями физики, можно сказать, что зачастую она бывает механической, больше — тепловой, реже — электрической. У него она была термоядерной.

Проникновеннее его в жизнь не знало никаких границ. Он мог писать о розах и о мозолях, о нежных девичьих губах и о материализме Гераклита. Поэзии Востока испокон веков была присуща известная ограниченность. Один из нынешних турецких поэтов и по сей день твердит, что от стихов должно веять благородством, разумея под этим, что лишь очень немногое, строго избранное достойно внимания поэта. Страстность Хикмета заставляла его поэтически осмысливать все, что встречалось ему на пути. Единственное, к чему он был равнодушен, — это к тем из своих врагов, которые не были достойны его собственной вражды. На все остальное он остро реагировал, все остальное пламенно любил или отчаянно ненавидел. Вот почему он воспел много такого, о чем «сроду не пел Хайям».

Поэт в нем был неотделим от человека — известно, что далеко не всегда так бывает. О чем бы ни заходила речь, говоря о проблемах политики или искусства, больших или малых, о любых деталях быта, нашего или зарубежного, он кипел, бурлил, клокотал. «Я не дал вам сказать ни слова. Это нехорошо, невежливо, гадко. Знаю, знаю... Что поделаешь, неисправим!» Он действительно мог прервать собеседника на полуслове и часами говорить, говорить без умолку. И это не столько потому, что он был способен понять вас с полуслова, в глазах ваших прочесть и мысли и настроения. В большой мере — именно из-за постоянной потребности дать простор бурному «половодью чувств». За обедом ему часто напоминалось, что котлета его остынет (хотя когда он ел, он ел очень быстро). Он мог начать бриться и вдруг выскочить из ванной, — сквозь мыльную пену на всем лице видны лишь глаза, усы да губы, — надо же выложить очередной довод по теме прерванного разговора.

Бывало, в кругу ли близких или в широкой аудитории (никакого различия он в этом смысле не делал), увлекшись, он допускал перегибы.



В таких случаях вы могли с ним соглашаться и не соглашаться, но не могли быть равнодушны. Его страстность, его безудержная энергия, словно проникающая радиация, пронизывала все и вся вокруг, казалось — даже стены. С ним не могло быть скучно даже в те минуты, когда он был настроен дурно. Это, правда, имеет свои особые причины.

Хикмет прочтал по своему пути на едином дыхании. Это тоже — от неиссякаемого богатства чувств, коим наделен он был от природы. Он был в постоянном беспокойном поиске, таком, какой по своей интенсивности обычно свойствен только молодости. По идеологии своей он всегда был коммунистом до мозга костей, коммунистом — здесь вспоминается любимый это эпитет — «махровым». Но если иметь в виду поэтику, — до чего же он был разным, как чутко реагировал на новые требования века. Сравните его стихи 20-х годов со стихами 40-х, стихи 40-х годов со стихами 60-х, и вам в определенном смысле может показаться, что написаны они поэтами разными, но обязательно молодыми. Очень точно подметил это один наш поэт из молодых, подаривший Хикмету свою книжку с посвящением «вечному ровеснику юности».

Он очень боялся показаться нескромным, хотя и был влюблен в громкую свою славу, никогда не уставал от нее и остро переживал, когда недобрый ветер срывал с его лаврового венка какой-нибудь листик. «Чего они хотят от меня? Я ни за что не пойду на это. В конце концов, я писатель с мировым именем», — раздраженно реагировал он на притязания какой-либо редакции. Но тут же с улыбкой добавлял: «Впрочем, я, кажется, загнул». А чего уж там было «загибать», когда к нему со всех концов света текли его книжки на самых разных языках, когда он не имел возможности даже бегло ознакомиться с тем, что о нем пишется в мировой прессе. Он впитывал как губка все новое, умное, меткое, что доводилось ему прочесть или услышать, и знал, что навеянное со стороны может смешаться с его собственными мыслями. Отсюда его излюбленная оговорка: «Сам я это придумал или услышал где-то?»

Ребачливость его, которую простой смертный сначала с удивлением, а потом не без удовольствия наблюдает в человеке выдающемся, не могла не подкупать окружающих, но для него самого она таила и очень опасные качества — беспечность, порою преступное по отношению к себе безрассудство. Он был в жизни большим ребенком. «К чертям, хочу жить как все!» — и после десятилетнего перерыва он был способен опять начать курить, прекрасно сознавая, что это для него самоубийство. Сколько подобного, непростительного по отношению к себе набедакурил он.

Исключительно велика была любовь Хикмета к человеку, к людям. Его дом почти постоянно гудел как улей. Что греха таить, не все из тех, кто его окружал, были достойны его расположения. И он, конечно, разбирался в людях, не мог не замечать недостатков их. Но именно эта его всепоглощающая любовь к людям, вера в конечное торжество лучших в человеке начал заставляла его смотреть кое на что сквозь пальцы. Нужно было совершить большую подлость, чтобы быть исключенным из числа его друзей. Но даже и в таких случаях он был весьма отходчив.

Он любил говорить, что Советский Союз — его вторая родина. Иногда уточнял, что единой своей родиной он считает землю от берегов Средиземного моря до берегов Ледовитого океана. Если вычесть годы, проведенные им за тюремной решеткой, то большую часть своей сознательной жизни он провел в СССР. Но как он любил свою Турцию, как тяжело переживал свою разлуку с ней! На самом видном месте в его рабочем кабинете висела большая панорама Стамбула. Он часто подходил к ней, показывал: «Вот здесь родная моя Кадыкей. Вот Золотой Рог, а там Касымпаша...» Он часто и подолгу носился по белу свету. Но не только в силу больших своих общественных обязанностей, не только потому, что с детства жаждал посмотреть Европу, Азию, Африку, Америку. Живя на одном месте, он острее страдал оттого, что оторван от родины. Поэзия

его, разумеется, не выигрывала, когда он долгие годы был лишен настоящей турецкой аудитории, а писал он только на турецком языке. Своим родным домом считал он Институт народов Азии, потому что немало ученых института заняты проблемами истории, экономики, литературы и языка его Турции, потому что многие из них помогали ему в какой-то степени дышать атмосферой его родины. А там, в Турции, его имя было предано анафеме. «Печатаюсь на тридцати — сорока языках в тридцати — сорока странах. В моей Турции по-турецки печатать меня запрещено». По злой иронии судьбы подтверждалась библейская истина о пророке и его отечестве... Но он нашел в себе силы не оказаться в положении Антея, оторванного от родной матери-земли. Не считая в последние годы жизни себя вправе писать на турецкие темы, он легко нащупывал темы, способные волновать людей в любом уголке земного шара.

Удивительной работоспособностью и трудолюбием обладал он. Он мог подниматься с постели с восходом солнца и вставать из-за рабочего стола далеко за полночь — с его-то здоровьем. По обыкновению он работал одновременно над тремя-четырьмя крупными произведениями — пьесой, сценарием, романом, поэмой, двумя-тремя статьями или предисловиями. И конечно, стихи, стихи, стихи... Не говоря уже о бесчисленном количестве вынашиваемых замыслов, постоянно роившихся за высоким светлым его лбом.

Правда, не все его поэтические эксперименты были одинаково удачны, но это объясняется не зависящими от него обстоятельствами — уже упоминавшейся его длительной оторванностью от большой турецкой аудитории. Стихи свои ему последние двенадцать лет приходилось апробировать лишь в переводах, подчас весьма и весьма скверных. Кстати, тонкости русского языка были зачастую недоступны ему, и обычно он добивался близости перевода оригиналу, что далеко не всегда, как известно, приводит к доброкачественности перевода.

И как итог всем этим чертам и черточкам, здесь упомянутым и не упомянутым, нельзя не сказать об удивительной обаятельности этого человека. Конечно, в основе восхищения Хикметом, любви и признательности к нему лежало почти всегда сознание того, что перед вами большой поэт, страстный революционер, коммунист и народолюбец. Но он излучал свое неповторимое обаяние не только на тех, кто близко и хорошо знал его. Достаточно было лишь однажды увидеть, услышать его, чтобы оказаться бесповоротно покоренным. Пожилой водитель такси и девушка, служащая в банке, официантка в ресторане и просто случайный собеседник на улице — лицо каждого, пусть первый и последний раз видевшего его, озарялось счастливой светлой улыбкой, выражало восторг перед замечательным этим человеком. Кажется, все в нем исходило это обаяние — начиная от высокого пафоса и проникновенности его произведений, манеры их читать, кончая мельчайшими штрихами поведения его в узком ли кругу друзей, в широкой ли аудитории.

«Коммунист я. Весь страсть с головы до пят, — писал он в одном из последних своих стихотворений. — Видеть страсть, думать страсть, понимать. Страсть к ребенку рожденному, к идущему свету страсть. Страсть качели подвешивать к звездам. Сталь варить, обливаясь потом и кровью. Коммунист я. Весь — страсть с головы до пят». Он многое рассказал нам о себе в своих произведениях — стихах, поэмах, пьесах, в лебединой своей песне — «Романтике». Никто не сможет сказать об этом лучше его самого.

Но он многого и не сказал. О нем написано немало книг, но и в них далеко еще не все рассказано. Пройдут годы, прежде чем настанет время, когда по достоинству и во всей полноте будет раскрыто значение огромного литературного и общественного явления, которое мы называем коротким звучным именем — Назым Хикмет, — «... большое видится на расстоянии».





## СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Рядом с нами, в Москве, жил поэт. Он был очень скромным и даже застенчивым. Близкие друзья отмечали сердечность его характера и юношескую влюбленность в стихи. Но литературная критика относилась к его работе почти равнодушно, может быть потому, что в ней не было интригующей сенсационности, того звенящего взлета, который всегда вызывает удивление и толки.

У поэта случился инфаркт миокарда, как называют медики сердечный недуг. Его отвезли в больницу. Но, влюбленный в поэзию, он и на больничной койке продолжал писать, даже с еще большим накалом, словно спешил переплавить в строчки все, что увидел, почувствовал и понял на этом свете.

Человек умер. После него осталась тетрадь еще никому не известных стихов. Потом они были напечатаны в журнале «Огонек», заняв три полных страницы. Над стихами стояло заглавие: «Только о любви к тебе» и имя автора — Василий Кулемин.

И вот в этих стихах как бы заново открылась перед нами душа, вместившая в себя радости и обиды огромного мира. Мы вдруг увидели планету, «краснобокую, точно спелое яблоко, — где в слезах, как в росе», и Россию, поднимающуюся «от лучины до самых звездных кораблей», и любовь двух сердец, отраженную в цвете бессмертника. Мы услышали страстный призыв:

Не мешайте гореть человеку:  
Ведь сердце звучит, как и солнце!  
Не случайно же так  
Необычно созвучны слова.

И живет человек  
Сначала под сердцем, а после под солнцем,  
На великой планете  
Свой утверждая права.

В сердца наши постучалось раздумье о предназначении человека, о родине, которой «то все легко, то снова плохо, то вся в тряпье, то в се-ребре», о властной силе любви, заставляющей то мучиться сомнениями, то окрыленно взлетать до седьмого неба.

Строгий, придирчивый критик мог бы подметить в стихах Кулемина какие-то не очень удачные рифмы или слово, сказанное неловко, но и такой критик сказал бы: поэзия!

Есть среди этих последних стихов две горькие строчки:

Мне кажется: придет признание,  
А я уж прорасту травой.

... Человек умер. Но поэт Василий Кулемин продолжает жить, потому что истинная поэзия сильнее смерти.

## Василий КУЛЕМИН

---

\* \* \*

На наш бульвар лосенок выскочил.  
Откуда он сюда, голубчик?  
Весь из куска самшита выточен.  
А между рог плутает лучик.

Остановился на газоне,  
Где бирочка: мол, рвать не велено.  
И дворник тер глаза спросонья  
И всматривался неуверенно.

Запало где-то слово крепкое,  
Что приготовил он для оклика.  
Лосенок с головой нелепою,  
Похожей издали на облако.

Дома глазами заморгали,  
И кто-то крикнул: — Эй, держите!.. —  
И прыснул спорыми ногами  
Лесов неискuschenный житель.

Пред ним все двигалось, летело  
Сплошным, необъяснимым ребусом.  
От криков спрятаться хотел он  
И вот упал — задет троллейбусом.

Лосенок помешал кому-то —  
Совсем негаданно, невиданно.  
А для меня померкло утро.  
Убили люди неожиданность.

Убили красоту спросонок,  
Под звуки утреннего вальса.  
Хочу, чтоб этакий лосенок  
В любви почаще появлялся.

Нельзя, чтоб все текло размеренно,  
Как заведенное однажды:  
Муж на жену глядел уверенно,  
Без удивления и жажды..

Тех дней-воробушков не надо нам.  
Гоните их дубьем, пинайте  
И в час, явившийся негаданно,  
Лосенка вы не прогоняйте.

\* \* \*

Мне кажется: придет признание,  
А я уж прорасту травой.  
Так не со мной с одним в России,  
Так было не с одним со мной.

А я хотел еще при жизни  
Восславить свой любимый край.  
О, как мы уважаем мертвых, —  
Ну хоть ложись да помирай.

Вы только правильно поймите:  
Не слыть у моды на виду —  
Я знать хочу, как смотрят люди  
На путь, которым я иду.

И пусть мечта все неустанней —  
Я в том увериться готов —  
Плывет среди усталых кранов,  
Среди задумчивых домов.

Она живет во мне нещадно,  
И мир, случается порой,  
Такой разумностью пугает,  
Что деться некуда с собой.

Ужель превыше человека  
Машина? — мысль меня томит.  
А я-то думал — бесконечность  
Одна душа твоя таит.

Стихи мои — мои молитвы  
Суровых, огненных годов...  
И я иду к седьмому небу  
Сквозь семь тревог и семь потов.

\* \* \*

Ты видела ль, что Пушкин грустный  
На площади? Хотя вокруг народ.  
С грустинкою заметной и пейзаж наш  
русский,  
И зря мы думаем, что все наоборот.

Быть грустными, мол, могут только слуги,  
А мы хозяева — и, значит, выше нос!  
Слыхала ль ты, когда стекают звуки  
Чайковского — с простых ветвей берез?

И ты была хрусталиком, доколе  
Не назвалась моей женой.  
Заметила ль: когда желтеет поле,  
Ему тогда немного тяжело.

Так значит, что-то есть такое в русской  
грусти?!

Грустить — всегда чего-нибудь желать.  
Вот и сейчас трубят над лесом гуси,  
И я вернулся в молодость опять.

Я щеголяю новеньким бушлатом  
С необъяснимой легкостью в груди.

Еще ко мне как будто не пришла ты,  
Все узнаванье наше впереди.

Бегут дымки над фронтом, дуют ветры,  
Взвиваются ракеты в тишине.  
Я весь во власти юношеской веры,  
Что вся земля лицом обращена ко мне.

Какую дружбой мы тогда дружили!  
Так могут в небе ангелы дружить.  
Мы одиночество и в космосе решили,  
О, как бы на земле его решить,  
Теперь не трудно на земле решить.

## Борис ФИЛИПОВ

---

### БОЛЕЗНЬ

Я на болезни не был падох,  
Всегда из края в край влеком,  
И ярость древних лихорадок  
Меня касалась лишь мельком.

И вот, когда по Крыму странствовал,  
Пришла, покой мой истребя,  
Смертельная боязнь пространства,  
В котором не было тебя.

\* \* \*

Когда и я за караваном  
Уйду в ту ночь, что всех темней,  
Я скифским золотом курганным  
Останусь в памяти твоей.  
Твой день без ночи будет долог,  
И ты продолжишь светлый путь.  
Как знать?  
Быть может, археолог  
Пленит тебя и где-нибудь  
На перехлестке ваших тропок  
Он станет голубя нежней...

Не разрешай ему раскопок  
В душе и памяти твоей.

## КОНСТАНТИН МУРЗИДИ

Уходит из жизни друг. Ты еще встречаешь рассвет, дышишь, работаешь, а того, кто разделял твои тревоги и волнения, подставлял плечо под твою ношу, уже нет. Он не позвонит по телефону, не придет, не подарит своей новой книги, не пришлет телеграммы из далекой поездки. Кажется, к этому невозможно привыкнуть, но идут дни — и мы призываем.

Константин Мурзиди мой друг, товарищ, ровесник, однополчанин по поэзии. Давным-давно, когда мы жили в разных городах и еще не были знакомы, я полюбил его стихи.

Познакомились мы сразу же после войны в Москве. В день нашего знакомства мы расстались: Мурзиди уезжал в Свердловск, а я — в Польшу, где служил в советских войсках. Через несколько дней я получил из Свердловска его книжку «Уральское солнце», вышедшую в «Советском писателе» с надписью: «В память о встрече в Москве и с надеждой на новые встречи».

Стихи Мурзиди все чаще появлялись в журналах, выходили его поэтические сборники. Утверждалось в нашей литературе имя Мурзиди. Ничего, что критики мало писали о нем. Читатели оценили его лирическое дарование, да и от собратьев по перу он слышал доброе слово. На Урале Мурзиди заслужил похвалу и дружбу Павла Петровича Бажова, в Москве о нем написали статьи Илья Сельвинский, Михаил Светлов, творчество и мнение которых он высоко ценил. А доброе, да еще сказанное вовремя слово играет исключительную роль в поэтической судьбе. Мы все хорошо это знаем.

Мурзиди был верным и внимательным товарищем, он умел радоваться чужим удачам, умел гордиться работой своих друзей. Сколько книжек молодых он отредактировал, сколько рекомендаций дал для выступления в Союз писателей! За две недели до смерти, отправляясь в больницу, он сказал:

— Пришлось на денек отложить больницу, заканчивал рецензии для приемочной комиссии... Хорошие ребята. Интересные поэты.

Совсем недавно, осенью прошлого года, ездили мы с ним в Ярославль и Рыбинск, летели на «Ракете» по Волге, мчались на катере по Рыбинскому морю... Провели несколько читательских конференций, выступали на литературных встречах, по радио. Глуховатым голосом, чуть заикаясь, Мурзиди читал свои стихи. В Ярославле, в Доме партийного просвещения, впервые я услышал его новое стихотворение. В глубокой тишине он медленно читал:

Мы не верим друг другу пока,  
И у каждого что-то осталось  
Недосказанным... Издавка  
Не такой эта встреча казалась.  
И опять я проститься спешу,  
От смущения вас избавляю.  
Все плохое с собой уношу,  
Все хорошее вам оставляю.

Этим стихотворением Мурзиди закончил свое выступление. Сегодня это стихотворение звучит как поэтическое завещание.

На письменном столе Константина Мурзиди осталась рукопись повой книги стихотворений.



## Константин МУРЗИДИ

\* \* \*

Я не видел вас в жизни, я знаю,  
Но зато я услышал ваш клич.  
И еще я теперь вспоминаю  
Вашу кепку, Владимир Ильич.  
Так носил свою кепку рабочий,  
Так, я помню, отец мой носил.  
Он в забое с утра, между прочим,  
Камень бил изо всех своих сил.  
Камень бил, вот и вся-то работа,  
От тяжелого взмаха устал.  
Но, наверное, думал он что-то  
И, должно быть, о чем-то мечтал.  
Так оно, вероятно, и было.  
Дни за днями стремительно шли,  
И простая рабочая сила  
Стала главной силой земли.  
И его исполнялись желанья,  
И с тех пор я запомнил навек:  
Нет почетней рабочего званья,  
Всех сильнее трудовой человек.  
И какой бы манерою новой  
Ни писали вас в том далеке —  
На груди у вас бант кумачовый  
И рабочая кепка в руке.

\* \* \*

Я счастлив.  
Есть мне чем гордиться,  
Хотя признаюсь вам, друзья:  
Не просто было мне трудиться,  
Не так легка судьба моя.  
Я знал и семицветье радуг,  
Но знал и горькое житье...  
Не убаюкивайте правду,  
Не пеленайте вы ее.  
Она не маленький ребенок,  
Она холстину разорвет  
И разом выйдет из пеленок, —  
В неволе правда не живет!  
Уж так приучена веками:  
Не жить в искусственном тепле,  
Свободно действовать руками,  
Стоять ногами на земле.

### ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Есть на земле такие уголки,  
Где облака особенно легки.  
И если лечь в садовую траву,  
И развести над головой листву,  
И на небо доверчиво взглянуть,  
То можно с ними землю обогнуть.

Лежу в траве (под головой — рука)  
И сквозь листву гляжу на облака.  
Они свой вид меняют на лету  
И, расходясь, уводят в высоту,  
В голубизну сияющего дня  
И приобщают к вечности меня.  
И так легко в той синей полумгле,  
Что невзначай взгрустнулось на земле.

Но вдруг травы зеленый колосок  
Так ласково потерял о висок,  
Не думая в измене обвинять,  
Что землю захотелось мне обнять  
И рассказать ей, словно во хмелю,  
Как я ее, проклятую, люблю!

\* \* \*

Проплывает, блистая,  
Стая льдин по реке.  
Вместе плыть, вместе таять  
В голубом далеке.  
Красота, величавость  
И содружество льдин.  
На минуту, случилось,  
Оставался один.  
А совсем не останусь.  
Чем порадуюсь я?  
В вас моя первозданность,  
Сущность, вечность моя.  
И речист, и невнятен,  
Весь я в вашей судьбе.  
Я без вас непонятен  
Ни другим, ни себе.  
Все едино, все цельно,  
Все, чем жил я, любя.  
А представишь отдельно,  
Не узнаешь себя.  
Не видать человека  
Без людей, одного.  
Я — из этого века.  
Я ничто без него.

\* \* \*

Течет над миром звездная река.  
Стоит сирень в своей красе пленительной.  
Не получив на вечер увольнительной,  
Стоит солдат у знамени полка.

Здесь пост его. Здесь может он прославиться,  
Героем стать. И может умереть.  
...Фабричная девчоночка, красавица,  
Здесь на него должна ты посмотреть.

## ИСТИНА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Когда листаешь книгу Марка Шехтера «Лирическая погода», то, переходя от стихотворения к стихотворению, от раздела к разделу, соглашаясь с поэтом или не во всем соглашаясь, принимая ту или иную вещь полностью или внутренне споря по поводу тех или иных частностей, все больше проникаешься — и это главное — ощущением серьезности задач, которые он решает.

Конечно, перед нами книга лирических раздумий. Однако сказать только это — значит еще почти ничего не сказать. В разные времена, и, к сожалению, не так уж редко, приходилось нам созерцать усердно отрепетированную позу философичности и заниматься разгадыванием мудреных рифмованных загадок, которые на поверку оказывались в родстве с «глубинами»... кроссворда. Сколько на это зря потрачено сил, распылено страсти...

Человек в лирике Марка Шехтера — союзник природы, предстающий в ореоле разума, свободного от высокомерия, и преисполненный достоинства, свободного от хвастливой самоуверенности. Перед лицом разбушевавшейся стихии («В шторм»), когда «море нелюдимо, воли идет разбой», он помнит главный завет, помогающий выстоять: «Здесь необходимо быть самим собой». Иными словами, перед лицом испытаний оставаться прежде всего человеком.

А многого ли это требует — оставаться человеком, «быть самим собой»? Да, очень многого! — всем своим ладом и строем отвечает «Лирическая погода», утверждая безусловную серьезность и богатую содержательность мира «простой души».

А кто умеет жизнь любить,  
Тот насладится светлым дивом:  
Как мало нужно, чтобы быть  
Добросердечным и счастливым!

Внимательный читатель безошибочно увидит, что трудная, не простая и прекрасная наука быть «добросердечным и счастливым» полно выражена во многих стихотворениях «Лирической погоды», в том числе в таком, например, как «День минувший». Отшумел многотрудный день, — что принес он людям? Всякое. Большие подвиги и мелкие огорчения, победы разума и огорчительную прозу бытовых неурядиц. Кто-то справлял новоселье, «покинула соседка мужни дом»...

Ракета прочертила мрак вселенной,  
Из Киева доставлена сирень...

И снова прожит день обыкновенный,  
Нет, люди, — необыкновенный день!

«Лирическая погода» — последняя прижизненная книга Марка Шехтера.

Он ушел от нас совсем недавно, оставив жить свою поэзию, которая будет находить отклик в сердцах людей.

## О НИКОЛАЕ ЗАБОЛОЦКОМ

(Отрывок из книги воспоминаний)

Заболоцкий утверждал, что смерти нет; смерти не было, нет и никогда не будет. Он утверждал это в течение всей своей сознательной жизни, с молодых лет до конца. Утверждал в разговорах с друзьями, утверждал в стихах.

В основе этого утверждения лежала мысль, что если каждый человек, в том числе и он, Николай Заболоцкий, — часть природы, а природа в целом бессмертна, то и каждый человек бессмертен. Смерти нет, есть только превращения, метаморфозы. Наиболее полно выразил он эту утешительную мысль в одном стихотворении 1937 года, которое так и называется — «Метаморфозы»:

Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел  
Я отделил от собственного тела!  
И если б только разум мой прозрел  
И в землю устремил пронзительное око,  
Он увидал бы там, среди могил, глубоко,  
Лежащего меня. Он показал бы мне  
Меня, колеблемого на морской волне,  
Меня, летящего по ветру в край незримый, —  
Мой бедный прах, когда-то так любимый, —  
А я все жив!..

И дальше:

Как все меняется! Что было раньше птицей,  
Теперь лежит написанной страницей;  
Мысль некогда была простым цветком;  
Поэма шествовала медленным быком;  
А то, что было мною, то, быть может,  
Опять растет и мир растений множит.  
Вот так, с трудом пытаюсь развивать  
Как бы клубок какой-то сложной пряжи,  
Вдруг и увидишь то, что должно называть  
Бессмертием. О, суеверья наши!

Как видите, самую мысль о смерти он называл суеверием.

Эта же идея — что каждый бессмертен, потому что бессмертна природа, — высказывалась им и гораздо раньше. Еще в 1929 году, в стихотворении «Прогулка», он говорил:

И смеется вся природа,  
Умирая каждый миг.

В том же 1929 году, в стихотворении «Искушение», где рассказывается о смерти девушки, Заболоцкий старался убедить читателя, что смерть эта — мнимая, кажущаяся. Мертвую девушку закопали в землю, но

Солнце встанет, глина треснет,  
Мигом девица воскреснет.  
Из берцовой из кости  
Будет деревце расти.

В 1936 году он написал:

Вчера, о смерти размышляя,  
Ожесточилась вдруг душа моя.

Но дальше в этом стихотворении он объясняет, что душа его ожесточилась зря, потому что, благодаря мнимости смерти, благодаря совершающимся в природе метаморфозам, бессмертны не только тела, но и мысли людей:

И я, живой, скитался над полями,  
Входил без страха в лес,  
И мысли мертвецов прозрачными столбами  
Вокруг меня вставали до небес.  
И голос Пушкина был над листвою слышен,  
И птицы Хлебникова пели у воды.  
И встретил камень я. Был камень неподвижен,  
И проступил в нем лик Сквороды.

И все существованья, все народы  
Нетленное хранили бытие,  
И сам я был не детище природы,  
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!

И одиннадцать лет спустя, вернувшись из лагерей, он упрямо писал все о том же, все о том же:

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов  
Себя я в этом мире обнаружу.  
Многовековый дуб мою живую душу  
Корнями обовьет, печален и суров.  
В его больших листьях я дам приют уму,  
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,  
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли  
И ты причастен был к сознанию моему.

Он продолжал отрицать смерть — в обычном понимании этого слова — до самого конца. В разговорах он отрицал это «суеверие» еще определеннее и бесповоротнее, чем в стихах.

Мы с ним, оставаясь вдвоем, по русскому обыкновению, часто «философствовали». В наших рассуждениях и спорах он неизменно объявлял себя «материалистом» и «монистом». Под «монизмом» разумел он понятие, противоположное «дуализму», и отзывался о «дуализме» с презрением. «Дуализмом» он называл всякое противопоставление духовной жизни материальной, всякое непонимание их тождества, полной слитности. Поэтому, говоря о бессмертии, он вовсе не имел в виду существования души вне тела. Он утверждал, что все духовные и телесные свойства человека бессмертны, потому что в природе ничего не исчезает, а только меняет форму.

Для меня это много раз повторяемое им рассуждение было недостаточно убедительно. Я спорил с ним — довольно робко. Я соглашался, что если живое становится мертвым, то это всего только превращение, а не исчезновение; однако для живого совершенно безразлично, исчезнет ли оно или «превратится». Если из берцовой кости умершей девушки вырастет деревце, то это будет уже не девушка, а другое существо, сознание же девушки, ее «я» погибнет безвозвратно. Хотя природа и бессмертна и в ней ничего не исчезает, но мы с вами смертны и умрем всерьез, навсегда.

Он не соглашался. Слушал хмуро и упрямо повторял свое. Эти разговоры о смерти происходили обычно ночью, за вином, у меня на квартире. В последние годы жизни он ничего не пил, кроме вина, но вина пил много и не умел без него обходиться. К его приходу я запасал несколько бутылок «телиани», потому что «телиани» он предпочитал всем другим винам; думаю, причины этого предпочтения были прежде всего литературные — он очень любил и часто повторял стихи Мандельштама:

В самом маленьком духане  
Ты товарища найдешь,  
Если спросишь «телиани».  
Поплывет духан в тумане.  
Сам в духане поплывешь.

Он приходил часов в семь, читал свои последние стихи, потом мы принимались читать стихи других поэтов. Часов в девять садились за стол и сидели порой часов до трех ночи. Он мог выпить вина сколько угодно, и я скоро отставал от него. Пьянел он медленно, становился все веселее. Потом хмурился и тогда со все возрастающим ожесточением повторял, что мы не умрем, а только превратимся.

Надо сказать, что к таким его рассуждениям я относился недостаточно серьезно, и это привело меня к ошибке. Я перестал спорить, возражать, а только отшучивался. Я знал, как он был чуток к юмору, и потому никогда не опасался шутить в его присутствии над чем угодно. Уехав летом 1958 года в Коктебель, я отправил ему оттуда следующее шуточное стихотворное послание:

Н. А. ЗАБОЛОЦКОМУ

*который, выпив три бутылки «телиани»,  
любит утверждать, что после смерти  
мы перевоплотимся в другие существа*

Тело, жертва медицины,  
Мертвенно, как перламутр,  
Препараты и вакцины  
Принимает скорбно внутри,

А душа, пред униженьем  
Опуская гордый взор,  
Уж ведет с уничтоженьем  
Предстоящим разговор:

«Не хочу я превращений  
В множество вещей, веществ  
Или перевоплощений  
В множество иных существ,

Не хочу я вечных странствий  
Паром, снегом и водой,  
Не хочу лететь в пространстве  
Ослепительной звездой.

Не хочу я цепью брякать,  
Дом хозяйский сторожа,  
Птицей петь, лягушкой квакать,  
Быть супругою ежа.

Ванечка, гулявший с мамой  
Вдоль по берегу ручья,  
Это я был, тот же самый,  
Это я, и только я.

Принимая капли на ночь  
У предела бытия,  
Это я, Иван Степаныч,  
Это я, все тот же я.

Доброй Машею любимый  
Мне неведомо за что,  
Это я, неповторимый,  
Я, и более никто.

Не боюсь чертей и ада,  
С мукой примирюсь любой,  
Мне ничьей судьбы не надо,  
Дайте быть самим собой!»

И в ответ гремит на башне,  
Отмечая каждый час,  
Звон привычный, звон всегдашний,  
Утешительный для нас,

Ничего не обещаая,  
Кроме вечной пустоты,  
Ничего не предвещая,  
Кроме полной темноты.

К моему удивлению, никакого ответа на это послание я не получил. Через месяц я вернулся в Москву, и Заболоцкий зашел ко мне. Была уже вторая половина августа, лето он провел в Тарусе и показался мне посвежевшим, поздоровевшим. В город заехал только на несколько дней и зашел ко мне, чтобы прочитать мне свою новую поэму «Рубрук». Читал он весело, увлеченно, счастливо, громко смеясь от радости в тех местах, которые ему самому казались особенно удачными. Поэма была написана круто, зорко, щедро, поразила меня внутренней веселостью, наблюдательностью, жадным жизнелюбием. Все это я высказал автору, к его большому удовольствию. Когда разговор о «Рубруке» иссяк, я спросил его, получил ли он мое послание. И был поражен, как внезапно изменилось его лицо. Он потемнел, замолк, поник. Мне стало жалко его. Я понял, как некстати была моя шутка.

Я понял, что вся эта созданная им теория бессмертия посредством метаморфоз всю жизнь была для него заслоном, защитой. Мысль о неизбежности смерти — своей и близких — была для него слишком ужасна. Ему необходима была защита от этой мысли, он не хотел смириться, он был из несмиряющихся. Найти защиту в представлении о бессмертной душе, существующей независимо от смертного тела, он не мог — всякая религиозная метафизическая идея претила его конкретному, предметному художественному мышлению. Поэтому он с таким упорством, непреклонностью, с такой личной заинтересованностью держался за свою теорию превращений, сулившую бессмертие и ему самому и всему, что он любил, и сердился, когда в этой теории находили бреши.

Он умер через два месяца после этого нашего свидания.

От редколлегии:

Мы с большим сожалением вынуждены опустить многие страницы нового исследования Ираклия Андроникова «Утраченные записки». Опушен нами увлекательный рассказ о двадцатигрестилетних поисках воспоминаний Веры Ивановны Анненковой и о самой находке. Мы печатаем небольшой отрывок из рукописи Ираклия Андроникова, с благодарностью к нему — страстному и верному другу русской поэзии.

## УТРАЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ

### 1

Если вам придется побывать в Пушкинском доме Академии наук в Ленинграде и пройти сквозь анфиладу комнат тамошнего музея, вы увидите в одной из витрин странную книгу — огромный переплет более полуметра в длину, оклеенный полосами черной и белой бумаги. Поверх этих полос — из голубой бумаги овалы, похожие на две буквы «о». На одном «о» — «Дева», «Близнецы», «Рак», «Козерог» и другие зодиакальные знаки, на втором — нечто напоминающее знаки масонские.

Эта «книга» — память о публичном выступлении семнадцатилетнего Лермонтова в зале московского «Благородного собрания» в ночь под новый, 1832 год.

В последний вечер уходящего 1831 года в блестящий, как и ныне, известный теперь всему миру Колонный зал съезжалась московская знать, связанная между собой родством, свойством, кумовством, служебными отношениями или соседством — по Москве, по имениям, — сановники, гвардейская и фрачная молодежь, красавицы замужние, и помолвленные, и только вчера надевшие длинные платья, литераторы, студенты знатных фамилий... Оставив лакеям салопы, шубы, шинели, надев домино, капюшоны, маски, они входили в белоколонный простор, теплый от множества горящих свечей и дыханья, блестящий хрусталем люстр, улыбками, нарядами, звездами, лентами, золотом мундиров, полный сверкающей музыки. И рассаживались за столами, расставленными в кулуарах и за колоннами... Все съехалось, все готовилось к торжественной церемонии!

«Загремевшие на хорах трубы возвестили о пришествии Нового года», — писал в отчете о празднике «Дамский журнал». После ужина по краям зала были расставлены несколько рядов стульев. Первый ряд заняли танцующие мазурку, «которая продолжалась несколько часов». «Маскарад был очень жив и многолюден», — заключает «Дамский журнал».

В разгар праздника распорядитель объявил о появлении астролога. Появился гость в маске, в странном костюме, с огромной книгой под мышкой. Остановившись, раскрыл переплет: в качестве каббалистических знаков к каждой странице были приклеены огромные китайские буквы, срисованные с чайного ящика и вырезанные из черной бумаги. Переворачивая страницы, прорицатель начал читать эпиграммы и мадригалы, адресованные гостям — известным московским красавицам Алек-

сандрe Алябьевой и Анне Щербатовой, Вере Бухариной, Наталье Ивановой, молодой поэтессе Додо Сушковой, именитому литератору Николаю Павлову, старшине «Благородного собрания» сенатору Башилову, известному всей Москве певесе Константину Булгакову, входившей в славу певице Прасковье, или Полине, Бартеневой, поразившей Москву исполнением вариаций Пиксиса, — певице, которую сравнивали со знаменитой Генриэттой Зонтаг. Одна из эпиграмм была адресована редактору «Дамского журнала» князю Петру Ивановичу Шаликову, которому досталось от астролога. Тем не менее журнал благожелательно отметил в своем отчете, что «некоторые маски раздавали довольно затейливые стихи, и одни поднесены той, которая восхищала нас Пиксисовыми вариациями... сии стихи заслужили ласковую улыбку нашей Зонтаг».

Но только немногие из гостей смогли угадать, что в маске и в облачении астролога читал свои стихи студент Михаил Лермонтов.

Астролог исчез...

Все ушло, все растворилось во времени и забылось. Только мадригалы остались от того новогоднего маскарада да переплет каббалистической книги, которые вызывают этот праздник из небытия.

## 2

Не чудно ль, что зовут вас Вера? —  
Ужели можно верить вам? —  
Нет, я не дам своим друзьям  
Такого страшного примера!..

Поверить стоит раз... но что ж? —  
Ведь сам раскаиваться будешь,  
Закона веры не забудешь  
И старовером прослывешь!

С этим каламбурным комплиментом астролог обратился к Вере Бухариной. И будет совершенно естественно, если мы отнесем ее к числу московских знакомых Лермонтова.

Вера Бухарина приехала в Москву в 1830 году и сразу же обратила на себя внимание, как говорили, «взыскательного московского света». Она была хороша собой, высока и стройна, хотя, по мнению стариков и старух, родители ее в свое время были лучше — выдающейся внешности отец Иван Яковлевич Бухарин (1772—1858) и «очаровательная» мать — Елизавета Федоровна, урожденная Полторацкая (1789—1828).

В продолжение долгих лет Бухарин занимал видные административные посты — вице-губернатора Кавказской губернии, вице-губернатора выборгского, финляндского губернатора, рязанского губернатора. Затем несколько лет был не у дел. В 1819 году получил назначение на пост астраханского губернатора, а в следующем году переведен на пост губернатора киевского. С 1822 года находился в отставке, через пять лет принял Архангельскую губернию, а в 1830 году, получив чин тайного советника, назначен сенатором в Москву. Николай I относился к Бухарину неприязненно, обходил вниманием, и назначение сенатором в Москву надо было понимать: «не расположен». Старый сановник считался фрондером.

Мать Бухариной приходилась племянницей Анне Петровне Керн и Елизавете Марковне Олениной — жене статс-секретаря и президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина. Смолodu она жила в олеинском доме. Бурные светские успехи мужа довели ее до самоубийства.

Вера Ивановна родилась в 1813 году. Детские годы ее прошли в харьковском имении Боброво, где первым учителем ее был автор «Ябеды» — талантливый драматург Василий Васильевич Капнист, а затем в



Киеве. Воспитывалась она в Петербурге, в Смольном монастыре, по окончании которого приехала с отцом в Москву и сразу была замечена, окружена успехом и в 1832 году вышла замуж за адъютанта великого князя Михаила Павловича — тридцатилетнего полковника Николая Николаевича Анненкова (р. 1799), совершавшего весьма успешное восхождение по ступеням военно-иерархической лестницы. Вскоре он был назначен командиром гвардейского Измайловского полка, затем произведен в генералы. В конце 30-х годов Анненковы жили в Москве. В их доме бывал Лермонтов. В апреле 1841 года, за три месяца до гибели, он писал бабушке: «Был вчера у Николая Николаевича Анненкова и завтра у него обедаю: он со мною очень любезен...»

В конце 40-х годов Анненков был назначен в Государственный совет и произведен в генерал-адъютанты, после «освобождения крестьян» занял пост генерал-губернатора киевского, волынского и подольского. Умер он в 1865 году. Заслуги его, по мнению вдовы, были умалены, разумные действия заведомо искажались. Это побудило Веру Ивановну рассказать его жизнь, которая в продолжение тридцати трех лет проходила у нее на глазах. Описание его трудов, его службы должно было органически войти в ее мемуары, в которых она решила вспомнить всех интересных людей, кого ей доводилось встречать, видеть, слышать: Пушкина, Лермонтова, Ермолова, Крылова, Вяземского, Александра Тургенева, Александра Раевского, декабристов, Истомина, Тальони, Тамбурины, Рашель, Фанни Эльслер, Зонтаг, Загоскина, Мятлева, Соллогуба, Хомякова, Рубинштейна, Львова, Венявского...

Свидетельница пяти царствований, Анненкова умерла в Петербурге, в мае 1902 года, дожив до восьмидесяти девяти лет.

Через несколько недель после этого рукопись воспоминаний (написанных по-французски) была увезена внуком Веры Ивановны за границу. Все усилия обнаружить эти записки оказывались тщетными. Только недавно мне удалось отыскать их в... Москве, в Центральном государственном архиве древних актов. На поиски ушло более четверти века.

Здесь в переводе Л. В. и Н. В. Классен приводятся избранные страницы: Анненкова вспоминает о декабристах, о Пушкине и о Лермонтове, о Москве начала 30-х годов прошлого века и об атмосфере, в которой возникли новогодние мадригалы Лермонтова.

### 3

Прежде всего остановимся на эпизодах, связанных с именем Пушкина, которого Вера Бухарина впервые увидела в Киеве, в доме отца своего, занимавшего пост губернатора.

«...Возвращаюсь к воспоминаниям детства, связанным с Киевом, — пишет она. — Из смутных воспоминаний прошлого полнее всего сохранилось впечатление от прекрасной Андреевской церкви, расположенной на горе и более поэтичной, чем в настоящее время; тогда она одна выделялась на небесной лазури и казалась устремленной ввысь; ее не принижало еще соседство дома Попова, новой «Десятичной» церкви и дачи Андрея Муравьева — этого «Андрея Незваного», который явился заменить «Андрея Первозванного», как об этом сказал с насмешкой один злой шутник.

Губернаторский дом находился на Липовой улице — более прекрасных лип я на свете не видела; их заставил срубить безжалостно один губернатор. Я никогда не могла постигнуть этот акт вандализма со стороны человека, оказавшегося цивилизованным варваром, — это граф Левашов.

Моя мать и отец широко принимали, киевское общество в эту пору было очень приятное, и я хорошо помню некоторых постоянных посетителей нашей гостиной.

Это — предводитель дворянства граф Олизар, граф Ходкевич, братья Муравьевы-Апостолы (тот, который был повешен, и другой, которого сослали в Сибирь по делу 14 декабря). В ту пору оба они были переведены в армию, когда прежний Семеновский полк раскассировали, и они служили в полку, расположенном в Белой Церкви.

Молодой поэт Пушкин был сослан за стихи в Киев, и он говорил, «что язык его довел до Киева и может быть даже за Прут» (эта фраза в подлиннике по-русски. — *И. А.*).

Мой отец, обязанный за ним наблюдать, просил его для облегчения этого дела считать губернаторский дом своим. Молодой поэт поймал его на слове и проводил свою жизнь у нас.

Бестужев-Рюмин, князь Волконский, прозванный «Бухна» (в подлиннике по-русски. — *И. А.*), Капнист, сын поэта, наш сосед по деревне, с которым мои родители были близко связаны, тоже очень часто приходили в салон, где в дни больших приемов встречали элегантных, красивых полек.

Между ними особенно вспоминаю мадам Ганскую, урожденную Ржевускую (Анненкова по ошибке написала ее фамилию «Ржеванская». — *И. А.*), которая была «Лилией Долины» Бальзака и на которой знаменитый романист женился впоследствии, когда она находилась уже на склоне лет, а в пору первых моих впечатлений ей, красивой, как ангел, было 17 лет.

Она была женой человека мало приятного, с мрачным расположением духа.

Из наиболее близких к нашему дому вспоминаю Раевских — семью командира корпуса, командующего войсками генерала Николая Николаевича Раевского. Сад губернаторского дома был у нас общим для двух домов, и мы часто видели генерала. Сын генерала Раевского несколько раз приходил присутствовать на моих уроках; это он — «Демон» Пушкина, о котором поэт сказал:

На жизнь насмешливо глядел  
И ничего во всей природе  
Благословить он не хотел...

(четверостишие в подлиннике по-русски. — *И. А.*).

В ту пору мне было около восьми лет...»

Время, о котором пишет здесь В. И. Анненкова, определено очень точно.

В первый раз сосланный на юг Пушкин прибыл в Киев в середине мая 1820 года, остановился у Раевских и через день или два отправился дальше, в Екатеринослав, — к месту ссылки.

Второй раз Пушкин побывал в Киеве «на контрактах», то есть во время киевской ярмарки, в конце января — начале февраля 1821 года.

Вот в эти-то две недели, остановившись опять у Раевских, Пушкин и «проводил свою жизнь» у Бухариных. «В ту пору мне было около восьми лет», — пишет Анненкова. Она родилась 2 июня 1813 года. В начале февраля 1821 года ей было около восьми лет. Все совершенно сходится!

Анненкова вспоминает Эвелину Ганскую, урожденную графиню Ржевускую, ставшую впоследствии женой Оноре де Бальзака, которой было в то время семнадцать лет.

Эвелина Ржевуская родилась в 1803 году. В 1820-м, когда Бухарина назначили киевским губернатором, ей было семнадцать лет. Все очень точно!

Среди тех, кто посещал салон ее родителей, Анненкова выделила (вероятно, видела их чаще других!) крупнейших деятелей декабристского движения, руководителей Южного общества — Сергея Муравьева-Апостола и

его «неотступного приятеля» Михаила Бестужева-Рюмина. В 1821 году оба служили в Полтавском пехотном полку в Белой Церкви, переведенные из раскассированного Семеновского полка. Брат Сергея Ивановича Матвей Муравьев-Апостол, один из виднейших участников Южного общества, жил тогда в Киеве, состоя адъютантом при военном губернаторе Малороссии Репнине. Генерал-майор Сергей Григорьевич Волконский, за которым закрепилось прозвище «Бюхна», накануне второго приезда Пушкина в Киев был назначен бригадным командиром 19-й пехотной дивизии, расквартированной в Умани.

Всех четверых, или уж во всяком случае троих, Пушкин знал еще по Петербургу и встречался с ними в продолжение всей южной ссылки.

Новых знакомств Пушкина с декабристами записки Анненковой не устанавливают, но позволяют думать теперь, что поэт встречал их и в Киеве — в губернаторском доме.

Анненкова запомнила в салоне отца графа Александра Ходкевича — крупного волынского помещика, отставного генерала польской службы, члена тайной политической организации — Патриотического польского общества. Это общество, преобразованное из Национального польского масонства, возникло еще в 1820 году (по другим данным — в 1821 году). К лету 1821 года были созданы ответвления общества, и глава его «литовской провинции» выехал в Киппинев к генералу М. Ф. Орлову. Это произошло вслед за московским совещанием, на котором М. Ф. Орлов предложил принять радикальные меры для подготовки вооруженного выступления. Связь Южного общества с Патриотическим польским обществом была установлена в 1823 году Бестужевым-Рюминым и Сергеем Муравьевым-Апостолом. И именно через графа Ходкевича. По словам Муравьева, в 1823 году он вместе с Бестужевым-Рюминым «предложил графу Ходкевичу свести Южное общество с Польским». И в следующем — 1824 — году во время «контрактов» в Киеве Ходкевич познакомил их с депутатом Польского общества Крыжановским, который «вошел с ним в переговоры и заключил словесный договор»: Южное общество обещало полякам независимость и уступку некоторых завоеванных областей, а поляки обязывались содействовать революции и «отнять у цесаревича средство возвратиться в Россию». Эти встречи происходили в Киеве на квартире Ходкевича, на квартире Бестужева и у Крыжановского. . . Не будем продолжать: уже ясно, что в установлении контакта между декабристами и польскими патриотами графу Ходкевичу принадлежала весьма важная роль.

Не менее интересна фигура графа Густава Олизара — польского поэта, вольнодумца и патриота, как раз в те дни, когда Пушкин находился в Киеве — в начале 1821 года, — прошедшего с успехом на выборах в киевские губернские маршалы. Близкий друг Муравьева и Бестужева-Рюмина, Олизар знал не только о том, что в России и Польше существуют революционные организации, но и о том, что члены Южного общества и польские конспираторы связаны между собой. И это не мудрено. «Бестужев-Рюмин, — показал П. И. Пестель, — познакомившись в Киеве с Гродецким, графом Олизаром и графом Ходкевичем, первый открыл сообщение русского общества с Польским». И снова: «Бестужев был в сношениях с Г. Олизаром». Не отрицал этого и Бестужев-Рюмин, признавший, что в 1824 году он «сносился преимущественно с Гродецким, Ходкевичем и Олизаром».

Оба — и Ходкевич и Олизар — в начале 1826 года были арестованы и доставлены в Петербург, как лица, прикосновенные к заговору.

Что, казалось бы, нового могут внести в освещение этих событий несколько строк, написанных Анненковой по воспоминаниям ее, относящимся к восьмилетнему возрасту?

Дату! Год первой встречи!

В своих показаниях братья Муравьевы-Апостолы и Бестужев-Рюмин говорят разное и во многом противоречат самим себе. Так, составляя спе-

циальную записку о сношениях с поляками, Бестужев писал, что о существовании общества в Польше узнал от Ходкевича «на киевских контрактах 1824 года». Сергей Муравьев свидетельствует, что он с Бестужевым предложили «свести Южное общество с Польским» в 1823 году, указавши при этом, что предложение это было сделано им вместе с Бестужевым графу Ходкевичу. А из протокола другого допроса следует, что ни с Ходкевичем, ни с Олизаром он — Муравьев — «личных сношений не имел».

Бестужев отрицал политическую связь с Олизаром, что же касается Ходкевича, то пытался уверить, что Ходкевич «не принадлежал к обществу с 1814 года» (имея в виду польское масонство). В другой раз показал, что, пользуясь знакомством Ходкевича, «успел найти в нем усердного посредника в сближении обществ». Матвей Муравьев-Апостол уточнил место встречи — начало сближения произошло, по его словам, в 1823 году в Киеве в доме Н. Н. Раевского. Отсюда возникло представление, что Бестужев и Муравьев и познакомились с Ходкевичем только в 1823 году и что местом их первой встречи был дом генерала Раевского.

Нет! Анненкова свидетельствует, что все они бывали у губернатора еще до 1822 года, ибо в 1822 году Бухарин покинул Киев и вышел в отставку. Более того: она подчеркнула, что именно Ходкевич, Олизар и братья Муравьевы-Апостолы принадлежали к числу «постоянных» посетителей бухаринского салона, куда «часто» приходит Бестужев. Так что знакомство Муравьевых и Бестужева с графом Ходкевичем и с Олизаром относится не к 1823 году, а, безусловно, к более раннему времени, до 1822 года. На следствии Муравьев и Бестужев сказали не все. Недаром Комиссия пришла к выводу, что «Олизар не знал о существовании тайных обществ ни в России, ни в Польше», — взгляд, опровергнутый новейшими исследованиями декабризма и биографами польского поэта.

Весьма возможно, что раньше, нежели принято было думать, познакомился с Олизаром и Пушкин. Мы знаем, что они виделись в Кишиневе летом 1821 года. Записки Анненковой позволяют предположить, что знакомство произошло еще в январе — феврале. И что Ходкевич тоже входил в число знакомцев поэта.

Первую встречу с госпожой Ганской относят к 1823 году, ко времени, когда Пушкина перевели в Одессу. Но, видимо, и тут имеются основания считать, что с нею и с сестрою ее — Каролиной Собаньской — дочерьми предводителя киевского дворянства графа Ржевуского — Пушкина познакомил киевский губернатор Бухарин, у которого в дни больших приемов гости и встречали красивых и элегантных полек. Тем более что с Собаньской Пушкин познакомился именно в Киеве, 2 февраля 1821 года. Кстати, анненковская характеристика Вацлава Ганского: «мало приятный человек с мрачным расположением духа» — объясняет данное ему Пушкиным прозвище «Лара» — по имени мрачного байроновского героя.

Капнист, «сын поэта» и «сосед по имению», не только сосед и не только сын автора комедии «Ябеда» — Алексей Васильевич Капнист, но и адъютант генерала Раевского, член Союза Благоденствия, которого Бестужев-Рюмин пытался вовлечь в Южное общество, в чем, однако, не преуспел, потому что с 1821 года Капнист будто бы «совершенно переменял образ мыслей». Так было говорено на следствии, когда Бестужева-Рюмина и Муравьева допрашивали насчет арестованного Алексея Капниста. Но как бы там ни было, в 1821 году, когда Пушкин навещал дом Бухариных, Капнист еще держался прежнего образа мыслей.

Вот гости, которых Анненкова запомнила в салоне отца. Ошиблась она только в одном, говоря, что Пушкин был сослан в Киев. В Киев он прибыл из Петербурга, по пути к месту ссылки, а второй раз приезжал из Кишинева, куда Инзов, принимая новое назначение, взял с собою поэта и где Пушкин жил, пока Кишинев не переменяли ему на Одессу. Фраза, которую Пушкин сказал в Киеве декабристу М. Ф. Орлову: «Язык

и до Киева доведет, а может быть, и за *Пруг*», в пушкинской литературе известна.

Обращаю внимание на эти подробности для того, чтобы определить общий характер воспоминаний. Судя даже по одному эпизоду, они обстоятельны и в целом очень точны.

#### 4

В продолжение двух лет — после выхода из Смольного института в 1830 году до отъезда в Петербург весной 1832 года и замужества — Вера Бухарина вместе с отцом жила в Москве, усердно знакомилась с литературой и посещала дома, где собиралась московская знать. Особенно запомнился ей первый в ее жизни «великолепный бал» у князя Сергея Голицына.

«У меня был очаровательный туалет, — вспоминает Вера Ивановна, — белое платье, украшенное голубыми цветами с названием «не забывай меня» (незабудками).

Я танцевала с поэтом Пушкиным. Встретив в первый раз ребенка, которого он носил на руках в Киеве, он говорил мне прелестные вещи о моем отце, о моей матери, обо мне самой, о моих маленьких голубых цветах, совет которых казался ему бесполезным, так как, увидев меня, забыть меня уже никогда невозможно».

Воспоминания об этой встрече Анненкова связывает с известием об июльской революции во Франции. Очевидно, встреча на балу произошла в начале лета 1830 года: Пушкин находился в Москве с середины марта до середины июля, в мае помолвлен был с Гончаровой. Хозяин бала — это, видимо, тот самый, в домовый церкви которого Пушкин хотел венчаться, — крупный сановник Сергей Михайлович Голицын, попечитель Московского учебного округа, председатель опекунского совета, директор и попечитель московской Голицынской больницы.

С. М. Голицын давал балы только по случаю посещения Москвы членами императорской фамилии, генерал-губернатор Голицын, по свидетельству Бухариной, принимал мало. «Два гостеприимных дома взяли на себя, — пишет она, — миссию оживлять Москву и собирать лучший цвет общества — это были дом Пашковых и дом Киндяковых. Летом и зимой там собирались несколько раз в неделю, танцевали и, редкая вещь! разговаривали!»

Прервем на мгновение цитату и обратим внимание на то, как похвала этим двум домам аттестует другие собрания московской аристократии!

Между постоянными посетителями этих домов Бухарина особо отмечает появлявшихся здесь в каждый приезд из столицы Александра Тургенева и «очаровательного и умного поэта Петра Вяземского».

«Я находила большое удовольствие в этих собраниях, — продолжает Вера Ивановна рассказ про собрания у Киндяковых и Пашковых, — и свела близкое знакомство с двумя молодыми девушками, каждая из которых украшала собою свой дом. В доме Пашковых это была семнадцатилетняя Додо Сушкова, будущая графиня Ростопчина, поэтический талант которой проявился уже в ее первом стихотворении «Талисман», написанном для меня. В доме Киндяковых — очень любимая мною младшая дочь Екатерина, изящная и крайне восторженная. Она любила одного человека (Ивана Путяту), но его мать запретила ему жениться, и тогда она вышла замуж за поверенного своей любви — Александра Равевского, прожила с «Демоном Пушкина» очень недолго и умерла, родив ему дочь, на которую отец перенес всю привязанность...»

Я привожу эти обширные выписки из записок Бухариной-Анненковой потому, что это — Москва 1830—1832 годов и общество, в котором

появляются не только Вяземский и Александр Тургенев, но и Пушкин и Лермонтов, сравнивший в те годы начинавшую поэтессу Ростопчину с «легким» стихом ее «Талисмана»:

Как в Талисмане стих небрежный,  
Как над пучиною мятежной  
Свободный парус челнока,  
Ты беззаботна и легка...

Вскоре после появления Веры Бухариной в свете, которое совпало с пребыванием в Москве великого князя Михаила Павловича, ей представили его адъютанта, молодого полковника, на которого семнадцатилетняя «монастырка» не обратила внимания. В следующем году Анненков снова появился в Москве. После отъезда его в столицу кузина его Е. П. Вадковская (родственница Лермонтова и А. М. Верещагиной) — стала стараться о том, чтобы открыть Бухариной достоинства своего родственника. Обстоятельства семейные, заставившие и дочь и отца Бухариных весной 1832 года поспешить из Москвы в Царское Село, решили ее судьбу. Навестив в Петербурге переселившуюся туда «кузину Вадковскую», Вера Ивановна встретила у нее Анненкова, увлеклась им. И когда в третий раз он сказал, что любит ее два года и вручает ей свою жизнь, для нее уже не было более сомнений, что она любит его давно и ждала этого объяснения.

Они повенчались в июне 1832 года. С этого времени начался новый — петербургский — период в жизни Веры Ивановны, теперь уже Анненковой.

## 5

В Петербурге — на раутах в великосветском и придворном кругу — Анненкова встречала Александра Сергеевича Пушкина. И приводит в своих записках некоторые пушкинские оценки. «Вспоминаю, — пишет она, — суждение Пушкина насчет графини Ростопчиной. Он отдавал должное ее поэтическому таланту, но говорил, что если пишет она хорошо, то, напротив, говорит очень плохо, опьяняется собственными словами и производит на него впечатление Пифии на треножнике, высказывающей самые противоречивые мысли, совершенно лишённые логики, ради единственного удовольствия спорить».

«Воскрешая в своей памяти воспоминания 1837 и 1838 года, — продолжает Анненкова на следующей странице, — я не могу обойти молчанием злополучную дату — 27 января 1837 года, день, когда состоялась дуэль, отнявшая у России самого ее большого поэта. Не могу забыть ужас, мучительное чувство горьких сожалений, которое испытали мы с мужем при этой подавившей нас вести. Нам сообщил ее Александр Тургенев, со всеми подробностями этой кровавой драмы. Я очень любила Пушкина, и смерть его заставила меня пролить много слез. Я была оскорблена тем, что петербургское общество разделилось на два лагеря и было много людей, находивших оправдание поступку иностранца, приемного сына посланника Голландии, любимца дам, элегантного кавалергарда Дантеса-Геккерна. Я была в негодовании от этого и от всего сердца одобряла прекрасные стихи Лермонтова. Между прочим, эти стихи были причиной изгнания молодого поэта, ссылки его на Кавказ, где он погиб также во цвете лет на дуэли, не преследуемый, однако, как Пушкин, неблагородными анонимными письмами, не быв жертвой любви к своей жене.

Лермонтов пал жертвой собственного характера, беспокойного и насмешливого. Он испытывал терпение Николая Мартынова, ничтожного, неумного, которого он описал в своем «Герое нашего времени» в

лице Грушницкого. Он превратил его в козла отпущения, избрав мишенью своих сарказмов и шуток, и Мартынов, доведенный до крайности, не мог поступить иначе, как вызвать его на дуэль».

«Все грустные и раздирающие подробности дуэли Пушкина и последних мгновений жизни великого поэта слишком известны, чтобы я говорила о них, — пишет Анненкова в примечании к этой странице. — Они сохранены в маленькой брошюре, озаглавленной «Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса».

И продолжает:

«В последний раз я видела Пушкина за несколько дней до его смерти на маленьком вечере у великой княгини Елены Павловны. Там было человек десять: графиня Разумовская, m-me Мейендорф, урожденная Анжер, Пушкин и несколько мужчин.

Разговор был всеобщим, говорили об Америке. И Пушкин сказал: «Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом».

Это евангельское изречение в устах Пушкина, казалось, удивило великую княгиню; она улыбнулась, глядя на меня с понимающим видом. Я тоже улыбнулась, и, когда несколько минут спустя Пушкин подошел ко мне, я сказала ему, смеясь: «Как вы сегодня нравственны!..»

«Не сегодня, а всегда, с тех пор, как я стал отцом семьи, — ответил он мне. — Не навсегда остаются детьми, чему свидетелем вы, так выросшая после Киева, не всегда сходят с ума, как я в то время, когда строил для вас домик из карт». (Он любил вспоминать о том времени, когда его, сосланного в Киев, мой отец — киевский губернатор — просил считать наш дом своим домом.) Кто бы мог мне сказать в тот вечер, что я вижу Пушкина в последний раз».

Все интересно в этом отрывке: и характеристика поэтессы графини Евдокии Ростопчиной, и подтверждение теперь уже широко известного факта, что в дни гибели Пушкина петербургское общество разделилось на два враждебных лагеря, и что Анненкова возмущалась сторонниками Дантеса. Но самое интересное — суждение Пушкина о Соединенных Штатах Америки, примыкающее к его мыслям об американской демократии, положенным в основу очерка «Джон Тевнер», который незадолго до этого был им написан для «Современника». И следующая реплика — о нравственности, приобретающая особо важный смысл потому, что в те дни имя Пушкина, имена его жены и своячениц таскались по великосветским гостиным с прибавлением подробностей, которые должны были уронить в глазах общества нравственность самого Пушкина. Что касается причин гибели двух величайших русских поэтов, то Анненкова повторяет лишь то, что писали и говорили в 60—70-х годах о дуэли Пушкина и о последней дуэли Лермонтова. Это досадно тем более, что она вышла замуж за родственника Арсеньевой и знала Лермонтова лично еще по Москве...

## 6

Вы будете удивлены! Мы считали Веру Бухарину в числе московских знакомых Лермонтова? Нет! Она не знала его в ту пору! А мадригала не слышала, не читала или просто забыла про него! Или не угадала, не вспомнила, что тот, кто читал мадригалы, и Лермонтов — одно и то же лицо.

Не знаю!

Она увидела его впервые осенью 1832 года. Вот что она говорит об этом в своих мемуарах:

«Между адъютантами великого князя я часто встречала Философова Алексея Илларионовича, Александра Грейссера, Шипова, Бакунина — и решила найти среди них мужа для семнадцатилетней хорошенькой кухни моего мужа, которую я вывожу на балы, спектакли и концерты. Это Аннет Столыпина, дочь старой тетушки Натальи Алексеевны Столыпина. У этой старой тетушки есть сестра, еще более пожилая и слабая, чем она, Елизавета Алексеевна Арсеньева. Это — бабушка Михаила Лермонтова, знаменитого поэта, которому в 1832 году было 18 или 19 лет.

Он кончил учение в пансионе при Московском университете и, к большому отчаянью бабушки, которая его обожает и балует, упорно хочет стать военным и поступил в кавалерийскую школу подпрапорщиков.

Однажды к нам приходит старая тетушка Арсеньева вся в слезах: «Батюшка мой, Николай Николаевич! — говорит она моему мужу. — Миша мой болен и лежит в лазарете школы гвардейских подпрапорщиков!»

Этот избалованный Миша был предметом обожания бедной бабушки, он последний и единственный отпрыск многочисленной семьи, которую бедная старуха видит угасающей постепенно. Она испытала несчастье потерять всех своих детей одного за другим. Ее младшая дочь, мадам Лермонтова, умерла последней в очень молодых годах, оставив единственного сына, который потому-то и превратился в предмет всей нежности и заботы бедной старушки. Она перенесла на него всю материнскую любовь и привязанность, какие были у нее к своим детям.

Мой муж обещал доброй почтенной тетушке немедленно навестить больного юношу в госпитале школы подпрапорщиков и поручить его заботам врача.

Корпус школы подпрапорщиков находился тогда возле Синего моста; позднее его перевели в другое место. А громадное здание, переделанное снизу доверху, стало дворцом великой княгини Марии Николаевны.

Мы отправились туда в тот же день на санях.

В первый раз я увидела будущего великого поэта Лермонтова.

Должна признаться, он мне совсем не понравился. У него был злой и угрюмый вид, его небольшие черные глаза сверкали мрачным огнем, взгляд, так же как и улыбка, был недобрый. Он был мал ростом, коренаст и некрасив, но не так изысканно и очаровательно некрасив, как Пушкин, а некрасив очень грубо и несколько даже неблагоприятно.

Мы нашли его не прикованным к постели, а лежащим на койке и покрытым солдатской шинелью. В таком положении он рисовал и не соблаговолит при нашем приближении подняться. Он был окружен молодыми людьми, и, думаю, ради этой публики он и был так мрачен по отношению к нам, пришедшим его навестить.

Мой муж обратился к нему со словами приветия и представил ему новую кухню. Он смерил меня с головы до ног уверенным и недоброжелательным взглядом. Он был желчным и нервным и имел вид злого ребенка, избалованного, наполненного собой, упрямого и неприятного до последней степени.

Мы его больше не видели и совершенно потеряли из виду, так как скоро покинули Петербург, а когда мы туда вернулись, мы там его уже не нашли.

Я видела его еще только один раз в Москве, если не ошибаюсь, в 1839 году; он уже написал своего «Героя нашего времени», где в лице Печорина изобразил самого себя.

На этот раз мы разговаривали довольно долго и танцевали контрданс на балу у Василевских (мадам Василевская, рожденная Грейссер).

Он приехал с Кавказа и носил пехотную армейскую форму. Выражение лица его не изменилось — тот же мрачный взгляд, та же язвительная улыбка. Когда он, небольшого роста и коренастый, танцевал, он на-



поминал армейского офицера, как изображают его в «Горе от ума» в сцене бала.

У него было болезненное самолюбие, которое причиняло ему живейшие страдания. Я думаю, что он не мог успокоиться оттого, что не был красив, пленителен, эlegantен. Это составляло его несчастье. Душа поэта плохо чувствовала себя в небольшой коренастой фигуре карлика. Больше я его не видела и была очень потрясена его смертью, ибо малая симпатия к нему самому не мешала мне почувствовать сердцем его удивительную поэзию и его настоящую ценность.

Я знала того, кто имел несчастье его убить, — незначительного молодого человека, которого Лермонтов безжалостно изводил... Ожесточенный непереносимыми насмешками, он вызвал его на дуэль и лишил Россию ее поэта, лучшего после Пушкина».

Все верно: Аннет Столыпина вышла замуж за Алексея Илларионовича Философова; верно и то, что сестра ее матери — бабка поэта Елизавета Алексеевна Арсеньева (при этом мы знаем, что вдова родного брата Арсеньевой Д. А. Столыпина — Екатерина Аркадьевна — родная тетка полковника Анненкова, отсюда и «батюшка мой, Николай Николаевич!»). Не ошиблась мемуаристка и в том, что с октября 1832 года Лермонтову пошел девятнадцатый год. И что юнкерская школа в Петербурге помещалась на Мойке возле Синего моста, а потом была превращена во дворец великой княгини. Все верно!

Но дальше Анненковой приходится повторять за другими, и тут она сообщает сведения не вполне точные. Упомянув, что Лермонтов окончил в Москве университетский пансион, она ничего не сказала о том, что ему пришлось покинуть Московский университет после двух лет учения, а поступление в юнкерскую школу изобразила как следствие упорного желания самого Лермонтова. Нет, письма поэта говорят о другом: он не хотел становиться военным. Впрочем, Анненкову винить не приходится: начиная с 70-х годов все это можно было прочесть в любой биографии Лермонтова. Тут она повторяет лишь то, что писали и говорили другие.

Зато совершенно новые сведения сообщает она о детях Арсеньевой. До сих пор мы знали о судьбе ее единственной дочери Марии Михайловны, умершей через два года после того, как она родила сына — Михаила Юрьевича Лермонтова. Но ни в одном, самом подробном родословии Арсеньевых мы не встречали указания на то, что у Михаила Васильевича и Елизаветы Алексеевны Арсеньевой кроме Марии Михайловны были другие дети. Между тем это сведение исходит от Анненковой, следовательно от родственников. Вспомним, что отец Н. Н. Анненкова — «старик Анненков» — в качестве родственника постоянно навещал Арсеньеву, куда она с внуком жила в Москве (свидетельство А. З. Зиновьева). Остается предположить, что все эти дети умирали во младенчестве, еще не крещенные. Тогда они не могли попасть в родословия. Если все это так, иначе выглядит смерть матери Лермонтова в возрасте 24 года от сухотки спинного мозга.

Облик Лермонтова, воссозданный Анненковой подробно и даже талантливо, поражает резкостью характеристики и тем безоговорочно отрицательным отношением, которое Лермонтов вызвал к себе с первого взгляда. Это — не единственный случай: с людьми, ему неизвестными, которые пытались проникнуть в его внутренний мир, Лермонтов не только не искал контакта — напротив: был резок, замкнут, насторожен, подозрителен. Достаточно вспомнить рассказ его однокурсника П. Виленгофа, который попробовал подойти и заговорить с ним в университетской аудитории, или первую встречу с Белинским, чтобы убедиться в совершенной достоверности публикуемой нами характеристики. В данном случае обстановка осложнилась присутствием юнкеров, перед которыми Лермонтову предстояло сохранить независимость в присутствии старшего по чину — полковника, да еще родственника, появившегося с высокой и

статной девятнадцатилетней красавицей, не узнавшей его, не угадавшей в нем автора поднесенного ей посвящения, да еще разговор при юнкерах о том, как беспокоится бабушка, и родственные советы щадить ее — все это настолько осложняло психологическую среду, что Лермонтов, воспользовавшись правом больного, остался лежать, а рисование во время разговора помогло ему защититься от слишком щедрых забот и попыток завязать дружбу. Анненкова тонко почувствовала, что немалую роль в поведении Лермонтова сыграло присутствие юнкеров: «ради этой публики он и был так мрачен по отношению к нам».

Вспоминая Лермонтова, лежащего на койке, Анненкова, несомненно, дополняет портрет позднейшими впечатлениями: в тот раз рассмотреть, насколько он коренаст и мал ростом, она не могла.

Рассказывая о второй встрече, Анненкова запечатлела: Лермонтов бывал в ее доме в Москве, притом дважды, в апреле 1841 года. Один раз наносил визит, другой раз обедал. Возвращаясь в кавказскую ссылку, за три месяца до конца, он еще надеялся на отставку. Николай Николаевич Анненков, один из ближайших сотрудников Михаила Павловича — командира гвардейского корпуса и брата царя, мог помочь бабушке в хлопотах. Этим, вероятно, и вызван усиленный интерес поэта к дому Анненкова в продолжение тех нескольких дней, которые он провел в Москве в последний приезд. Но, повторяю, Вера Ивановна этих встреч не запомнила и не пишет о них. Впрочем, может быть, именно с Анненковыми Лермонтов и приехал тогда на бал к Василевским, который Вера Ивановна отнесла по ошибке к 1839 году. Между тем в 1839 году «Герой нашего времени» не выходил еще из печати. Лермонтов в том году не ездил в Москву и не носил армейского мундира, который надел после вторичной ссылки на Кавказ — в Тенгинский пехотный полк. Восстанавливая в памяти его внутренний облик, Анненкова и здесь не грешит против истины. Ибо, зная, какое впечатление в светском кругу вызывает и внешность его и его общественная позиция, и пытаясь это впечатление игнорировать, Лермонтов постоянно держался среди этих людей подчеркнуто резко и вызывающе. И нет оснований сомневаться в правдивости анненковских записок. Страницы, где она говорит о своих непосредственных впечатлениях, несомненно представляют значительный интерес. Но не те, где она ведет речь, скажем, о причинах дуэли с Мартыновым. Следует помнить, что писала она записки в то время, когда широко распространилась легенда о Лермонтове, созданная в интересах Мартынова. В частности, в этих кругах возникла версия и о том, что Мартынов послужил прототипом Грушницкого.

Примечательно в записках Анненковой другое. Она дифференцирует впечатления. Несмотря на уверенность, что Мартынова довел до дуэли сам Лермонтов, она не только не оправдывает убийцу, но пишет о его полной ничтожности. Неблагоприятное впечатление, которое оставили в ней встречи с поэтом, несколько не отражается на ее отношении к поэзии Лермонтова, которую она назвала «удивительной». Насколько же выше она в этом смысле тех современников, которые отрицали поэзию Лермонтова, обиженные его обращением, и оправдывали убийцу, ссылаясь на то, что у Лермонтова был тяжелый характер.

Как и многие ее современники, судившие о людях по тому, насколько в них воплотился великосветский стереотип, Анненкова и Лермонтова и Пушкина воспринимает как нечто даже и внешне чужеродное в этой среде. И в этом не ошибается. На фоне красавцев кавалергардов и флигель-адъютантов, подобранных под статью Николаю I, между которыми она искала своего «Грандисона», Пушкин и Лермонтов выделяются несоответствием своего поведения и облика — мимики, жестов, движений, речи, самого характера разговора. Там, где коней в полки подбирали под масть и под цвет хвоста, а офицеров — по цвету волос и по росту, где высоко ценится «однообразная красивость», — они инородны. Отсюда и

рассуждения о красоте. Нам Пушкин не кажется некрасивым — в наших глазах он прекрасен.

Для Анненковой — женщины умной и несомненно талантливой, но разделяющей вкусы, взгляды и предрассудки своего времени и своей касты, Лермонтов среди гвардейцев на балу мадам Василевской — и «небольшой», и «коренастый», и «карлик». Он и был коренастым и небольшим: но дело в том, что видит в нем Анненкова. Он и сам над собою смеялся, говоря, что природа наделила его армейской внешностью. И тем не менее для всякого, кто видел в нем не офицера на параде императорской гвардии, а поэта Лермонтова прежде всего, внешний вид его обрел другой смысл, становился очень значительным.

В те же самые дни, когда В. И. Анненкова видела Лермонтова в последний раз на московском балу, его встретил в московском «Благородном собрании» поэт Василий Иванович Кюрасов. И писал приятелю в Петербург: «Целый вечер я не сводил с него глаз. Какое энергическое, просто львиное лицо. — Он был грустен — когда уходил из Собрания в своем армейском мундире и с кавказским кивером — у меня сжалось сердце — так мне жаль его было. Не возвращен ли он?»

Вот два портрета — два описания, возникшие в одно время и в одинаковой обстановке — на людях. Одно принадлежит аристократке, другое — поэту, занимавшему место учителя в московском аристократическом доме. Какие разные оценки и отношения!

Чем объективнее стремится быть Анненкова в своих описаниях, тем трагичнее становится в наших глазах фигура поэта, одетого в армейский мундир, посреди великосветского праздника. Как предсмертное одиночество Пушкина стало особенно ясным после того, как мы прочли письма его друзей, любивших его, — Карамзиных, так и эти беспристрастные мемуары больше говорят о глубокой пропасти, отделявшей Лермонтова от этого общества, и о его обреченности, чем открытая злоба его врагов. И это, пожалуй, самое важное из того, что дают нам записки Анненковой.

Читая эти записки, надобно помнить, что писала их женщина, сурово осуждавшая невежественных и бездарных сановников, наносивших урон престижу империи. Но писала во имя утверждения империи, которой верой и преданно служил ее муж генерал-адъютант Анненков. Священный с ними родством и принадлежностью к одному обществу, Лермонтов глубоко презирал именно то, что составляло предмет ее поклонения. Она умерла шестьдесят один год спустя после того, как прогремел выстрел Мартынова. Но как давно ее нет! Как далеко ушли в прошлое люди, вызывавшие восторг Анненковой! И как близко, почти рядом ощущаем мы Лермонтова — «небольшого», «коренастого», и в гвардейском и в армейском мундире, и в студенческой куртке, и даже в костюме астролога, читающего свои новогодние эпиграммы в Колонном зале Москвы.

## В ЭТОМ НОМЕРЕ «ДНЯ ПОЭЗИИ» УЧАСТВУЮТ:

- Абрамов А. — стр. 160; Абрамов Г. — стр. 100; Авраменко И. — стр. 106; Автономов В. — стр. 94; Адрианов Ю. — стр. 115; Аким Я. — стр. 117; Алдан-Семенов А. — стр. 136; Андроников И. — стр. 278; Антокольский П. — стр. 261; Арский П. — стр. 117; Астафьева Н. — стр. 24; Ахмадулина Б. — стр. 153; Ахматова А. — стр. 84;
- Баева А. — стр. 110; Балин А. — стр. 27; Баруздин С. — стр. 104, 219; Бауков И. — стр. 124; Безыменский А. — стр. 13; Белинский Я. — стр. 113; Белов В. — стр. 106; Берендгоф Н. — стр. 93; Берестов В. — стр. 181; Бершадский В. — стр. 65; Блынский Д. — стр. 154, 225; Бобович Б. — стр. 122; Боков В. — стр. 109; Британишеский В. — стр. 135; Брюсов В. — стр. 251; Брянский Б. — стр. 9; Букин Н. — стр. 148; Буравлев Е. — стр. 164; Бурова Н. — стр. 165; Бялосинская Н. — стр. 124;
- Ваганова Л. — стр. 178; Валиков Г. — стр. 104; Ваншенкин К. — стр. 107, 167; Васильев С. — стр. 150, 182; Викулов С. — стр. 9; Винокуров Е. — стр. 134; Вознесенский А. — стр. 48; Волгин И. — стр. 95; Вологдин В. — стр. 55;
- Гинзбург Л. — стр. 205; Глазков Н. — стр. 116; Глазов Г. — стр. 183; Глушкова Т. — стр. 135; Гнеушев В. — стр. 139; Говоров А. — стр. 27; Голубков Д. — стр. 179; Гонтарь А. — стр. 121; Гончаров В. — стр. 169; Гордейчев В. — стр. 118; Гордиенко Ю. — стр. 152; Городецкий С. — стр. 151; Грачев Н. — стр. 186; Грудев И. — стр. 191; Гусев А. — стр. 193;
- Дагуров В. — стр. 132; Дементьев В. — стр. 96; Демин М. — стр. 187; Дмитриев О. — стр. 118; Долматовский Е. — стр. 76; Дрофенко С. — стр. 193; Дружинин П. — стр. 57; Друнина Ю. — стр. 65; Дудин М. — стр. 202;
- Еремеев Г. — стр. 93; Ерошин И. — стр. 203;
- Жаров А. — стр. 241; Железнов П. — стр. 120; Жирмунская Т. — стр. 99; Жуков В. — стр. 138;
- Завальнюк Л. — стр. 157; Заурих А. — стр. 170; Заяц А. — стр. 11; Зверев И. — стр. 166; Зверев О. — стр. 189; Звягинцева В. — стр. 192; Зенкевич М. — стр. 203; Злотников Н. — стр. 207;
- Инбер В. — стр. 252; Иодковский Э. — стр. 116;
- Казакова Р. — стр. 210; Каменная Г. — стр. 67; Каньгин В. — стр. 105; Кашежева И. — стр. 105; Киреева А. — стр. 195; Кобзев И. — стр. 121; Ковалев Д. — стр. 64, 138; Коваленков А. — стр. 177; Козловский Я. — стр. 120; Колычев О. — стр. 204; Коничев К. — стр. 175; Кондырев Л. — стр. 194; Корин Г. — стр. 148; Коринец Ю. — стр. 132; Коробов А. — стр. 189; Котов В. — стр. 156; Кривошеев Л. — стр. 209; Кривошеков Л. — стр. 211; Кудрейко А. — стр. 222; Кузнецов Вал. — стр. 127; Кузнецов Вяч. — стр. 184; Кузнецов Н. — стр. 258; Кузовлева Т. — стр. 51; Кулагин В. — стр. 12; Кулемин В. — стр. 269; Куликов Б. — стр. 29; Куликов С. — стр. 41; Кульчицкий М. — стр. 259; Куняев Б. — стр. 67; Куняев С. — стр. 111;
- Левитанский Ю. — стр. 198; Лесс А. — стр. 213; Липкин С. — стр. 224; Лисянская И. — стр. 185; Лисянский М. — стр. 223, 271; Лифшиц В. — стр. 157; Лиходеев Л. — стр. 214; Луговой В. — стр. 51; Луконин М. — стр. 123; Львов М. — стр. 207; Лысцов И. — стр. 163;
- Макаров С. — стр. 208; Маркин Е. — стр. 28; Марков А. — стр. 211; Марков С. — стр. 221; Мартынов Л. — стр. 29, 128, 216, 260; Матеев Х. — стр. 42; Межиров А. — стр. 218; Мейерхольд В. — стр. 236; Мельников Ю. — стр. 146; Михайлов А. — стр. 141; Михалков С. — стр. 230; Мотяшов И. — стр. 70; Мурзиди К. — стр. 272;

Нагаев Д. — стр. 222; Найдич М. — стр. 45; Наровчатов С. — стр. 44; Николаевская Е. — стр. 63; Новоселов Н. — стр. 227;  
 Озеров Л. — стр. 227; Ойслендер А. — стр. 186; Окуджава Б. — стр. 223; Ошанин Л. — стр. 145;  
 Павлинов В. — стр. 151; Пальчиков В. — стр. 11; Панкратов Ю. — стр. 156; Панченко Н. — стр. 164; Паперный З. — стр. 233; Парфентьев В. — стр. 147, 170; Перевалов Н. — стр. 178; Передреев А. — стр. 192; Поликарпов С. — стр. 94; Полторацкий В. — стр. 180, 268; Полянский Е. — стр. 201; Поперечный А. — стр. 43; Приходько В. — стр. 137; Пришелец А. — стр. 168; Пряжков А. — стр. 243;  
 Радимов П. — стр. 207; Рассадин С. — стр. 114; Рахилло И. — стр. 257; Регистан Г. — стр. 179; Рождественский И. — стр. 218; Рождественский Р. — стр. 155; Румарчук Л. — стр. 159; Румянцева М. — стр. 136; Рыжиков И. — стр. 165; Рыленков Н. — стр. 91, 103; Рябикин А. — стр. 125; Рядченко И. — стр. 159; Ряшенцев Ю. — стр. 169;  
 Савельев В. — стр. 158; Савостин Н. — стр. 211; Санников Г. — стр. 40; Сбитнев Ю. — стр. 183; Светлов М. — стр. 7, 133, 190; Семенов В. — стр. 25; Сеньков И. — стр. 173; Сидоров В. — стр. 26; Симонов К. — стр. 99; Сирицын О. — стр. 194; Скуратов М. — стр. 212; Слуцкий Б. — стр. 191; Смердов А. — стр. 146; Смирнов Л. — стр. 201; Смирнов С. — стр. 161; Снегова И. — стр. 204; Соколов В. — стр. 125; Солнцев Р. — стр. 26; Солоухин В. — стр. 220; Сорин С. — стр. 149, 169; Старков В. — стр. 140; Старостов Л. — стр. 263; Степанов Н. — стр. 196; Стройло А. — стр. 111; Стюарт Е. — стр. 202; Субботин В. — стр. 46; Сурков А. — стр. 31; Суслович Н. — стр. 172; Сухарев А. — стр. 178; Танич М. — стр. 171; Тарасенко Н. — стр. 209; Татьяничева Л. — стр. 52; Тихонов Н. — стр. 72; Трифонов Ю. — стр. 228; Тряпкин Н. — стр. 193; Туркин В. — стр. 40; Тушнова В. — стр. 50, 229;  
 Урбан А. — стр. 101; Урин В. — стр. 26; Ушаков Н. — стр. 54; Файнберг В. — стр. 54; Федоров В. — стр. 40; Филиппов Б. — стр. 270; Фирсов В. — стр. 56; Флеров Н. — стр. 58; Фоломин Ф. — стр. 62; Фомичев Н. — стр. 68; Фоняков И. — стр. 71; Френкель И. — стр. 115; Хакимов Р. — стр. 93; Харабаров И. — стр. 103; Хелемский Я. — стр. 74; Хикмет Н. — стр. 266; Хорошавцев Г. — стр. 72; Храмов Е. — стр. 224; Цыбин В. — стр. 112;  
 Чернов Ю. — стр. 66; Чуев Ф. — стр. 12; Чуковский Н. — стр. 274; Шаламов В. — стр. 119; Шаховский Б. — стр. 41; Шведов Я. — стр. 145; Шестериков М. — стр. 71; Широков С. — стр. 273; Шкавро Л. — стр. 59; Шмань Г. — стр. 55;  
 Щипахина Л. — стр. 73; Щипачев С. — стр. 62;  
 Яшин А. — стр. 68.

### «ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1963»

М., «Советский писатель», 1963, 292 стр.

Редактор В. С. Фогельсон  
 Худож. редактор В. В. Медведев  
 Техн. редактор В. Г. Комм  
 Корректоры Т. И. Воронцова  
 Л. Н. Морозова  
 и С. С. Потресова

Сдано в набор 14/X 1963 г. Подписано в печать 14/XI 1963 г. А-07079. Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печ. л. 18<sup>1</sup>/<sub>4</sub> (29,93). Уч.-изд. л. 24,38. Тираж 50 000. Зак. 654. Цена 1 р. 46 к.

Издательство «Советский писатель»,  
 Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.



Handwritten text in cursive script, including names like "König", "Kaiser", and "König".

0

es

Al  
B  
es

ab

König  
Kaiser

König  
Kaiser

König  
Kaiser

König  
Kaiser

König  
Kaiser

König  
Kaiser



1 р. 16 к.



